



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ



Литературный ежегодник

Орган творческого объединения писателей Коломны

ИЗДАЁТСЯ КОМИТЕТОМ ПО КУЛЬТУРЕ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЫХОДИТ С 1997 ГОДА

2019

ВЫПУСК
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАГЛАВНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

«ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО...»4

ПЕРВАЯ КОЛОНКА

МЫСЛИ О СЛОВЕ6

ПРОЗА

ИРИНА РАКША

А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ? Рассказ 17

СЕРГЕЙ МУРАШЕВ

ЛЮБОВЬ. Рассказ31

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

ПОПУТЧИКИ. Рассказ53

МИХАИЛ БОЛДЫРЕВ

ЗВЕРЬ. Рассказ63

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН. Рассказ73

ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ

ВЕТЕР ОКОЛЬНЫХ ДОРОГ. Рассказ83

ПОЭЗИЯ

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

КОРАБЛЬ95

ВИКТОР КИРЮШИН	
ПОБУДЬ СО МНОЮ, ТИШИНА!.....	109
ВЛАДИМИР ДАГУРОВ	
КАК ХОРОШО, ЧТО НАСТУПАЕТ УТРО	119
ГАЛИНА ПОГОЖЕВА	
ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ... ..	125
ЛАРИСА МОРОЗОВА	
ВЕТЕР ВРЕМЕНИ	135
АНДРЕЙ ШАЦКОВ	
НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ	143
КСЕНИЯ НАГАЙЦЕВА	
ЛЮБИ МЕНЯ И НЕ ГРУСТИ... ..	151
НАДЕЖДА ЛИСОГОРСКАЯ	
ЗЕМНОЕ БОГАТСТВО.....	157
ЕВГЕНИЙ ЗАХАРЧЕНКО	
РУКОПИСНЫЕ СТРАНИЦЫ.....	163
ВЛАДИМИР СЕМЕНЮК	
НЕ ПОТРЕВОЖЬТЕ СНА ЛЮБИМОЙ!	169
АННА ЛЕКСИНА	
ДОРОГИ СОЛНЕЧНЫХ МИРОВ	179
ВЛАДИМИР КУЛИКОВ	
МНЕ СЕГОДНЯ НЕ ДО СНА.....	187
МАРТА МАРКОВА	
ЗАПАХ ДЫМА	191
АЛЕКСЕЙ ЯШИН	
ГОСУДАРСТВЕННИК.....	197
ВАЛЕРИЙ ЯРХО	
ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ.....	209
ГАЛИНА ГОРЧАКОВА	
ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ.....	233

БЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРЕ

МИР ЛАЖЕЧНИКОВА

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
ЛАЖЕЧНИКОВ ГЛАЗАМИ
СОВРЕМЕННОКОВ 243

СОФЬЯ БУЛОВАЦКАЯ
ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИИ 267

РОДИМАЯ СТОРОНА

НИСОН ВАТНИК
ВОПРЕКИ НЕВЗГОДАМ..... 279

ЕВГЕНИЙ ЛОМАКО
«КАРАУЛ, ГРАБЯТ!» 291

ТАТЬЯНА ЗАЛАТА
ШУТКА БАЛАКИРЕВА..... 299

ЛИЛИЯ СОЗА
«...ПЛОТНИК СУПРОТИВ СТОЛЯРА...» ... 307

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
КОЛОМНА СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ 319



Коломенские писатели в усадьбе Лажечникова

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

(1799—1937)

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминая упоенный...
И чувствую: в очах родились слёзы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прошлых лет безумную любовь
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей;
Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,

Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покою, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младае,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Первая колонка

МЫСЛИ О СЛОВЕ

... **В** начале было Слово... Все мы знаем и помним начало всех начал, дошедшее до нас из Книги Книг... Слова, когда-то писанные на скрижалях под голос самого Создателя и Вседержителя...

Что такое Слово? Слово — чудо, Слово — тайна, Слово — магия. Это знак, символ целого мира, ёмкость которого необозрима и непосильна не только разуму человека обыкновенного, не только гениального, но и всего человечества во все времена!

Слово — игра, Слово — клятва, Слово — закон, Слово — смысл, суть материи или некая абстракция, имеющая своё тело, облечённое в звуковую форму, бесчисленные звуковые одежды в соответствии со взглядами и понятиями народов. Гипнотическую силу Слова испытывал каждый из нас, которое не радовало или печалило нас... возрождало или убивало... Слово принадлежит всем. и на него нет собственника: оно живо только в отрыве от него, но даётся оно лишь избранным. И народы помнят чародеев Слова из глубин истории. Они умели пользоваться им, подчинять его волшебную силу. Но и Слово подчиняло их себе, их волю, страсть и саму жизнь без остатка. Это и утратившие свои имена за толщей времени жрецы и оракулы, это и известные человечеству Демосфен и Цицерон, Иоанн Златоуст и Аввакум и их ряды и ряды... до Пушкина, Достоевского, Толстого...

Слово служит человеку и ограничивает его самого. Витая над ним, окрыляет его или тяготит, подавляет. Рождённое человеком, оно воспарило над ним. Оно обладает ёмким, глубинным смыслом, и не всякий человек может вызволить из его универсальности мысль, красочность, дееспособность, а другой — принять, понять его.

...Вначале было Слово... Слово было изречено... Кому же сказал сам Бог? Кто был его слушателем, исполнителем? В каком обличье была сила высказанной воли Его? Хаос, Ничто не нуждались в Слове, не нуждался в Слове и сам Бог, коли Он предвечно существовал Сам. Сам, как Нечто и Ничем. Слово — мысль, воля, сила. Слово — символ заклинания, конденсат энергии... сигнал волеизъявления самому себе.

Слово — созревание идеи в самом себе, превращение организующей энергии до озарения, силы, называемой Божественной... или Логосом. Не об этом ли говорится в Главной книге? Но те библейские 6000 лет — мгновение, за которое человечество успело так прогрешиться и заслужить вторичного своего истребления... И это тоже выражено Словом. Впереди вечность, а Божий мир уже завершается так трагически и мучительно, и лишь малая толика услышавших Его будет вечно пребывать в бесконечных просторах благодати, а большая, не понявшая и не уяснившая смысл Слова, смысл Заветов — вечно терзаться и мучиться в геене огненной тесного и мрачного подземелья. Но пути Господни неисповедимы. Тот разум не мерить умом человеческим. Но и рождённое человеком Слово — божественно! Оно многозначно, многоцветно, многозвучно... и кто способен управлять этими оттенками, становится не только сильнее и значительнее своих соплеменников, но и обладателем загадочной силы. Слова-заклинания передаются из поколения в поколение, а люди, порождающие их, — носителями сверхъестественной воли. В них искали заступничества. Их успехи возвеличивались, и люди превращали их в кумиров, признавая за ними права верховности, верили в их способность контактировать с духами и самим Богом.

Сила Слова окутана тайной, так как оно, не имея материальности, может воздействовать на психику, поведение и действия людей, ему подвластны бывали и цари...

Таинственная сила Слова взлетела высоко в небо и стала надёжным обитателем необозримых и загадочных просторов горнего мира, и человек посредством него общается с заселённой и упорядоченной им же пирамидой небожителей — от святых душ праведников до ангелов и самого Создателя — Пантократора.

Было ли вначале Слово или нет — это суть веры каждого, но в любом случае Слово — это магия, тайна, сила; Слово — это мысль, действие, результат и сама жизнь! Слово — это частица, монада интеллектуального существования человека и средство его ориентации в этом мире.

Слава Слову — уникальное и универсальное свойство которого способно вызвать все жизненные страсти человека, способное направить его на добро или зло, способное поднять человека до небес... но способное и безжалостно сбросить оттуда на бrenную землю. Слово способствует жизни, но и может нести смерть. Неосторожно обронённое, оно способно не только ранить, но и убить. И действительно, оно не птица, не серебро и даже не золото...

Кому сказал Бог Слово, преобразившее Хаос в Гармонию — для всех нас тайна, но люди, пользуясь этим волшебным средством и его божественной силой, смогли бы навести гармонию на грешной обетованной земле, поверив и в свой дарованный свыше разум... Или для этого необходимо опять живое Слово Бога?!

Слово о полку... и сразу сонм картин из дней былых Отчизны нашей... Эпоха... города, посадки, поля, луга, равнины и холмы... и небо!.. Небо бесконечно!.. И облака плывут... Плывут спокойно, равномерно... Но тени их по земле плывут совсем иначе: то по равнине так же мерно, то дико вдруг с холма на холм несутся, и нет преграды им!

И в тот момент шуршанье листьев и дуновенье ветра тревогу вызывают... Но солнце, солнце царствует! Оно залило землю. и тени те — словно табун коней без всадников пронёсся в пространстве бесконечном его лучей! Оно играет золотом на куполах церквей, крестах и шлемах воинов, Отчизну берегущих!

Площадь, рынок... движения людей, их гомон, спор... ремёсла и торговля; работники в полях и на дворах... хлопчущие женщины, детишки... а где-то враг... Он волком рыщет и ждёт момент, удачу, и... бывает, что находит! И вот несутся, коней своих умело направляя, дикой, страшной массой, сея смерть!..

Век двенадцатый, каверзный, суровый... Русь в раздорах! Князя нередко в большем недоверии к своим, чем к врагам открытым. Ненадёжны клятвы, обещанья! Измена за спиной... А враг доволен! На руку ему дробленье сил некогда Руси единой и могучей! Привыкли уж к победам русы... опасности забыли, горечь поражений... и дразги завелись! Разделы, тяжбы и даже битвы меж собою происходят, а враг следит, не дремлет...

Неведомый поэт, Бояна победитель, как мы обязаны тебе! Могучий гений твой донёс потомкам живую душу предков наших, их мощный пульс. Мы видим их в движенье, слышим речи и знаем даже помыслы благодаря тебе!

Проторил дорожку враг, как волк в овчарню, и тянет вновь его... хищной стаей обступает... А Русь уже не та! Уж близко допускает... Закрыты хоть ворота, да в доме свара... Хоть кто-то замечает, тревогу бьёт, но там не до того... дела свои!

Князь Игорь Святославич, мужественный воин, сложна твоя судьба и роль! По-разному тебя воспринимают. Одни героем, полководцем; другие осуждают, но целен ты, открытый, храбрый... — ты настоящий рус!

Знал ты, что ведёшь полки не на игрище весёлое, рыцарское, а на битву смертную с врагом коварным, тьмой их бесчисленной в поле открытом... но шёл ты за победой рискованной и трудной... Вырвать её надо было у поганых, чтоб неповадно было ходить им на Землю Русскую!

Велика Русь, а силы собрать воедино невозможно! Нет согласия, а есть раздор! Идёт брат на брата, сын на отца... Враг ликует! Осмелел! Копьём ворота пробует, нередко отворяет... и идёт тогда стон да плач по Руси родимой; пожирают языки пламени с трудом построенное, заботливыми руками возделанное... Горят сёла, редеют посадки, рушатся терема и храмы... Льётся кровь невинная, а кто жив — в полон ведут! Сегодня враг там, а завтра жди его и здесь!

Не для личной славы готовишь ты, Игорь Святославич, в поход полки свои, и клич бросил Земле Русской — собрать рать на врага хищного, окрылённого безнаказанностью воровских своих набегов!

...Не собралось под стяги твои сил ожидаемых, но клич уж брошен был... Небольшое войско, но храброе, умелое, верное собрал ты, за Отчизну воевать готовое! Нельзя терпеть долее стыд и позор разбоя открытого,

врага дерзкого жестокость на глазах твоих творящего! Не зря в руках меч держим, не раз славы добывающего!

И кликнул ты клич, и нашёл слова, сердца воинов вдохновившие! И была такая сила веры в правду дела вашего, что страшное природное знамение, затмившее солнце, не остановило вас, хоть и прошёл по войску ропот... И велика же вера в тебя была, славный князь ты Игорь Святославич! Своими делами праведными ты заслужил её!

И вот уж степь... а сердцу милые холмы, поля и перелески — позади!.. Заботливо возделаны поля... Вспахав, засеяв их, ратаи ждут плодов труда... Что ждёт тебя — никто ещё не знает... Ждут в краю родном победы... Остались за стенами только стар да мал, и женщины с великою тревогою в сердцах... Надеешься и ты... А степь недобрая... полна тревожных звуков... Коням высокою травой ноги вяжет. Безрадостен и бесконечен путь ваш в диком поле! Но знают воины, зачем идут!

...Легка и так обычна первая победа! В знакомом и привычном деле вновь ощутила хмель бродящей крови старая дружина! Испытали удаль свою и воины моложе, и юные крещение получили! В страхе, бегстве оставлены обозы половецкие богатые, оксамитами и всяким добром наполненные... Но преждевременна та радость, внимание пригасившая, силы по полю рассыпавшая... Не замечают воины русские стаи птиц поднявшиеся, шакалов, ярами пробирающихся, чёрных воронов летающих, заветные места уже выбирающих...

Тяжёл бой, но ещё тяжелее горечь поражения... Беспробудно спит в степи широкой Игорево войско... Не пришлось испить им шеломом воды из Дону после победы долгожданной... Кровь от них самих бежит ручьями к реке заветной. Кто жив остался, тот пьёт чашу горя бесконечного у врага в плену... Но мало их в живых, свидетелей славной битвы, но бесславного конца... Захлестнула волна горечи всю Русь великую, наполнились сердца русских тяжёлою думою.

Вспомнили князья клич Игорев, но раздор важнее был, а былого уже не вернуть... велико горе всех, и слышен плач в каждом доме... Горько плачешь и ты, Ярославна наша! Неутешна ты в своей печали, по крепостным стенам метающаяся, напрасно к Ветру, Солнцу и Днепру зывающая... Гением певца определены в тебе черты тех русских женщин, которые способны всё понять, страдать, любить, быть верной, ждать!.. Воспетая однажды, навеки ты вошла в сердца людей всех поколений! Ты в памяти потомков в страстном зове к природным силам помочь своим... желанием быть рядом с мужем и боль душевную совместно разделить. Мы слышим нежный голос твой и видим слёзы. Они чисты... призывы искренни, поступки благородны! Евфросинья, не всем знакомо твоё имя, но помнят твою душу, твою любовь, твои страдания, печаль и плач! Мы свято чтим тебя! В печальном облике навеки нам оставил неведомый поэт прекрасный образ твой!..

Поэт великий, не знаем мы, кто ты и кем ты был... То ль воин ты, живой свидетель и участник злополучной битвы; то ль летописец, сумевший донести до нас не только факт... иль дипломат искусный, и ведомы тебе дела других держав... Не знаем мы, но мир духовный свой раскрыл ты в Слове. Безмерен он! Земля не поскупилась талантом одарить тебя! И ты принял её дары сполна, а нас она тобою одарила!

Ты образ дивный дал не только Ярославны, и теперь живущей, как при тебе тогда, и жизнь которой ещё в веках; не только Игоря, именем которого названа поэма; не только тех князей, кто с ним пошёл, и тех, кто зову не внял его, но даже глубину веков ты приоткрыл для нас и жизнь всего народа! Донёс ты нам их говор, речи, веру, быт, политику князей, болящих за Отчизну, и Гориславича дела; политику соседних государств, победы, поражения, измену, ложь, разлад и «Золотое слово» Святослава... Свои ты мысли вложил в его уста!

Поэт, певец, мыслитель, безмерна любовь твоя к народу своему и земле, тебя родившей! Она движения полна и чувствами едина с народом, живущим на её просторах! Рады люди, и земля окрашена лучами солнца; печаль в народе — и тут же тучи, деревья гнутся, клонится трава; жалобные звуки в поле, тревожные в лесу... Всё шепчется, полно тайнств, грозит... События, явления природы, действия людей — в твоей поэме нераздельны! Жизнь натуральна, полнокровна — одушевлена она!

Русская Земля, много хищных взоров устремлено к тебе... но и ты полна людьми, способными к защите! Любя тебя, как мать, они готовы за свободу и кровь отдать без сожаленья. Матерью тебя они недаром называют!

Злосчастное сраженье!.. каких сынов задаром погубило! Пагубная рознь тому вина! А воины несколько не виновны! Они отдали всё: и кровь, и жизнь в бою неравном!.. Буй-тур! — какое мужество, отвага, сила, верность! Отечества достойный сын! И воины его, куряне, под стать вождю! Научены в походах, в боях закалены! И то сраженье всех воинов сроднило, хотя из разных городов и княжеств шли они сюда и буйны головы за землю русскую сложили... так и не забудем эту битву никогда!

Их бой — пример всем нам! Их поражение — вечный нам урок, урок раздору! Призыв к единству слышен в их последнем вздохе! Вечная им слава! Добрая и светлая им память... а автору — потомков благодарность!

Поэзия — не колокол, не тем более — набат. Она не стучится ни в ваше сердце, ни в вашу душу. Это особое чувство или способность чувствовать «дыхание» природы и самого себя, как её частицу, в гармонии, единстве. И оно или есть, или его нет. Если есть — то человек светел, счастлив, дееспособен, и Божий мир ему в радость; когда же нет — это страшно и прежде всего для самого индивидуума. Он лишён цветности, звучности жизни, он неинтересен окружающим и даже неудобен. Его интересы просты, цели примитивны. Он скучен и отчуждает окружающих от себя. К счастью, таких меньшинство. Многим кажется, что они нечувствительны к поэзии, считая, что она выражается в чтении специфической литературы, восхищении отлаженным стихом. Это, наряду с долей правды, во многом есть заблуждение, так как поэтическое чувство выражается более всего в способности истинно, искренно, чаще тихо, про себя, восторгаться красотой, ладом природного пейзажа, созданной человеком удобной средой обитания, щебетом птиц, журчаньем ручья, движениями и повадками живых существ и, конечно, самим человеком, его делами, поступками, манерами... Поэзия в нас, вокруг нас всегда и в прошлом, и в настоящем. В прошлом она проявлялась более ощутимо в фольклоре, в обрядах, в украшении быта. Поэтическое чувство и было движущей силой всех искусств! И человек, способный уловить в шелесте

листьев шёпот, разговор дубрав, в журчанье потока — музыку, и был уже поэт, и на этом построено многое в создании песен народных — средоточии поэтики.

Конечно, человек, обладающий таким чутьём, не всегда весел и радостен. Он веселее и радостнее в том смысле, что его мир шире и богаче. Но он же чаще других и грустен, так как способен глубже, сильнее ощутить боли и страдания и личные, и всеобщие. Он, как чуткий инструмент, откликается на все изменения в обществе и судьбе отдельного человека, но никогда не откажется, не взирая ни на что, лишиться этих чувств и этой способности! Это его и радость и печаль, и груз и крылья! Но больше — радость. И всегда так, даже когда он страдает! Даже если это иногда и укорачивает его жизнь, она безмерно ёмче, насыщеннее, чем у обычного человека, и ещё более чем у обделённого таким чувством.

И тот, и другой, и третий — составная часть природы, независимо, осознаёт кто это или нет. Но поэтически одарённый человек ощущает себя частью не только близкой, достигаемой рукой природы, обыденно говоря — праха земного, но и дальних, горних миров Бесконечности. Он слышит гармонию звуков вращающихся планет и тока животворных сил в стебельках, неведомой живности и своих собратьев, как в самом себе! И потому Поэт способен говорить от лица многих и быть ими не только понят, но и движим. Их сердца в едином ритме, их души равно наполняются радостью или скорбью. И инструмент Поэта — вдохновенная речь, слово! Это самое универсальное средство общения, духовного контакта людей.

Вдохновенное слово — это не рутинная, давно взвешенная и выверенная мысль, но горячее искреннее чувство, эхо Божественной гармонии, а значит, и истинной Поэзии. Слово истинного поэта обладает таковыми свойствами не только при живом чтении, но и записанное в условные знаки — буквы. И через них мы способны почувствовать живое, горячее сердце поэта, его душевную сущность.

Поэзию лучше воспринимать интимно, и тем глубиннее проникновение в неё, чем естественнее, самостоятельнее, сокровеннее мы подходим к ней. Она — в искренности, правде, доверительности. Это сугубо личное отношение к миру, к волнующим сторонам жизни. Поэзия не сочетается с назойливостью, суетой. Это внутренняя беседа с собой, где мерой всему чистота и правда, соприкосновение с Божественным. И хоть поэзия — искусство, но искусство особое, воспринимаемое сердцем. Этим чувством проникнут, в сущности, каждый из нас, но, разумеется, не каждый ощущает себя способным активно проявить себя в изящном слове или увлекаться им, но в основе своей живёт им, дышит, радуется, ибо оно, это чувство, является неотъемлемой составной частью самых прекрасных моментов жизни, когда, окрылённые красотой, мы воспаряем над горизонтами нашей бренной, но благодатной и удивительной Матери — Земли.

Перед сном читал Бунина... Как же чист его язык, как чиста описываемая им природа и как же чист он сам! А во сне хожу, брожу я по России, ищу чистое, красивое место, но тщетно. Всюду перерыто, перекопано, заброшено... Всюду оставленные трубы, колёса, резина, стёкла, цемент... Трава загажена, с лысынами от солярки, нефти, бензина, вокруг жёсткий, пыльный бурьян. Одни небеса ложно говорят о раздолье, чистоте, свеже-

сти, пока не выпал дождь, пока не наплыли настораживающие бедами облака...

Вдали трубы изрыгают из жерл своих ядовито-жёлтые клубы дыма, и течёт тут речушка с затухшей в ней жизнью.

Я утомлён. И нет мне пристанища, и нет облегчения жаждущей душе моей. И дошёл до холма я, и увидел безбрежные дали, и такая крутизна холма была, что поля, луга и блистающие чистотой речушки я увидел с высоты птичьего полёта!

Какая дунула свежесть! Какой же я почувствовал прилив сил жизни! Я любовался этой естественной красотой и дышал этим взбодряющим воздухом, и видел травы и чистые камешки в живительных волнах струящейся воды. Я вдыхал аромат полевых цветов и чувствовал тёплую землю на тропинках ржаных полей босыми ногами. Всем своим существом наслаждался я жизнью, весь расплывался в улыбке умиления и нежил-ся в этом чудодейственном лоне. Я чувствовал себя растворившимся, слившимся с матерью-природой, слышал и чувствовал гармонию всего сущего. И не знаю и не ведаю, как и когда я оказался не один, а вдвоём. Она была прекрасна, чиста, бела... Её белокурые, волнистые, шёлковые волосы растекались по плечам, по лицу, по груди. Её нежное, гладкое, крепкое тело источало здоровье, а глаза — любовь, негу, страсть... Были сладки губы, щёки, грудь живот — всё радовало, всё дурманило, опьяняло! Душа ликовала от чудной красоты! И мысль пронзила меня: почему Она со мной? Почему мне надлежит испить нектар любви с этой ясноокой незнакомкой, милой, доступной, ни слова мне не сказавшей, как и я ей?! И тут же почувствовал я тени над собой и увидел мёртвостоящие силуэты наблюдавших за мной и Ней незнакомых людей. В тенях, силуэтах я видел, чувствовал их коварные улыбки... и так не хотелось услышать их хохот, грязь слов... что проснулся я... Я так нагло был вырван из красоты, блаженства, чистоты в серую действительность, что не сразу воспринял родную реальность. За стенами дома действительно валялись трубы, колёса, резина, бутылки... во всём ощущались нищета, раздражение... Но руки мои, моя память всё ещё ощущали нежность тела, благоухание трав, хор птиц, журчание ручейков, раскинутые дали...

О, Бунин, Бунин!..

Иван Алексеевич Бунин... Читаю, читаю его цикл «Тёмные аллеи». Как живо, сочно, чувственно... соблазнительно он рисует картины своего и не своего былого; как радостно и печально воспринимаешь ход событий! Удивительный художник! Всё правда! И любовь, и гнев, и ревность, и простодушие... и радость освоения мира, жизни с её красотой, возвышенностью и... убогостью. Сколько страсти в нём, Иване Алексеевиче, от юности до зрелости, чистой, благородной! А какая наблюдательность! Человек и природа с небом, растительностью, погодой, янтарными утрами, звенящими полднями, тихими, мягкими, нередко тревожными, загадочными вечерами, ночами со свидетельницей всего и вся — луной... С его Натальями, Татьянами, Русями, Ликами, с их глазами, бровями, смоляными и золотистыми волосами, пахнущими, загорелыми и бледными, томными и авантурными... Все соблазнительные, что диву даёшься! Как он успевал увидеть, услышать, прочувствовать всё это сразу и, как говорят, насквозь?!

Читаю, переживаю, болею и за него, и за его героев. И сам как заново переживаю подобное и близкое в своей жизни. Читаю, и иногда мнится мне, что это ж я там и это всё со мной, моё, но более чистое, возвышенное, глубинное... пахучее. А уж о бытии, то есть облике и состоянии посёлков, городов, транспорта, услуг — дай Бог фантазии, чтоб представить близко к былой действительности. Как много мы утратили! Сколько же мы простояли в очередях, исходили строем в «походах», простояли на «линейках», просидели на разного рода политсобраниях! Утраты безвозвратны! Это когда предполагаешь, что что-то прошли мимо... Для многих или даже большинства — этого не было, не существовало. Это вне их путей, представлений, возможностей, вне сознания. Как жаль! И не их вина!

Читаю, радуюсь и болею одновременно. Почему?! Думаю, что боль от тяжести, невысказанной даже самому себе. Сложен человек! Сложен, как и сам мир. И Бунин описывает его правдиво, с сердцем, но не толкует, не исследует. И вспоминаешь его офицера из «Кавказа», генерала-эмигранта и судьбу его обрётённой в той суровой доле спутницы («В Париже»), его Музу «Гостя», «Визитные карточки» и вновь «Натали»... У него всё воспринимать-то надо не столько умом, сколько душой!

Эх, Бунин, Бунин!

Можно ли называться русским, если не знаешь, а, следовательно, не любишь народных песен, сказок; если не знаешь хоть сколько-то историю предков из глубины веков, если не знаешь героев, духовных подвижников... литературу, музыку... Если сразу при звуках и ритмах от «Майкла», от «Мадонны» и других подобных имён «из-за бугра» ты начинаешь конвульсивно дёргаться и входить в восторг телячьей радости... если знаешь, кто из них, когда и с кем... какие детали туалета они носят, а из языка Пушкина и Толстого используется сотая часть, да и то со «связочками» из подворотного... Это ли русскость?!

Россия... Русь Святая... Как волнуется сердце уже при произношении этих слов, а главное, при охвате смысла этих слов! Сразу представляешь историческую поступь великого народа, его сложный, трудный, но светлый путь. Конечно, на этом пути были не только радость, но и великие печали.

Как понимать русскость, что такое русский человек? И почему этот вопрос вновь стал злободневным? Славянофилы и западники — давнишнее разделение одного этноса, одной нации и даже национальности. Русский мужик с поля, поэт Клюев, Есенин, Василий Белов и... русские Пушкин, Толстой, Чехов, Бунин, Шаляпин... По мне равно русскими людьми являются и Аксаков, и Белинский, художники Иванов и Кустодиев. Русскость не во внешних проявлениях и внутренней традиционно народной замкнутости, а в натуре, способной сопереживать всё вместе с нацией, не отстраняясь от неё. Иначе можно дойти до крайностей, и тогда И. Тургенев, А. Иванов и Н. Гоголь, прожившие за границей многие годы — не русские...

Не говоря уж о вечно упоминаемом в таких случаях Петре Великом! Да не будь Петра — не было б и Пушкина, и Лермонтова, Суворова и Кутузова, Ломоносова и всего того, чем мы гордимся и поныне. Наука, техника, культура, армия, офицерство, флот... Территория страны, нако-

нец! А целый город Санкт-Петербург с его академиями, кунсткамерами, мостами, усадьбами?!

Ф. М. Достоевский, в русскости которого мало кто сомневается, говорит: «... русский получил уже способность становиться более русским лишь тогда, когда он наиболее европеец». И тому пример он сам, и Тютчев, Чайковский, Третьяков, Станиславский, Булгаков... Не русские люди — это те, кто проживает на территории Матушки-России инертно, бездумно, которых предостаточно в наших городах и весях. Он и землю не знает, он и церковь забыл и забыл все связи со своими предками. Мало того, он бывает даже враждебен к ним. И хоть он и Иван или Иван Иваныч, но слаб его стержень и ненадёжен он как опора; неустойчив он к соблазнам и пристрастиям.

Только не теряющий кровную и духовную связь со своим народом и своей культурой, да ещё ориентирующийся в общемировой, может быть достойным представителем нации и способствовать её процветанию.

Человек, равнодушный ко всему национальному, хоть и преуспевающий — не русский человек! И пренебрегающий мировой культурой — тоже малостоящий русский человек!

Сколько наших вынужденных эмигрантов, живя на чужбине, благодаря широкому кругозору оставались истинно русскими людьми, сохраняя в быту лучшие традиции и высоко представляя там русского человека. Соприкосновение культур способствует взаимообогащению. Русская культура, имея богатую основу, во многом зиждется на культуре эллинской, античного Рима, религиозных устоях, заимствованных у других народов... И это не во вред нам.

Геннадий Правоторов

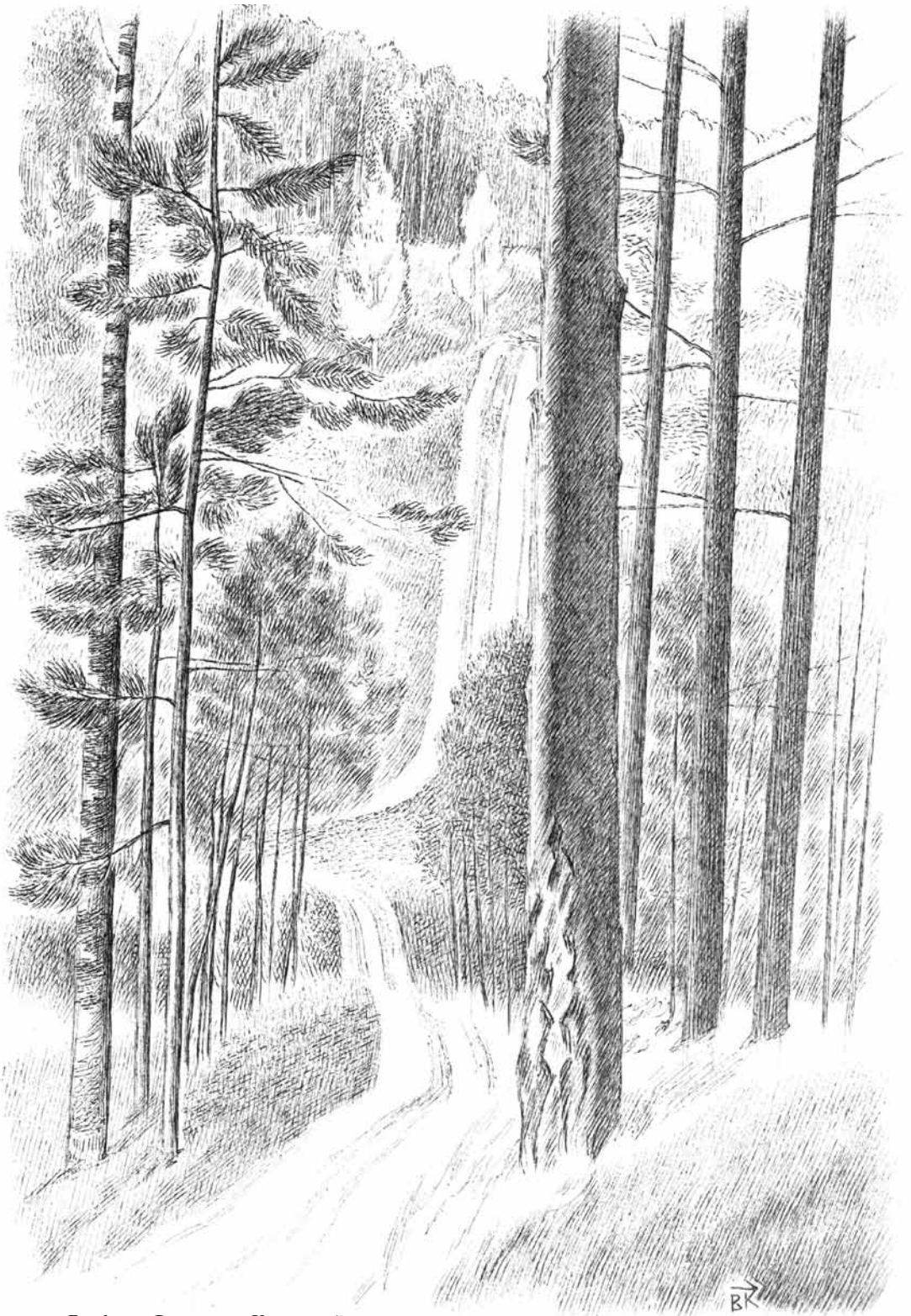
Справка об авторе:

Геннадий Иванович Правоторов — народный художник России. Академик Российской академии художеств, лауреат Международного конкурса «Возрождение медали» (ФИДЕМ). Живёт в Москве.



Проза





Графика Василины Королёвой

ВК



Ирина Евгеньевна — писатель, кинодраматург, член Союза журналистов СССР, член Союза писателей СССР.

Родилась в Москве, но юность прошла на Алтае. Перепробовала много профессий. Автор многих книг прозы.

Статьи о её верности классике в творчестве писали такие мастера литературного слова, как С. Дангулов, Ю. Нагибин, М. Светлов и другие.

Ирина Ракша — лауреат литературных премий им. М. Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина. В 2008 году была награждена орденом «Дружба» за заслуги в области литературы и искусства.

В 2013 году Ирина Ракша стала лауреатом премии «Писатель года».

Член редколлегии «Коломенского альманаха» с 2002 года (шестой выпуск).

Живёт в Москве.

Рассказ

А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

Замёрзшее ноябрьское солнце осторожно поднялось и удивлённо и ласково оглядело белую землю. За ночь выпал снег и сделал всё незнаваемым. И поля, и станцию, и поселковую площадь перед клубом с вывеской «Дом культуры». А напротив у магазина на первом хрустком снежке толпились женщины. Стояли, сидели на завалинке — ждали ночного хлеба прямо из пекарни. Пришли в магазин загодя по белым прибранным улицам посудачить, новости разузнать, да и свеженького, тёплого хлеба взять.

Похаживают в тёплых шалях, в непривычных, ещё не притёршихся валенках, ногами постукивают, сумки-кошёлки в руках. Вдруг всполошились: — Везут! Везут!

Голубой фургон с хлебом, и правда, катил всё ближе по белой площади. Вот резко, круто затормозил под самыми окнами. Женщины шархнулись:

— Ну, Гришка, — шальной!

Щёлкнув дверцей, вниз лихо выпрыгнул шофёр — ладный, живой малый. И женщины сразу запели вразнобой:

— Здравствуй, Гриш, здравствуй... Небось, горяченький? Не остыл? Прямо из пекарни?

— Привет, коли не шутишь, — Гришка с улыбочкой распахнул задние дверцы фургона. — А ну, бабоньки, налетай — помогать. Разгрузим. Кто скорее.

И те принялись помогать — буханки в деревянных подносах носить в магазин.

В магазине ещё не топлено, сумрачно, холодно. По полкам, по старинке, поскольку магазин не бизнес-класса, а государственный, бюджетный, ткани разложены, куртки висят разноцветные, рядом кроссовки стоят, а бакалея — справа: крупы, пряники. Продавец открыл на окнах железные ставни и нехотя пошёл за прилавок, товар принимать. А бабы, дыша белым морозным паром, одна за другой уже несли (кто в обнимку, кто на подносах) тёплый, живой, родной хлеб-хлебушко. От машины, вверх по ступенькам, и в магазин. И в магазин. Скрипит снег, скрипят ступени, скрипят внутри крашенные половицы под валенками. На ходу балагурят, смеются:

— Ты глянь-ка, глянь, Кузьмовна-то сколь подхватила! Эй! Не лопни, кума! Не надорвись!

А та, маленькая, в клетчатой шали, еле протиснулась в дверь с буханками, будто с охапкой дров. Понесла на прилавок стопку чуть не выше головы — продавца загродила.

— Андреич, слыш, Андреич? — заглянула в просвет меж буханок. — Дело у меня к тебе.

По сторонам глянула и тише:

— Сноху мою, молодуху, к себе не пристроишь? Таньку. Чего ей дома баклуши бить. Пристрой, а?

Продавца было не видно, только жилистая рука с карандашом ползала по бумажке.

— Пристрой, ради бога. Не станцию её жалко, чернорабочей-то посылать, холодно в зиму. Не рожала она ещё, молодая и городская, — шептала Кузьмовна. — Охота, где потеплее.

За буханками было тихо, потом раздалось:

— А в сети-то она работала?

— Да нет, — огорчалась Кузьмовна. — На заводе она была ученицей. Но добавила живо:

— С десятилетней она, с аттестатом. А как же... Учёная.

— Таких учёных у нас вон полна дискотека. Всё прыгают, прыгают...

Верхние буханки продавец снял. Они гулко стукнулись о деревянную полку. Лицо у продавца было постное, безучастное, он шевелил губами — товар считал по накладным, сейчас ему не до чего было. Наконец промямлил:

— Мне не надо. А в частный сектор её не возьмут. Там везде все свои. Семейный подряд... Вон к Лизавете лучше сходи, в кафе, на станцию. Уж там куда как теплее.

Кузьмовна поджала губы и пошла молча к выходу. И хлеба больше носить не стала, чего зря стараться. Села на завалинку в очередь, ждать, пока всё примут, обдумывать положение.

И тут к магазину, звеня сбруей, фыркающая от мороза, галопом подкатила рыжая лошадевка, видно, впервые после осени запряжённая в сани. Ещё на ходу на снег соскочила Лиза, Лизавета, станционная буфетчица, — приехала тоже хлеб получать. Королевой стоит у фургона, как сахарная, полушалак белый, ажурный, шубка белая, смеётся, бумажку Гришке суёт:

— На-ка, распишись, Шумахер... Тридцать буханок.

Он было руки к ней протянул радостно. А она:

— И не тронь, чумазый! Не марай! А то как ляпну промеж глаз-то...

Подхватила с лотка, понесла к саням своим первые ароматные кирпичи. Крикнула всем весело:

— А ну, бабоньки, помогай! Чего встали?! Чего смотрите?

Но бабы ни с места, носы в сторону. А одна с укором:

— Ну, как же. Ты мужиков наших приваживать будешь да спаивать, а мы тебе — «помогай»? Ишь ты, язва какая!

Лиза хохочет, укладывает парной, душистый хлеб на свежую солому в сани:

— А ты его привяжи к юбке, «красавица». Чтоб не сбёг. Ты в зеркало-то на себя давно глядела?

И Гришка-шофёр зубоскалит:

— Да вырвется. От такой жинки как не вырваться?

Лизавета порхает от саней к фургону, считает вслух:

— Одиннадцать... четырнадцать...

Подошла Кузьмовна и так ей ласково:

— Давай-ка, Лиза, подсоблю. Давай, кормилица. Не надрывайся.

— Вот спасибочко, — щёки у Лизы-блондинки румяные, зубы белые. —

Вот спасибочко за сознательность.

Кузьмовна сочувствует на ходу:

— Чего сама хлеб-то возишь? Нешто положено тебе, заведующей, самой надрываться? И в буфете, и по базам, и тут?

— Ой, и не говори, — вздыхает Лизка. — Третью подсобницу меняю. То в декрет уходит, то не сработались — с гонором. Торговля ведь дело тонкое.

И тут Кузьмовна остановилась в обхват с буханками:

— Слышь, Лиз. А ты сноху мою возьми. Таньку. Девка — золото. И покладистая, и шустрая. Прямо огонь.

Лиза сразу посерьёзнела, солидно села на край саней:

— Это та, что ль, маленькая? Что Витька из города привёз? После службы?

— Она, она, — обрадовалась Кузьмовна. — Из Томска. Он там ведь служил. Ну и склеились, и привёз вот к матери в дом. Я, конечно, не против. Но раз я всех на пенсию прокормлю? Правда, его вроде даль-нобойщиком берут.

Лиза подбила жёлтую солому под себя с боков, в руки вожжи взяла, лукаво на Гришку-шофёра глянула:

— Гринь, взять, что ли, девку к себе? — И Кузьмовне: — Ты буханки-то клади, клади. И ещё пять штук осталось. А ты, Гринь, в магазин сходи, пусть дед распишется в накладной.

Кузьмовна угодливо притащила ещё пять буханок. Торопливо сложила. Уж больно ей хотелось пристроить сноху свою к делу.

Но Лизка дёрнула вожжи, и сани поплыли от Кузьмовны, потекли, словно вода из рук. Лошадь сразу двинулась ходко, вид первого снега тревожил её. Кузьмовна расстроилась.

Но Лизка всё же оглянулась, задорно крикнула издали:

— Ладно, пусть завтра с утра заходит! Погляжу на неё!

Над посёлком разливался голубой рассвет, и в домах уже горели ранние тёплые окна, когда Таня подошла к станционному буфету. Но не

со стороны платформы, у вокзала, а со станционной площади, с тыла, с подсобного входа.

Всю дорогу она бежала из Заречья по спящим улицам, боясь опоздать. Но у запертой двери на пороге пока лежал лёгкий снежок, нетронутый, мягкий, и вся мощёная улица и деревянные тротуары были белы и чисты. Как в праздник. Таня уселась на ступеньки — ждать.

Вон и фонари и те, что вдали, и у вокзала погасли. А хозяйки всё нет и нет. Таня ждёт, волнуется, как-то пройдёт этот первый её рабочий день, что расскажет она вечером мужу, свекрови. Ведь который уж месяц сидит без работы. Дома в городе к такому она не привыкла. С утра — на завод, как часы. Таня думала и чертила варешкой на ступеньке «Витя плюс Таня» — уж очень она любила своего новобрачного Витеньку — гвардии старшину. Так и не заметила, как подошла Лиза, оглядела её согнутую фигурку, тёмную чёлку из-под платка и по-хозяйски поднялась, протопала к своим дверям, чуть на варешку не наступила. Таня вскочила:

— Здравсьте! А я как раз вас жду.

— Здорово, коль не шутишь, — усмехнулась сверху Лиза, доставая из-за пазухи ключи, и, щёлкнув замком, со звоном откинула длинную щеколду.

— Ну, заходи, заходи, помощница.

И вот уже посреди пустого буфета Таня застилала столики голубыми клеёнками. Взмахнёт над столом клеёночкой, как ковром-самолётом, потом расправит, разгладит ладошками. По центру солонку поставит, горчицу.

— А Витюшка мой ничего и не знает, — говорит она Лизе весело. — Бог даст, из маршрута вернётся сегодня, а я, пожалуйста, тут как тут. Уже с работы иду. Вот удивится.

— А что ж, верно, нечего на мужиков надеяться. Хоть и замужем, а о себе самой надо думать. Нынче время суровое. И мужик пошёл гнилой, хлипкой. — Лизина голова на сахарной наколке на пышных волосах то появляется над стойкой, то исчезает, она за прилавком разбирает продукты. — И вообще девушке надо при деле быть. А то нынче шляются по земле без дела, и все со своими хотелками, с гитарами, смартфонами-телефонами. И всё им сразу подай. Утомон не берёт. А потом дети сиротами растут, в интернатах.

И горько вздохнула:

— Я тоже душой была по молодости. Влюбилась. В одного такого трепача вляпалась. В альфонса. И Толечку родила.

За окном встаёт солнце. На стёклах цветёт розовый иней. И бумажные кружева на полках с продуктами становятся розами. И бумажные салфетки в стаканах, красиво разложенные Таней, тоже словно цветут. И такая благодать вокруг, что душа у Тани поёт. В буфете чисто, уютно, потрескивают дрова в печи и пахнет как-то особенно — хлебом, свежемьтыми полами, тушёной капустой, сосисками.

Таня ставит греть воду, режет свежий, ещё тёплый хлеб, порой гладит ладошкой буханки. Так и хочется поцеловать их в румяные щёчки. Говорит из подсобки громко:

— А я на заводе в стаканном цеху ученицей была. Красота, конечно. Всё звенит, крутится, только успевай вертеться. И зарплата вполне подходящая.

— Ну, это ты зря. Денег много никогда не бывает.

Лиза её слушает и не слушает, взвешивает товар — открывать скоро. Народ повалит.

А Таня уже подносит ей стопку тарелок.

— Вообще-то, мне жить везде интересно. Мы с Витей сперва чуть в Заполярье не двинулись. У него в части сослуживец оттуда был. Чукча. Очень звал. Вездеходы по тундре водить. Там и яранги бесплатные, и надбавки северные. А рыба и оленина вообще даром. Мне интересно, конечно. Но Витечка мой упрямый. Домой да домой, говорит. Тут, мол, и мать, и хозяйство, колодец свой. Даже любимый пёс его ждал, — у неё мечтательные глаза. — И вообще, как говорит мой Витечка, надо жить с полным КПД. Верно ведь?

— Ох, детсад. Не с КПД жить надо, с КПД надо денежки зарабатывать. Как теперь говорят молодые? Надо «бобло рубить». Не слыхала? — Лиза качает своей пышной причёской. — Мой сынишка Толечка и то умнее тебя. — И подаёт Тане белый передник: — На-ка вот, сегодня мой надень, униформа, потом свой сошьёшь. — Улыбается: — И чтоб с полным КПД, ясно? А то живо от ворот поворот. У меня не заржавеет.

В зале буфеталюдно и уже душно. По стёклам течёт. Кругом пассажиры — гомон, разноголосица. Таня живо ходит меж столиков, на поднос собирает посуду грязную, вилки-ложки-стаканы. Вот и Гришка-шофёр пришёл, ест винегрет, у него тут свой интерес. Он всё на стойку пялится. Но Лизы ему не видно, только её сахарная наколка мелькает порой поверх голов и звонкий голос доносится:

— Котлеты — одни, сметана — одна, хлеб — триста. Следующий!

Таня стирает со столиков мусор, собирает тарелки, ходит, как Лиза, гордо поглядывая вокруг. Что ж, работа хорошая, и в тепле. Вот с мороза ввалились в буфет деповские девчата в рабочих, ярких, как апельсин, робах. Запахло бензином, шпалами, смазкой. Гремят в углу водой из-под крана, моют свои чёрные рабочие руки. Занимают сразу три столика, одну сразу в очередь посылают.

А Таня уже шурует в печи кочергой, слушает их грубоватые голоса. И к ним у неё почему-то особое уважение, даже почтение. У них и профессия, и зарплата, и опыт, а главное — судьба. И кажутся ей эти двадцатилетние очень взрослыми и на зависть самостоятельными.

Посуду со столов Таня носила и на кухню, и в подсобку. В обед в подсобке горы посуды. Только мыть успеваешь, и сразу же белые, чистые стопки обратно в зал, к Лизе за стойку. А та ей шёпотом, почти сердито:

— Ты больно-то не размывай там, чистюля. Не дома ведь. Не в больнице.

Народ к ней, и правда, буквально ломится, валит, особенно когда местные электрички приходят.

Вода из крана бежит в мойку. Таня берёт стакан, моет под струёй, ставит на чистый поднос. Приноровилась уже, и получается ловко, как на заводе поточная линия. Звенит крышкой чайник, звенят стаканы, а Таня, как в вальсе: берёт — раз, моет — два, ставит — три. Раз, два, три. Раз, два, три.

Иногда, стуча босоножками, забегает Лиза. То к плите кинется, то в холодильник нырнёт. То в СВЧ что-то разогревает. На ходу живо спросит: «Ну, как КПД у нас, девушка?» И Таня в тон ей весело:

— Как в стаканном цеху!

А по радио идёт производственная гимнастика. Эту старую-старую передачу у них в посёлке недавно возобновили. По просьбам жителей. И правильно. А то, у кого работа сидячая, например, за компьютером, — хоть плачь. Костенеет всё.

— «Встаньте прямо, поднимите руки на уровне плеч. — Таня тоже взмахивает руками, они у неё по локоть мокры. — Упражнение начали, и...раз-два-три, раз-два-три...».

Ну вот, значит, скоро обед. Уже и день деньской клонится. За белым морозным окном проехал из города синий рейсовый автобус, пробежали ребята с портфелями. Вторая смена. За вокзалом простучал товарняк на восток.

Иногда через открытую дверь Таня смотрит в зал на Лизу, любит, как та ловко орудует у стойки. Народу к ней не убывает: и шофёры, и транзитные пассажиры, и сцепщики. И все — Лиза да Лиза! Всем нужна Лиза, и все к ней с почтением. А она — как Хозяйка Медной горы: порой стоит, почти не двигаясь, только руки, как птицы, порхают от стойки к витрине, от витрины к полкам, к весам, потом к бочке с пивом. Серёжки вздрагивают, пальчики с маникюром по счётной панели живо щёлкают:

— Три бутерброда, треска, два пива. Всё? Сто девяносто. Сдачи — мелочи нету. Готовьте мелочь заранее, — купюры в ящик бросает, а на сдачу ириску бросила.

— Следующий!

В подсобке Таня чистит овощи: свёклу, картошку, уже третье ведро с утра.

— А что я придумала, — толкует она Лизе, та наспех ест винегрет столовой ложкой, прямо из общего бака. — Давай шторы на окна повесим, голубенькие такие. Я такой матерьяльчик в универсаме видела. В цветочек. Не дорого. Если хочешь, сама сошью. Я у свекрови все шторы-подушки пообшивала.

Тане очень хочется ей понравиться. Устроиться, наконец, на работу.

— Но главное, — советует она, — надо в зале иконку повесить. Божью Матерь или Иисуса Христа. В уголок. К потолку. Вы же крещёная?

Но Лиза жуёт, устало глядя в окно:

— Делать тебе, что ли, нечего? Я и так не чаю, как отсюда свалить. Вырваться.

У неё прямо ложка из рук валится от усталости.

«Нехорошо это, конечно, прямо из общего бака, — думает Таня, наливая ей чаю в стакан. — Но ведь и поесть-то толком некогда». А скажешь — обидится.

Лиза вздыхает:

— Есть у меня мечта одна, девонька. Голубая мечта. Я хоть пока и без мужика, но хочу развернуться. Открыть свой собственный бизнес. Салон

красоты. Бизнес-леди буду. Пред-при-ни-матель. И все местные вумэн-бабы будут ко мне в очередь рваться, записываться. — Вздыхает: — Только на раскрутку надо побольше бобла накопить. А тут разве накопишь? Тут так, гроши капают. Потому и мечтаю в вагон-ресторан устроиться. Вот дельце одно проверну и сдам эту точку к чёртовой матери.

Из зала доносится шум. У стойки ждёт очередь, но Лиза туда и глядеть не хочет.

— Думаешь, мне нравится улыбаться тут каждому? Думаешь, нравится? А надо. Потому — деньги нужны. Вон Гришка-шофёр на зиму дров подкинул? Подкинул. Значит, плати. Или же спи с ним. А на что он мне, вонючий, нужен? Завмаг моего Толечку в интернат устроил? Устроил. Опять плати. — И голос вдруг потеплел: — В первый класс пошёл мой Толечка. Палочки-нолики пишет.

Она помолчала и опять твёрдо, уверенно так:

— И хоть я мать-одиночка, а Толика выучу! Расшибусь, а выучу. Он у меня ещё учёным будет. Профессором. И особняк я построю, Пугачихи не хуже.

Стоит Лизавета, из бака машинально ест винегрет столовой ложкой, а в глазах такая тоска и что-то своё, далёкое, слёзное. Таня ещё не видела её такой.

— А вы бы замуж шли. Вы вон какая красавица. Любой возьмёт. Ещё выбирать будете.

Лиза усмехается горестно:

— Господи, да за кого у нас тут замуж-то выходить? За Гришку-водицу, что ли, голь перекатную? — в сердцах бросила ложку в бак с винегретом. — А солидные люди в администрации давно все женатые. Дворцы-хоромы возводят совместно с жёнами. И вообще все непьющие, порядочные, особо кто в бизнесе или при власти, давно разобраны. А отбивать, на разводы да на скандалы нарываться, уже поздно — это мы уже проходили... — Вздохнула. — Мне, голубка, сейчас для разбега, для начального капитала, вагон-ресторан нужен. Дальнего следования. «С—В». С цветами и абажурчиками. Да с «клиентами» пожирней. Вот я жизнь и налажу. Я всё же не дура. Открою свой бизнес.

И опять пошла в зал, и опять раздалось громкое:

— Сосиски — одни! Хлеба — триста. Винегрет один... Тань! Чай там у нас скипел? — костяшками маникюра пощёлкала по кнопочкам цифр и на сдачу в блюдце ириску бросила.

— Следующий!

Чайник с кипятком ведёрный, белой эмали. Прихватив тряпкой, Таня тащит его двумя руками. Уже шестой сегодня выпивают. Это сколько же люди пьют за сутки? Говорят, по два литра надо. Ну, а сколько, например, по району? Или по области? А по Сибири? По всей стране? Ой-а-а... реки. Енисей-Лена! Вспомнила, читала где-то, придёт время, и вода дороже золота будет. Слава богу, у них во дворе свой колодец. Ещё её Витюшка с покойным свёкром вырыли. Вода, как слеза. Как в Байкале.

— А я говорю, мне сдача нужна, — это у прилавка упрямится гражданка проезжая. В шляпке, в очках, из транзитных. Не хочет ириску брать.

Лиза расстраивается.

— Ну сколько раз объяснять, гражданочка, — потрясла перед ней пустым блюдцем. — Нету мелочи, видите, нету, — и вторую ириску ей бросила.

Сзади торопят:

— Ладно, дамочка, отходи. Нам на поезд.

— А нам на смену. — Тянут через головы деньги. — Лиза, нам пять пива!

А дамочка как приросла, упрямится:

— Я сдачи жду. Принципиально, — и глядит в упор через очки.

«Бывают же люди такие! — Таня взгромоздила чайник на табурет. — Дались ей эти копеечные десятки!» И вдруг она увидела внизу тарелку полную-полную мелочи, под прилавком, на полочке.

— Лиза! Лиза! — Чуть чайник не скovyрнула. — Да вот же они! Вот, — и достала скорей — мелочь громко брякнула.

Пассажирка усмехнулась ехидно:

— Вот, вот. Это и требовалось доказать. Продавцы — они все ловкачи. Оттуда и хоромы у каждой растут, из мелочи этой!

А Лиза померкла вся, зло взглянула на помощницу:

— А кто тебя просил убирать, прятать? — и отвернулась. — Так. Вот вам, гражданочка, ваша сдача. Следующий!

Таня мяла тряпку в руках. Не знала, куда деваться от осуждающих взглядов очереди.

Постояла ещё молча и пошла в подсобку.

Из приёмника над её головой диктор звонко вещал:

«Дорогие друзья, дорогие слушатели! А вы помните, какой сегодня день? И для тех, кто ответит на этот вопрос, мы начинаем концерт по заявкам. Да, да, по заявкам наших доблестных воинов-артиллеристов и ракетчиков!...»

— И никогда не лезь в мои дела, — Лиза спокойно раскупоривала консервы на табуретке. — И к стойке вообще больше не подходи. А то первый и последний день тут. Поняла? — Серёжки её сердито дрожали. — А то я без тебя не знаю где что у меня стоит.

Таня, как мёртвая, машинально моет стаканы в ритме печального вальса. Раз, два, три, — раз, два, три. Думает: а может, Лиза и права? Не надо в чужие дела соваться.

А по радио давняя знакомая песня звучит, очень она Татьяне нравится. Она ещё в школе её в хоре пела. Правда, только припев:

Поле, русское по-о-оле,
Я, как и ты, ожиданьем живу.
Верю молчанью, как обещанью...

Вот и она верила и ждала. И послал ей Господь солдата Витюшу на счастье. И не ошибся.

А день за окном уже меркнет. И уже фонари над улицей качают жёлтый печальный свет. И где-то вдаль у депо перекликаются на запасных путях маневровые.

Таня собирала со столов в таз солонки, горчицу. Стаскивала запачканные клеёнки. Рабочий день кончился. Но с улицы всё равно то и дело стучали, дёргались. Звякал крюк на двери.

— Мне на базе шепнули, ревизия скоро. — Не обращая внимания на стук, Лиза «снямала остатки». — Надо будет всё подготовить, чтоб комар носа не подточил.

Скинув босоножки, она по стремянке залезла на стойку (ножки красивые, стройные) и выше — к буфетным полкам. Считала там банки, коробки с печеньем-вафлями. И шоколад «Шармель». А ещё бутылки «Краснодарского».

— Ты чего молчишь-то? Обиделась, что ли, из-за мелочи? — Усмехнулась. — Ну и дурочка. Если из-за каждой мелочи дуться... Нет, девушка. Так нельзя. Надо легче на всё смотреть, веселей. А то долго в торговле не наработаешь. Особо, если всё к сердцу брать. Я раньше тоже дурой была. Да поняла — весёлому легче живётся.

А в дверь опять застучали.

— Может, открыть? — спросила Таня.

— Да ну их, алкоголиков, к чёрту. Небось, как всегда, не допили. У нас рабочий день кончился. Весь КПД вышел.

И крикнула на весь зал: «Закрыто! Закрыто!» — И Тане: — Так. Записывай. «Крымское красное», «Таврида», двадцать четыре бутылки по ноль семьдесят пять. И «Массандра» ещё, и коньяк «Коктебель». И посмотри там сама в «винной раскладке», почём там они... Нынче из Крыма три сорта поставили. Это ж когда раньше бывало такое? А всё санкции... А вот цифр не помню. Прямо голова кругом с арифметикой этой... (А стук всё продолжался). Слушай, а вдруг это нужный кто бьётся? Ну-ка, поди, открой. Посмотри.

И Таня побежала, железный крючок живо скинула. Задвижку дёрнула.

В клубах пара ввалился квадратный заснеженный дядька в промёрзшем брезенте. Загудел:

— Что, Лизавета, рано в праздник закрылась?

Он потопал на месте, и комья снега с плеч и с ног полетели на пол, зашипели на печке.

Лиза обрадовалась:

— Ой, Пётр Иваныч! Вот радость-то! — и скорей со стремянки слезла. — А какой такой день сегодня? Какой праздник-то?

Он обиженно засопел, вылезая из своего твёрдого, как короб, плаща.

— Эх, девки вы, девки. Молодые, необразованные. Больно быстро всё забываете. А ведь ещё недавно ноябрь 19 числа называли гордо — День артиллерии. И ещё добавок был — «и ракетных войск»! Вся страна салютовала, праздновала. Не только города-герои. Так-то вот.

— Ой! Точно, мне бабушка говорила, — вставила Таня. — После октябрьских вскоре День артиллерии был!

Он оглянулся и увидел новую помощницу, аккуратную такую девчонку, с чёлочкой, в белом фартуке похожую на школьницу. Молча повесил у двери гремящий плащ и по-хозяйски пошел в пустой зал, сразу такой домашний, в вязаной душегрейке и в серых валенках-катанках.

В подсобке Лиза срочно достала из холодильника начатые пол-литра беленькой.

— Видала? Тоже ухажёр явился — не запылился! Только этот как раз вовремя. На ловца и зверь бежит. Бывший наш начальник станции, да и сейчас депутатствует. — Она сразу повеселела. — Вот так в каждый праздник сюда приходит. Явится и сидит, сидит, размышляет. Жена у него мегера. Сроду выпить не даст, говорит — печень его бережёт. А сын у него в Москве. Тоже шишка. Внуки уже есть. Но он, чудик, к сыну не едет. Говорит: «Сибирь свою и на Париж не сменяю»... А что тут хорошего? Дыра и дыра. Международный даже пролетает без остановки.

Она раскупорила бутылку, отёрла салфеточкой.

— Ты колбаски давай нарежь и сыру свежего. Да потоньше, покрасивей разложи.

Он молча сидел в пустом зале среди голых столов, на которые сверху кое-где уже подняты были стулья ножками вверх, и смотрел, как за окном в свете ближнего фонаря то кружится, то косо летит жёлтый снег.

— Чего ж редко заходите к нам, Пётр Иванович? Или мы для вас мелкие, не по штату? — Лиза подплыла к нему прямо лебёдушкой — и стакан беленькой на тарелочке, и закуска — огурчики, свежий хлебушек.

И он очнулся от мыслей.

— Дела всё, Лиза, дела разные. — Расстегнул душегрейку. — Вот и сейчас я к тебе прямо с актива. К зиме в регионе дел снова по горло. И дороги, и свалка, и детсад. А главное, с самостроем беда, с коррупцией. Братья Ахметовы опять рвутся у реки землю под дачи присвоить. Богатые толстосумы. Ну, тоже пришлось выступить. Понервничать, покричать. У реки земля дорогая, но народная, поселковая.

Лиза присела напротив него, оперлась на красивые белые локти. Глаза блестят, и наколочка в волосах играет.

— А чего вам беспокоиться, Пётр Иванович? Как говорится, вы на заслуженном отдыхе. И человек большой. В почёте всегда. Вы своё отработали. Сидели бы дома у телевизора. Вон сколько новостей нынче, не успеваешь следить, — и стаканчик подвинула. — Как здоровье-то, печень-то как, не тревожит?

— Да ерунда. Не берёт меня, Лиза, зараза. Я ведь старый солдат — калач тёртый. — Помолчал и со значением, серьёзно так поднял стакан. — Ну что, красавица? С праздничком всенародным!

— А с каким? Какой день-то сегодня?

— Всегда это был день артиллерии. Так что, за артиллерию нашу. Не забывай девятнадцатое число.

— Ой, и правда! — подхватила она. — С праздничком, Пётр Иванович, с праздничком! У нас молодёжь тоже то и дело палит по всем улицам. Китайские фейерверки понакупают, и ну стрелять, ну пулять по дворам да по огородам... Только народ пугают. Ну, скотину ещё. А то, глядишь, и дом подожгут. Вон недавно в Талице от этой их «артиллерии» пожар был...

Но про Талицу гость слушать не захотел.

— Новых ракетных войск, Лиза, я теперь, конечно, не знаю. Нынче больно уж круто они повылазили, ощетинились мощью. Я шляпу, конечно, за это перед ними снимаю. А вот старую артиллерию я по Афгану знал хорошо...

Он шумно выдохнул и залпом опрокинул стакан.

Лиза обернулась, крикнула Тане в кухню:

— Ну, долго ты там возиться будешь? Неси давай, неси.

Он похрустел огурчиком:

— Опять новенькая, что ли? Больно часто ты их меняешь. Ну и как, ничего?

— А кто его знает, — пожалала плечами Лиза. — Новый сапог по-первости всегда жмёт...

— Жмёт, да притирается. Уж про сапоги-то я, дорогуша, всё знаю. Набегался. Понатёр пятки...

Он был прост, седоват. И добродушен лицом. И, видать, по возрасту прозорлив и умён. Смотрел, как спешит к ним в фартучке новенькая с чаем, с тарелочкой и как горячий стакан жжёт ей пальцы. Улыбнулся:

— Садись, посиди с нами, красавица. Праздник ведь нынче.

Но Лиза тут же перебила, отослала помощницу:

— Иди, иди. Нечего ей тут рассиживать. Ещё клеёнки не мыты. А вы ешьте, Пётр Иванович, закусывайте. У меня всегда всё свеженькое. Вон соседи-то наши, Лужковское, какой «Мааздам» варить научились. Без санкций-то. Я только и беру ихний.

Он произнёс машинально:

— Да, сыр хороший, от импортного не отличишь, — и всё смотрел в окно, где под фонарём уже валил в треугольнике жёлтого света косо летящий, как золотистый, снег.

— А как же, Пётр Иванович, всё стараешься, стараешься, — уже повновому заговорила, словно запела, Лиза. — Сами знаете, я на этой точке уж пятый год. И всё без жалоб. Одни похвалы да грамоты. Только ведь с этого сыт не будешь... Ты тут хоть надорвись. И ведь и в ночь-полночь стучат, и днём не присядешь... И всё хочешь, как лучше. Как лучше, — вздохнула мечтательно. — Вот иконку повешу. Шторки для уюту сошью, голубенькие такие. Уже и ткань присмотрела в цветочек.

Он сидел благодушный, добрый, чуть разомлевший от выпитого.

— Да. Люблю я тут, Лизавета, посидеть у тебя вечером. Тихо, спокойно так, в своё удовольствие. А главное, на тебя посмотреть. Ты для меня вроде как живая картинка. Из прошлого. Как фотография вроде. Очень уж ты похожа на одну... — и осёкся.

Хрипловатый голос смолк в пустом зале.

— Ну, хочешь, я честно тебе признаюсь?

Но Лиза не хотела честных его признаний, сразу оборвала:

— Нет-нет, Пётр Иванович, не надо. Вы лучше пейте, отдыхайте. — Ни к чему ей были всякие откровения. — Стаканчик подвинула. — Я сейчас ещё подолью. А можно и кофейку заварить для бодрости. Мне подкинули с базы. Для своих. Ну просто супер. «Эгоист» называется.

А он как не слышит:

— Я, Лиза, в молодости Афган весь прошёл. «От звонка до звонка». Лейтенантиком был. Пехотой командовал. Попал туда необстрелянным. А кругом — и в горах, и в ущельях, и у местных по сёлам — «духи». Душманы. Вообще-то они нас, конечно, боялись. Но и уважали тоже. Мы в аулах у них даже школы строили. Но фронт есть фронт. Как-то, под Кандагаром было, в ущелье Карасук, вот в такую же зиму, в метель да в пылюку в ихнюю (аж песок на зубах скрипит) мы специально бросок на-

метили. Поскольку разведка успокоила. Мы транспорт тогда перегоняли, я начальник колонны был. Идём, значит, в свете фар, кругом ни зги... Только лучи наши прыгают впереди. Ну и растянулись. И представляешь, тут как раз духи нас и накрыли. С высоток. Хитро так сработали. Сперва головной бэтээр подбили, чтоб колонну остановить. А потом и по задним грохнули... В общем, как говорится, в клещи взяли. Врасплох. Ну и началось. Пошла плясать мясорубка. Бой, стрельба, крики, атаки, — он катал меж ладоней стакан.

Но Лизе... Лизе сейчас было совсем не до этого, не до всей этой «лирики». Она перебила его, но осторожненько так, вкрадчиво:

— Вообще-то, у меня, Пётр Иванович, есть к вам один вопросик, — взглянула ему в глаза. — На базе мне умный один человечек посоветовал место работы сменить. На время, конечно. В вагон-ресторан устроиться... Дальнего следования. Пока мой сынок в интернате... Как думаете, стоит?

Он отставил стакан, озабочился:

— А кто ж на этой точке будет? Кого сюда-то ставить?

— Ой, да полно сейчас молодых. Вон хоть бы даже и Татьяну, новенькую. Она городская, молодая, грамотная.

— А чего это ты так вдруг?

Она обиделась даже:

— Совсем не вдруг. У нас каждый член общества должен расти карьерно. А я единица бюджетная, государственная. Имею право. В книге отзывов одни благодарности. И с планом порядок, за четвёртый квартал гоноу. Так что право имею на личный карьерный рост... Конечно, в системе нашей дороги. Участка нашего.

Он покивал.

— На рост право имеешь. — Но вдруг спросил: — А как с личной жизнью-то у тебя?

— Ой! — рассмеялась она. — Какая уж тут личная? Вся личность моя на общество тратится. — И серьёзной добавила: — А в управлении характеристику требуют, с прежней работы. По старинке. По стандарту, с подписью... Я набросала там кой-чего про себя на листочке, чтоб вас не затруднять.

— Набросала, значит? — повторил он и поглядел в окно. А там уже совсем не было видно фонаря, и желтоватый снег почти залепил стёкла. — А ведь сегодня, Лиза, мой праздник, День артиллерии. День спасения — он как день рождения... А девятнадцатого всегда салют гремел во всех городах-героях. И у нас гремело, в Афгане под Кандагаром... И в ущелии Карасук. Да как гремело ещё!.. И нынче надо бы там залпы дать павшим. За всех, что там полегли...

Лиза молча пошла в подсобку. Господи, как же она устала от этих гостей, как всё надоело! И вообще, зря она ему второй стакан налила. Она сняла с волос накрахмаленную наколку, на полку бросила. Красивые светлые пряди рассыпались по плечам. А улыбка стёрлась с лица:

— Ох, уж эти мне пенсионеры! Прямо слушать тошно: вечно одно и то же — про войну, про бои.

Достала початую бутылку.

— Ладно, ещё налью. Бог терпел и нам велел. А то улетит без меня вагон-ресторанчик заветный. Ковёр-самолёт мой голубенький. А с ним

и контингент мой, и денежки. — Вздохнула. — А у нас тут скорый даже не тормозит.

Таня молча перетирает и ставила вымытые тарелки, стаканы. В ритме вальса. Раз-два-три. Раз-два-три.

— Это ведь один человек мне умный совет дал. Проси, говорит, Лиза, характеристику именно у него. Он депутат. Он и сейчас при власти. Сразу в гору пойдёшь. На ноги встанешь.

Щедрой рукой она отрезала колбасы.

— А ты, Татьяна, если хочешь, иди домой. Я сама тут управлюсь. Только печку закрой. И не забудь задвижку проверить, а то угореть недолго.

Пётр Иванович опять машинально возил стакан по столу:

— Мне ведь, Лиза, что, думаешь, — выпивка эта нужна? Нет... Я ведь, если по совести, хожу сюда на тебя поглядеть.

Лиза не сдержалась, усмехнулась лукаво:

— Ох, вы и озорник, Пётр Иваныч. Чего на меня глядеть-то? — но всё же украдкой довольно подмигнула вошедшей в зал Тане: вот, мол, даёт старик. Сто лет в обед, а туда же. — А не поздновато ли вам глядеть на меня? У вас и жена справная. И сын в столице, и внуки-наследнички подрастают. А вы — туда же.

Но старик аж покраснел. Горячо вспылил:

— Дурочка!.. Да я совсем не про то! Тоже мне, чего удумала! Я ведь что сказать-то хотел?.. Уж больно ты лицом похожа на одну мою знакомую... — и тише: — Вот гляжу на тебя, и душа порой замирает — ну, она и она. А как вспомню всё — кровь в жилах стынет... — и добавил: — А без неё, Лиза, мне там просто не было света... Она в части у нас была фельдшером.

А Лиза своё:

— Да ты закусывай, Иваныч, а то захмелеешь, про просьбу мою забудешь.

Таня, присев, распахнула кочергой дверцу горячей печки. Красные отсветы пламени заплясали у неё по щекам. А гость продолжал:

— погоди, дай сказать. Так вот, значит, тогда в ущелье Карасук снег вот так же начал валить. А она, голубка моя, в последнем БМП была. Боевая машина пехоты. Я, начальник колонны, сам её туда отослал. Сам. Думал, там безопаснее будет. Но духи как раз в метель-то и взяли нас в клещи. И такой бой начался, такие атаки пришлось отбивать, прям, мясорубка кровавая... А помогла-таки нам как раз артиллерия... Всё в снегу. Взрывы. Огонь. Машины горят. Как говорится — всё в дыму, как в Крыму. И так до рассвета. Пока ещё одна батарея не подоспела. — Он смолк, вспоминая что-то живое, до боли страшное, жуткое. — И вот, наконец, Лиза, вырвался я, побежал в конец колонны, к последней машине. Смотрю — догорает... И веришь сердцу? Споткнулся даже, ничком упал... Чёрный весь, лицо в крови, в копоти... Но она-то, родимая, ещё жива была. Жива, моя голубка. В кювете лежала. На шинели её туда оттащили. Только кровью уже хрипела. Лицо белое-белое. И всё улыбается мне, улыбается. И волосы её, вот как твои, прядями мне на ладони упали... — Он смотрел невидящим взглядом. — А главное, Лиза, была она уже на пятом месяце. Всё никак в тыл не хотела ехать. «Боюсь, говорит, тебя одного тут оставлять. И сама без тебя, говорит, в тылу боюсь оста-

ваться»... Эх, Лиза, Лиза. А до конца войны-то, до вывода наших войск, всего три месяца оставалось.

У Тани словно перехватило дыхание. Она замерла на корточках у печи. Стало слышно, как дрова, сгорая внутри, потрескивают, как живые, и осыпаются. А Лиза тотчас быстренько встала и торопливо так пошла в подсобку бумагу искать и ручку. А как же — лирика лирикой, а дело есть дело. Может, и момента такого удобного больше не подвернётся. Как говорят, куй железо, пока горячо.

Не подняв головы, он слышал, как простучали её каблучки, как она скрылась за скрипнувшей дверью. Помедлил. Потом выложил из кармана деньги и, тяжело поднявшись, двинулся к выходу. Лишь повторил задумчиво:

— А была она, голубка моя, на пятом месяце...

Одеваясь у дверей, не сразу смог попасть в рукава оттаявшего плаща.

И в напряжённой тишине опять стало слышно, как горячие угли в печи, шурша, сыплются, падают в поддувало.

А Лиза уже выскочила в зал с белым листком в руках:

— Да куда же вы, Пётр Иванович?! Куда вы?!

Но он распахнул дверь и, скрипя ступенями, молча ушёл в белый мороз. Растворился. Словно его и не было.

Лиза стояла растерянная, даже испуганная:

— Господи, с чего это он? — Посмотрела на деньги, потом на помощницу, сидящую у печи: — Слушай, может, это ты ему чего-то сказала? Про меня, может, чего?

Таня молчала с красным от жара лицом.

И Лиза испугалась всерьёз. Крикнула:

— Отвечай! Ты что ему тут сказала? Почему он ушёл?!

Таня упрямо глядела в печь. И вечный огонь отсветами плясал по её щекам.

— Я тебя спрашиваю, — подскочила Лиза. — Что ты ему тут сказала?

Таня поднялась и, глядя мимо неё в пустой зал, который она сегодня видела таким разным — и радостным, и шумным, и многолюдным, — спокойно произнесла:

— Я ему сказала, чтоб он не писал тебе ничего. Никогда ничего не писал, — и пошла одеваться.

Ноябрьская ночь была тихая, звёздная. Белые крыши привокзальных домов с зажжёнными окнами сияли празднично, по-новогоднему. Словно вспоминали истории своей собственной жизни. Блестела под луной уже укатанная за день колёсами и санями дорога. И по этой дороге, по морозцу, бежала домой в Заречье девушка Таня к свекрови и к мужу. Бежала с лёгким сердцем и чистой душой. Почему-то без грусти, без сожаления. А даже радостно. Вот и кончился её первый рабочий день. День артиллерии.

ЛЮБОВЬ



Сергей Анатольевич Мурашев родился в 1979 году в Архангельске.

С младенчества жил в деревне Малая Липовка Архангельской области. На родине выпустил сборник рассказов «Маленькая книжка». Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Двина» и других.

Победитель конкурса «Долгие вёрсты войны, светлые строки победы», посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победитель II Славянского литературного форума «Золотой витязь» в номинации «Дебют», проза. Награждён дипломом V Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» в 2014 году.

Член Союза писателей России. Живёт в Колодце.

Рассказ

I

Автобусик жёлтого цвета с облупленной местами краской круто развернулся на грунтовке, идущей по широкому полю, и остановился поперёк дороги. Из автобуса выскочила Инна, выхватила сумку, хлопнула дверью, и тот зафыркал, развернулся окончательно, показав в одном из окон другой стороны своей фанерину вместо стекла, потом, дребезжа на ухабах, побежал обратно.

Инна, как и договаривались, приехала домой только на выходные, забрать приготовленные для неё продукты.

Она прошла сначала по отаве, скотчанной инеем, потом по узенькой плохой находенной тропке. Всё здесь — трава, кусты и деревья, уже надевшие разноцветные наряды, — было заморожено студёным утренником. Солнце ещё не добралось сюда — да и где? — рано.

...Пробежав по сосновому бору, вырвав вместе с корнями два белых гриба, Инна выскочила к деревне, которая была раскидана по пологому клину холму, уткнувшемуся в речку. Солнце обогрело почти весь клин, поэтому он поблёскивал растаявшим инеем в его лучах.

Подойдя к дому, Инна услышала знакомый скрип: кто-то брал воду из колодца...

У колодца возился невысокий сутулый парень, одетый в несуразную серую куртку с капюшоном.

— ...Инка, Инка! Инка приехала! — крикнул парень, кинул набранные уже ведра и побежал к девушке. Ведра, выпустив воду, подкатились чуть с насыпи колодца.

— Инка! Инка! Здравствуй, Инка!

Парень, брат Инны, считался на деревне дураком. Худощавый. На каком-то отрешённом чужом лице — не в меру радостные глаза. Довольно раскрытый рот с несколькими жёлтыми зубами. ...А Инна красавица. Чёрнобровая, румяная от ходьбы, чуть разве полноватая, и волосы чёрные, густые, длинные. Если бы скрутить косу (да не брюки с модным свитерком и курточкой), была бы похожа Инна на крестьянку из сказок.

— Инка! Инка! — радостно бегал парень вокруг девушки, прыгал перед ней, осторожно притрагивался...

— Санька, отстань! А?

С парнем сразу что-то сделалось, глаза потускнели, в них блеснули слёзы, и он, громко всхлипывая, понёсся по тропинке под гору, к реке.

— Саня! Сань! Это ведь я так! Э!.. А, ладно, — махнула она рукой.

Мать Инны, Катя, в рабочих халате и косынке, только что подоила корову и разливала молоко, процеживая его через ситечко с накинута марлей.

— Кто приехал! Мы тебя только вечером ждали, на городском. Молочка?

— Давай!

— Так ты на чём?

Катя налила уже бокал для Инны и дальше процеживала молоко в банку.

— С дорожниками, спасибо им большое. А то бы десять часов на вокзале сидела... Я от Широкого поля, через наши сенокосы, через Борок...

— А Сашка тебя встречать собирался. Чуть свет встал, не знай зачем. А где он?

— Да огрызнулась...

— Ну, не могла потерпеть, ведь уж знаешь брата...

— Дааа...

Инна с наслаждением попивала парное молоко и любовалась матерью, которая поставила уже чайник и чёткими резкими движениями нарезала хлеб на доске.

Катя была роста маленького, поэтому, верно, шустрая. В её выползших из-под белой косынки кудряшках путались лучи утреннего солнца, глаза блестели задоринкой, а уголки рта слегка улыбались.

— Шанег ещё нет. Я печку-то затопила... Так сама виновата... мы вечером ждали...

Саньки долго не было. А когда пришёл, взял колун и колол дрова до вечера. Иногда он останавливался, садился на чурку и чинно говорил:

— Что? Пора и чур знать. Давай закурим.

После этого он обтирал руки о штаны, доставал сигарету и закуривал.

Вечером, когда сели пить чай с шаньгами и пирогами, Сашка вдруг встал, сходил на коридор, постучал, погромел там и вернулся, деловито неся шапку с чем-то... Положил на стол.

— Ай, да это ж брусника. И скрывал!.. А мы бы в пирог... Смотри-ка, Инн!

— Да, Санька...

— Нет, уж лучше так съедим. Инн, он ведь для тебя... Да где же насобирали-то, Сань? Неросло... да и обобрано.

А Саня — в клетчатой плотно застёгнутой рубашке и узких, от школьного костюма, брюках, сухонькое тело — пацан пацаном, — вытянул свою длинную шейку, и даже желтоватое лицо, глаза светятся, довольны.

— Туда сбегал?

Саня убрал из ягод листик и кивнул.

—Туда бегал! Инн, к горе.

— А я тебе тоже кое-что привезла, — встала Инна, — пошли!

И уже через минуту Санька прибежал хвастаться перед матерью красками, книжкой-раскраской и альбомом.

Катя, Сашка, Инна — невелика семья Петровых.

Муж Кати, как только стало понятно, что у сына-первенца отклонения в развитии, а врачи не могут помочь, уехал, и никто не знал куда, зато и он не знал, что Катя в то время уже носила второго ребёнка.

Пока в силе была (родителей у Кати давно нет в живых), помогала свекровь. Дальше уже Сашка подрос — повёл все мужицкие дела.

Инна выучилась на «отлично» сначала в своей деревне (до третьего класса), потом в соседнем селе, поступила в институт. Теперь на четвёртом курсе. Подрабатывает, понятное дело.

После чая Инна и Сашка поднялись наверх, в мезонин. Инна всегда по приезду рассказывала Сашке все свои переживания, всю свою жизнь вне дома, то, что её волновало. А Сашка был благодарным слушателем. Он откладывал любое занятие, никогда не перебивал, изредка кивал головой, и глаза, глаза горели радостно, оживлённо, заинтересованно. Ему нравилось слушать. Может быть, даже само присутствие сестры, её голос уже были для него счастьем. Никто больше не говорил с ним так долго. Инна рассказывала:

— ...Так вот, с Сашкой, тёзкой твоим, мы встретились. Лето не виделись, и, понятное дело, старая любовь вспомнилась. Ну, а что сделаешь? А тут Антон... Однажды я иду по Карла Маркса...

Антон стоял на автобусной остановке, совмещённой с киоском, и покуривал, выпуская дым тонкой струйкой.

Было утро. Звуки ещё не смешивались и слышались чётко.

По неширокой двухполосной дороге бежали маленькие легковые машинки, пофыркивали, шли грузовые и грозно рычали своими нутряными голосами. Со всех сторон, вплотную подобравшись к тротуарам, множеством глаз смотрели панельные девятиэтажки.

Подошёл автобус, нужный Антону, и он, выкинув сигарету и пропустив вперёд двух пожилых женщин, легко вскочил на его подножку...

Инна, которая только подходила к остановке, влекомая непонятным чувством, тоже втиснулась в переполненный автобус. Растолкала пассажиров и проползла к заднему боковому окну, где у поручня стоял Антон.

Инна переводила дух.

За окном проскакивали машины, автобусы... уходили назад киоски, магазины с длинными красочными вывесками, повсеместные, куда-то опаздывающие пешеходы.

— Здравствуй! Я — Инна.

— Здравствуй... — повернул свою большую голову с несколько квадратным лицом Антон.

На голове — высокая стоячая кепка. На широких плечах — лёгкая кожаная курточка. Он молчал.

— Я где-то видела тебя.

— Может, в АТП? — оживился Антон.

— Не знаю...

Замолчали.

По проходу пробиралась полная женщина-контролёр, заранее предупредившая, чтобы готовили проездные документы. Наконец протиснулась на заднюю площадку.

— Так, здесь?

— Я заплачу, — дёрнулся Антон, достал из внутреннего кармана бумажник. — На двоих, — протянул он деньги; забрал билеты.

— Инна, ты где выходишь?

— Я?.. Я через остановку.

— А я на этой... — Он развернулся и шагнул к выходу. — Жди — в гости приду. ...Вы выходите?

— А как ты меня найдёшь? — напоследок крикнула Инна.

— Я найду — ты жди. — Антон как будто расшевелился, избавился от своей утренней дрёмы.

На следующей остановке Инна вышла, осмотрелась, где находится, и направилась пешком до института.

В голове пугались мысли.

Через день в шесть часов вечера в общежитии института в Иннину комнату постучали.

— Да-да, — сказала, оторвавшись от книги, сидящая на своей кровати маленькая рыжеволосая первокурсница Ирочка.

— Здравствуйте! — Дверь распахнулась, и в проёме показался Антон — в тех же куртке и кепке, в серых шерстяных брюках, коренастый. В руках он держал букет.

— Ай! Это ко мне, — встрепенулась Инна, вскочив из-за письменного стола.

— А-а-а... — протянула Ирочка.

— Садитесь, пожалуйста, — переставила она стул с места на место, поправила покрывало на своей кровати и вышла, захватив и книгу.

Антон отдал цветы и сел.

Три кровати, расставленные к разным стенкам, письменный стол у окна (за окном пятиэтажка), тройка тумбочек, тройка стульев, бельевой шкаф, отделяющий вместе с ширмочкой небольшой уголок под кухню. На стенах — старые затёртые ковры, полочки с книгами, порядочное (во весь рост смотришь) зеркало с двумя-тремя наклейками. По полу — домотканые деревенские половики.

— А как вас зовут? — ломая пальцы, спросила Инна, которая отложила уже букет и сидела на кровати.

— Уже и на «вы»?.. Антоном.

— Извини. Что будем делать, чай пить?

— Давай гулять пойдём. Ты пока одевайся, а я... где тут курилка у вас? — улыбнулся Антон.

— Пойдём, — надёрнув тапочки, побежала Инна вперёд. — Вон, смотри, — показала она рукой вдоль по коридору, — перед поворотом налево, вторая дверь, там ещё ручки нету.

— ...И вот, Сашка, стали мы с Антоном встречаться, и всё такое. Он меня по фотографии нашёл. У его двоюродной сестры, тоже приезжей, я случайно на фотографии была. Антон эту фотографию видел и вспомнил меня... Так он через сестру и её знакомых узнал, где я живу.

А Сашке мне пришлось дать от ворот поворот. А он — философ. Его так и зовут: Сашка-философ. Короче, назначила я ему свидание в блинной...

Блинная внутри была небольшая, квадратной формы, и считалась придатком ресторана.

Прилавок. Четыре деревянных круглых стола с несколькими тяжёлыми на вид табуретами вокруг каждого. За одним столом сидела пожилая женщина с вертявым пацанчиком на коленях — верно, внуком. За другим — высокий бородач в заношенном плаще.

Инна и Сашка подошли к стеклянному прилавку с предлагаемым ассортиментом. Прочли небольшой список. Выбрали. И Инна присела за столик у огромного окна, за которым суетилась жизнь. Сашка же остался заказывать.

Одна из продавщиц, в белом колпаке и халате, приняла заказ и скрылась за дверью кухни, откуда слышалось шипение и лился приятный запах.

Сашка деловито ждал. Это был высокий брюнет в светлом джинсовом костюме. Волосы его аккуратно причёсаны, прилизаны, длинные баки ровно обстрижены.

— Вот, держи блины, сейчас чай принесу, — подбежал Сашка к столу.

— Вот и чай! С тебя сотня! — пошутил он и присел на табурет.

Инна не отвечала.

— Знаешь, Сашка... — сказала она, наконец, в очередной раз перевалив блин на тарелке.

К их столу подошёл ластиться большой чёрный кот — любимец персонала.

— Знаешь, Сашка, — повторила Инна, — я...

Громко хлопнула входная дверь, и два растрёпанных мальчугана с портфелями, ожесточённо переговариваясь, заспорили, что купить.

— Я, Сашка, другого человека полюбила, так что... между нами всё кончено.

Молчали. Ели блины.

Потом Саша, облокотясь о стол и исподлобья осторожно заглядывая Инне в глаза, заговорил:

— Пусть, Инна, ты меня не любишь. Пусть ты больше не испытываешь чувств. Но я... — он часто говорил длинно, — я, Инна, тебя всё ещё люблю. Ты встречайся, с кем хочешь, но и меня не отвергай, мою любовь. Давай останемся друзьями. Я ни на что не претендую... Но... простого общения мне достаточно...

— Сашка, это же глупо.

— Инна... Ведь ничего не будет страшного, если мы иногда посидим вот так же в блинной, пообщаемся. Ты расскажешь о своей жизни, о деревне. Ведь когда-нибудь и тебя может кто-нибудь... — Александр ещё долго объяснял ей что-то...

— Ладно, — наконец прервала его Инна, оглядываясь кругом. В блинную вливалась кучная толпа школьников, верно, приехавших в город на экскурсию и приведённых перекусить. — Ладно, пошли на улицу.

— Вот такая у меня жизнь, Санька. И теперь не знаю, как быть. Зачем согласилась друзьями остаться? Зачем мне эти проблемы?

— Да.

— Что да?! Да — вот такие проблемы, вот такие дела.

Санька сидел на табуретке, подложив руки под бёдра, сгорбившись и слегка наклонив голову в сторону, — он, верно, был готов слушать хоть вечность. Свет от закопчённого керосинового фонаря (в мезонин электричество не провели), слабо освещающего комнату, отражался в живых Санькиных глазах.

— Ладно, пошли, Санька, спать. Поздно... Ты меня завтра провожать пойдёшь? — скинула Инна наброшенную фуфайку и запотевалась.

— Да.

Утром опять ударил приморозок. На реке, куда сбегал Санька, схватились забереги.

Пока шли до остановки, все, кто бы ни встречался, обязательно спрашивали:

— Что, Инночка, на учёбу?

А Инна улыбалась, с каждым здоровалась и отвечала:

— Да. Надо.

Длинный неповоротливый рейсовый автобус, по заведённому порядку каждую ночь проводящий в соседнем селе, до окон крашенный синим, а дальше — красным, в извечной своей грязи, тяжело развернулся, обдав Саньку и Инну до тошноты неприятным запахом.

Санька затащил в автобус Иннины вещи: рюкзак, сумку, две коробки, перевязанные верёвкой, и увесистый пакет.

Инна всё стояла. Потом легко вбежала в автобус и в открытую дверь крикнула:

— Теперь всё, Санька, — только летом жди!

Автобус медленно пополз, оставляя позади себя сарай, дома, колодцы ...

Инна быстро пробежала от первых сидений к заднему окну и помахала Саньке. Санька не ответил. Он, укутанный в свой смешной балахон, в чёрной шерстяной шапке горшком и вновь обдавший тошнотворной автобусной гарью, плакал.

2

Деревня жила своей обычной жизнью.

Осень стояла с морозгой, с мокрым снегом, идущим наискось, со слякотью.

Зимой деревню завалил снег. Все дома и хозяйские постройки надели белые шапки. Трактора рыли дороги, наваливая высокие сугробы. Часто трещали затажные морозы, и тогда почти из всех труб жилых домов шёл дым столбами, подпиравшими небо.

Весной снег осел. По дороге побежали ручьи. На льду реки постоянно чернели рыболовы.

В конце мая основательно зазеленело. Кругом садили картошку.

Июнь выдался жарким.

Инну не отпускали с работы, и она приехала только в середине июля.

Инна чуть похудела, коротко подстригла волосы.

В дорогу она надела бейсболку, светлую блузу, очень идущую к ней, и чёрные брюки.

Инна легко шла по пыльной грунтовке, неся в одной руке снятые туфли, а в другой — почти пустую дорожную сумку.

Стоял полдень. Солнце палило. Всё кругом поникло и будто тихо ныло — который день не отпускала жара.

Иногда ветер доносил запах свежескошенной травы, иногда — сена. У линии горизонта бегал по кругу маленький тракторок — косил.

Инна побулькивала ногами в ручье. Посидела в тени черёмухи. На горке попыталась собирать маслята, но от переспелости их в эту пору они все были большие и червивые.

По раскалённой деревне бродили только редкие отпускники, которых Инна не знала.

К дому она подходила, уже предвкушая, как отлежится в летней избе. Если в окна зимней комнаты солнце весь день заглядывает, то в летней, удачно расположенной, даже вечером его видно только сквозь густые черёмухи.

— А, Инна! Приехала? А твои на сенокосе, — крикнула через забор соседка — круглолицая бабка, никогда не снимающая, верно, платка и мешковатого платья-сарафана. — Матка-то просила корову днём покормить. Да уж ты теперь сама, дома дак...

Инна глянула на соседку. Та стояла в тенёчке хлева около кучи навоза (часть кучи попадала на солнце, отчего над ней видны были испарения и мухи). Вокруг бабки порхались куры.

— А чего она не на пастьбе?

— Как?! — удивилась бабка. — Она же телиться должна! Что ты?

— Ну, понятно. — Инна не стала дожидаться, что скажет удивлённая соседка ещё, и вошла на веранду.

Веранда тоже раскалена. Но как хорошо чувствовать себя дома!

На небольшой верандочке валялись грабли, стояли запылённые кирзовые сапоги, бежали куда-то лёгкие тапочки. В бревне, выходящем от дома, торчал Санькин ножик. А на незатейливых, большими квадратами переплётках окнах жужжали, летали, ползали слепни, овода и мухи.

В коридоре намного прохладнее. Ах! Скрипнувшие широкие половицы так приятны ногам. Стены все бревенчатые. Справа — стена повети. Прямо — с низенькой дверью — зимней избы. Слева — летней.

В углу небольшой столик. На столике — банки и ведро. Под столиком — также ведро.

Инна вошла в избу, кинула сумку и с ходу обежала русскую печку — заглянула в её рот полукругом. (Инна любила эту битую великаншу). Потом резво крутанулась на одной ноге. Замерла.

Если зимняя изба была переустроена, то летнюю почти не трогали — оклеили только стены. Обои на них уже пожелтели. У стен стоят лавки, стулья, стол, шкаф с посудой. По стенам — навесные шкафики, часы, пара картин, затёртый бессменный коврик с видом озера. Запертая белая дверь в маленькую горницу-спальню.

Пол и потолок насланы из широких вековечных плах, причём потолок всё ещё сохранил свою первую окраску. Какой-то самобытный художник расписал его сказочными розовыми цветами на белом фоне.

Инна подошла к ведру с водой, стоящему под лавкой, черпанула ковшиком, глотнула несколько раз. Вода приятно не нагрелась.

Инна глянула на часы. Уже второй. Решила сначала накормить корову, а уж потом... — купаться (давно хотелось, чтоб кругом кувшинки и лилии с их овальными листьями-лопушками, а под ногами ил и мелкие палочки).

...Инна спустилась в хлев — надо вынуть объеда из яслей. Корова стояла как-то странно: выпучив глаза. «Не узнала», — подумалось. Вдруг... Инна замерла: «...телится».

Инна осторожно обошла корову — первый раз одна при отёле. Вышли уже две передние ножки и мордочка до глаз с высунутым язычком. «Задавился», — Инна так и села на скученный у окна навоз.

...Через секунду вскочила; испугав корову, выбежала из хлева. — «Быстрей, быстрей, надо звать кого-то...» — Уже на улице опомнилась, постояла и бегом обратно. Перед дверью хлева остановилась. Заходила по двору кругами. А в голове одно и то же: «Пускай сама, пускай сама...»

Корова мычала.

Наконец Инна решилась заглянуть. На полу лежал чёрный, весь сырой, с взерошенной по хребту шерстью телёнок! Корова лизала своего детёныша.

Инна принесла сухого сена, подстелила под телёнка, обтёрла его тряпкой (как делала Катя) и оставила маму с малышом.

Инна хотела стянуть замасленную блузу, но потом передумала, накинула какой-то пиджачок, нашла своё первое попавшееся в шкафу платье и побежала по тропке к реке.

Обильный пот, прошибший Инну в хлеву, при быстром беге под гору захлодил тело, а мокрая блуза прилипла к спине, словно вторая кожа.

Как приятна была тихая речка в лопушнике! Как свежа её вода! Всё смоем она: и пот, и падение в навоз, и шок, и усталость. Но Инна не взяла купальник, поэтому уже через пару минут нехотя вылезла из реки, надела платье и побулькала, пополоскала, сколько могла, брюки и блузу. А с другого берега наблюдал за ней Женька, поворачавший сено и ждущий, пока оно подсохнет и придут работники на греблю.

Придя домой, Инна надела материны косынку и халат. Потом наладила ведёрце тёплой воды и с этим ведёрцем, прихватив тряпку, спустилась с коридора вниз по лесенке под поветь. Вошла в хлев.

Корова, не обращая внимания на Инну, всё так же лизала телёночка, иногда переворачивая его тычком морды с бока на бок.

Телёнок пытался встать.

Инна помыла корове соски и потащила слабосильного телёнка к вымени (она больше интуитивно, чем по рассказам матери, знала, что надо делать).

Корова тихонько мычала: она боялась за дитя и не знала, что с ним происходит.

— Не мычи, не мычи, — иногда деловито говорила ей Инна, и корова, как будто понимая, успокаивалась.

Телёнок сосал только пальцы и никак не мог захватить слишком толстых сосков. Инна сдоила с одного соска прямо на пол, и тыкнутый мордой телёнок схватил этот сосок, жадно зачмокал.

Наелся.

И вот, только недавно беспомощный... — телёнок уже свободно запохаживал, делая жалкие попытки подпрыгнуть на месте, тычась Инне в ладони.

— Ты телушечка у нас, ты телушечка, — толкала его Инна в лоб, — ты телушечка. Я-то ведь не мама — вон мама!

Корова, сдерживаемая цепью, мычала, звала.

3

В восьмом часу, медленно обогнув дом дорогой, а потом тропкой и показываясь поочерёдно в каждом окне, прошли Катя и Санька.

Первой в избу вошла Катя, она с ходу что-то заприметила в Инне и, не поздоровавшись, спросила:

— Отелилась, что ли?

— Да!..

— Ну, молодец, хорошо... Я, Инн, так вымоталась на этой жаре. — Она присела на одну из лавок. — Петро не пришёл — сердце схватило. Любка беременная. А тётку Ольгу не погонишь за три километра.

— Так вы вдвоём?

— Ах-а... — Катя помолчала, потом, как бы опомнившись, спросила: — Послед вышел?

— Нет. Вот, должен.

— Доишь хоть?

— В шесть...

— Инка! — В распахнутых дверях стоял улыбающийся Санька.

Катя глянула на сына.

— Пстой, Санька. В шесть... Теперь в десять ещё подоишь... А я спать — на ногах еле стою... — хотя, посмотрев на Катю, этого бы никто не сказал.

Но... Она ушла в горенку. Слышно было, как заскрипели пружины кровати. И если бы через пару минут приоткрыть дверь и заглянуть в спальню, можно было увидеть уже крепко спящую Катю. Она нисколько не разделась, не стянула даже светленькой своей косынки с головы. Лежала поверх покрывала, раскидав руки и ноги и посапывая приоткрытым ртом.

...Санька, ещё долго стоявший в дверях, наконец, отнёс вёдра (он ходил за водой) под лавку и подошёл к сестре.

— Инка, — провёл он рукой по её коротеньким волосам, высунувшимся из-под косынки.

Сейчас Инна, в косынке, в залежалом широком платье, вся светилась радостью так же, как и глаза Саньки.

— Давай чай пить, Санька. Я, ещё как вы с дороги домой повернули, чайник поставила. ...А мать стрижку не заметила.

Чайник шипел и через пару минут уже зафыркал слышнее, забулькал, заприподнимал крышку.

С улицы доносились в избу частые гулкие звуки ударов по железу, да ещё иногда были слышны крики купающихся ребят.

— А у нас, Санька, Звёздочка телушку принесла, — сказала Инна, поставив чашки с чаем на стол. — Я доить пойду. Пойдёшь посмотреть?

Санька кивнул. Он был готов смотреть, слушать. Его живые, заинтересованные глаза следили за движениями Инны. Попробуй потуши такие глаза.

Утром, лучше сказать, ночью Катя сбегала в колхозную контору, где дорабатывала до пенсии уборщицей. Сделала что надо по дому. Потом договорилась со всегда выручающей соседкой, чтобы та посмотрела днём за скотиной.

А около шести Петровы с косами на плечах уже стояли, прижавшись к забору, и пропускали стадо коров. ...В этом утреннем воздухе солнце приятно грело спины косарей.

Коровы шли довольно кучно, создавая далеко разбегающийся шум.

Иногда старая, с внушительною «рогатиной» пыталась боднуть слишком наглую молодуху. Та, пугая соседок, выскакивала из стада, делала несколько отчаянных прыжков и успокаивалась.

За коровами шли пастух и подпасок. Пастух, высокий усатый парень в полинялом камуфляже и кирзачах, обычно быстрый на ногу, сегодня передвигался тяжело, был заспанный. Подпасок же, плотного телосложения пацан в бейсболке, футболке, больших сапогах и тёплых коричневых спортивных, вовсю бегал за отстающими коровами и, не переставая, кричал на них, особенно повторяя одно: «Ну, ну! Пешеходы — прибавьте ходу!»

— Скоро и мы свою выпустим, — сказала Катя после того, как дорога освободилась и косильщики вновь пошли. — А то кормить... Да и ей на свежий воздух хочется.

Инна только кивнула.

Небо было ясное, солнце яркое — всё предвещало жару.

Лучи солнца отражались от желтоватого избитого копытами песка грунтовки, хотя он был какой-то чуть-чуть увлажнённый росой.

Яркие места дороги перемежались с вытянутыми тенями домов, деревьев.

Петровы шли к реке, в небольшой ложок, где не скосить трактором — и надо вручную. Впереди шли с косами на плечах Катя и Инна, а за ними — Санька. Кроме косы, у него были ещё большой зелёный рюкзак за спиной да в руках чумазый котелок-кастрюля. Санька часто останавливался, ставил котелок на землю и освободившейся рукой поправлял что-то в рюкзаке, а потом вприпрыжку догонял вперёд ушедших. Котелок (в него, верно, были брошены железные кружки), ударяясь о ногу, бренчал.

Ложок — небольшой овраг с крутыми склонами, местами заросшими ивняком, ольхой и молодыми берёзками, — спускался к неширокой тихо-

водной речке, усеянной кувшинками. По дну оврага проходило едва улавливаемое взглядом кочковатое русло ручейка, шумевшего только весной.

Первым, довольный от того, закосился Санька. Он прошёлся от русла в гору, но не добрался до самого верха, развернулся и, обкосив попавшийся на пути ивовый куст, спустился обратно.

Женщины уже тоже приступили.

Катя косила широко и как-то вдруг: замахнётся, на миг задержится, приотавливаясь, — и наляжет. Поэтому Инна, не умеющая косить по хорошему и только чапавшая, бравшая узкий прокос и широкий захват, вскоре догнала и обогнала мать.

Санька, как и Катя, косил небыстро, но, в отличие от неё, задерживался на доли секунды уже после движения, после того, как коса, пробежав полукруг, врезалась в вал. Санька как бы наслаждался звуком, чувствовал его и по нему определял — хорошо ли косит. Но и когда возвращался, раскидывая вал, поглядывал, не осталось ли где травинок. И если не находил, то радостно смотрел в глаза матери или сестры, надеясь на похвалу.

Скосили уже широкий кус. Сидели, отдыхали, отмахиваясь от комаров и слепней, к которым... привыкли.

Выкошенная часть ложка сразу преобразилась. Она была как бы прибрана, ухожена, против дикого многоотравия вокруг, стоящего стеной. Хотя оно красиво!.. Но первое было красиво именно человеческою работой.

Скошенная трава, развяленная, размягчённая, лежала ровно. Несколько ивовых кустиков, откидывающих тени, выделялись теперь особенно чётко. Они, умело обкошенные, не привыкшие ещё к своему новому положению, красовались на солнце.

— Не наробили — а курят!

Под гору спускался, вернее будет сказать, катился маленький кругленький старичок — Петро.

— Ты чего пришёл? — спросила, обернувшись к нему, Катя. — Я ж сказала — скосим сами. Грести пособишь.

Петро между тем спустился.

— Здорово живём! А я, Катя, вчерась греблю пропустил — сегодня надо отработывать.

— Ой, какое ещё отработывать, а? — ответила Катя, махнув рукой. — Ладно, пойдём тогда косить, раз отработывать.

Все поднялись и поочерёдно заступили.

Петро косил широко — но бывшая сила ушла — и часто не мог продёрнуть. Тогда он быстро, будто боясь, что это заметят, стяпывал оставленное, но всё равно пропускал.

Петро подолгу лопатил косу брусом. Это получалось у него ловко, быстро и с чудной музыкой. Санька заслушивался этой музыкой, пробовал сам так лопатить, но не получалось.

После того как солнце встало по ложку, побросали косы, заложив пятки, чтоб не рассохлись, травой.

Петро «закатался», зашустрил, наломал ольховых дров, содрал скалину. Катя с Инной, сидя на карточках, чистили картошку. Санька пошёл за водой и, не вытерпев, уже купался...

Огонь разошёлся быстро и заприплясывал на дровинах. Его, чтоб не жечь сенокоса, развели на старом костровище, где рядом с двумя изгнив-

шими виланами воткнули свежий. И теперь возле костра грелись три суковатых брата, разных по возрасту, силе и росту.

Пока в чёрной охватываемой огнём кастрюле варился суп, сначала пошли купаться женщины. Они купались: Инна — в ярком купальнике, а Катя — не стесняясь своих лифчика и трусов. После женщин решил «побулькаться» Петро. Но разделся только до пояса, показав белизну тела и выпиравший живот. Петро долго пробовал воду то рукой, то плеская на грудь. Потом поплескал на грудь побольше, потёр бока, шею, умылся и, одевшись, вернулся.

— Что-то я воды стал бояться, — объяснил он.

Ещё раз искупался и Санька, быстро раздевшийся и долго не вылезавший из реки.

Костёр уже тлел, и по бокам костровища лежали две поседевшие головёшки. Но из-за палящего солнца казалось, что от этих головёшек и оставшихся углей всё ещё идёт сильный жар.

На белом полотенце лежал чёрный хлеб, грудилось пять или шесть скрюченных, рановато снятых огурцов, переплетался вырванный с корнем лук.

Кастрюля, почти пустая, стояла у костра и слегка парила. Слабый дымок сливался с этим парком и приятно касался ноздрей.

Расположились, сомкнувшись с костром в круг. Ели по двое: Катя и Инна, Петро и Санька.

Катя в белой рубаше, белой с цветочками косынке и синих облегающих ноги спортивных. Она сидела, расположившись правым боком к миске. Инна же ела, лёжа на животе. В истёртых джинсах, тёмной футболке с рисунком (белую рубашку скинула) и похожей на материну косынке. Санька, подстелив под себя пиджак, тоже лежал на животе. Его худощавое тело, казалось, ещё вытянулось. Клетчатая, глухо застёгнутая рубаша, узкие брюки. Санька покачивал согнутыми в коленях босыми (впрочем, как и у всех сейчас) ногами. Петро, опёршись на руку, полулежал на боку. Белая в красную крапинку рубаша подпоясана, на коротких ногах широкие штаны, когда-то ношенные захорошо. На голове бессменная большая кожаная кепка.

Поели.

На угли кинули сухую скалину, положили тоненьких, хрупких веток, подули — и огонь снова разошёлся.

Инна вымыла котелок и, наполнив водой, повесила над костром. Редкие капли, ползущие по чумазым стенкам, падали. Огонь шипел в ответ и быстро подсушивал влажное дно.

Пока кипятилась вода, Петро, как всегда весело и сочно, рассказал, что сегодня поутру вечный калымщик Витька сломал о соседскую помойку косу своего трактора.

Потом Петро про сына вспомнил.

(Сын Никола у Петро — непробудный пьяница. Он похож на отца: такого же роста, такое же вытянутое лицо. Только угрюм и молчалив. И лишь когда выпьет Николаша, становится он весёлым, живым и ещё лучше отца рассказывает байки).

К вечеру ложок докосили, уткнувшись в самый берег, так что теперь рыбакам, натоптавшим уже до этого тропку, можно было по утренней зорьке, по росе подобраться к самой речке, не намочив штанов.

...А совсем поздно, можно сказать, ночью, Инна и Санька забрались на поветь, на сеновал. Одна — рассказывать про свою жизнь в городе, другой — слушать.

На повети уже лежало севоегоднее сено — Катя и Санька стаскали его на себе на верёвках с маленькой своей усадьбы. Сено ароматно пахло, будя воображение. А шевельнись — проседало, шуршало пересохшим листом, тихонько шептало ломающимися разнотравными стебельками.

С улицы доносился неясный разговор мужиков. На реке визжали, булькались ребята, которым прошедшим днём было не до купания. В отдалении снова слышались удары по железу.

— Так вот, Санька... Санька, ты не спишь?

Санька недовольно заворочался, зашуршал сеном — не спит.

— Так вот, однажды мы к Антону на дачу ездили, ну, не то, что дача... — избушка да огород... Так вот, ехать на автобусе долго, и Антон, пока мы ехали, мне сказку рассказывал. Он красиво говорит. Слушай:

...Зимой неширокую реку сковал лёд.

Но пришла весна — лопнул ледовый панцирь. Освободились неужимые воды. И понеслись внезапно разлучённые льдины.

Плывут льдины, сшибаются, крошатся, тают, выбрасывает их иногда на берег.

Среди всех этих льдин плывут две, которые особенно крепко были соединены меж собой. Но не даёт судьба случая им сойтись, стать целым. А уж много свежих, более крепких льдин появилось — река вскрывается всё ниже и ниже по течению. Вливаются всё новые и новые притоки — шире стала река. И уж совсем трудно сойтись тем двум льдинам.

...Вот и люди так же — плывут по жизни, не знают, где их любовь... Но бывает шанс, случай, когда сойдутся, когда можно стать единым целым. А не использовал шанс — будь свободен, крошись дальше.

И можно всю жизнь, оттолкнув один раз, так и не найти любовь. Или ещё страшнее: плывёшь, кажется, бок о бок, но не теми краями сошлись, не родными.

— ...А Антон мне потом сказал, что это так... даже не сказка. Это бабушка его выдумала: говорит, что вся жизнь у неё так прошла. ...А мне понравилось. Санька, ты не спишь?

Санька, измотанный работой, спал.

4

В неясном свете повети вверху видны были толстые балки перекрытия крыши, настланные на них тесины; по сторонам серели бревенчатые стены.

Инна проснулась от утреннего приятного холодка, который бодрит, расшевеливает желание жить.

Инна встала, накинула на плечи фуфайку и распахнула двери повети, за которыми — деревня-красавица, расставившаяся по отлогому склону. На её зданиях и заборах розовели солнечные лучи. Сразу за последними домами, в низине, — крутой изгиб речки, вдоль по правому берегу которой

и дальше в сторону — по холму — стройненький сосняк. За его стволами затаилось красное солнце. Какой простор!

— Инн, не спишь, что ли? — Катя неожиданно вывернула из-за дома. Она несла перехваченную верёвкой мокрую от росы траву.

Отсюда, с повети, Катя казалась совсем маленькой. Она, осторожно обойдя немногочисленные подзасохшие грядки лука и моркови, прошла между ними и длинной полосой картошки, спускающейся под гору. Выбрав место, сбросила свою ношу и растрясла её.

— Пускай подвялится! Потом корове отдадим, — объяснила Катя. — А ты, Инн, ложись, рано ещё. Сегодня грести пойдём у тётки Ольги усадьбу... — она перевела дух. — А я с работы... Или, если желание есть, погода, управляйся, а то у меня что-то сердце заприхватывало.

Инна глянула вниз на мать, на огород-усадьбу, весь, вместе с картошкой и выкошенной пожёнкой, обнесённый жердяным забором на столбах, на чёрную, схожую с избой Яги картофельную яму и крикнула:

— Иди отдыхай! Управлю всё.

Когда спустились к покосившемуся набок дому Ольги, который предполагался почти в низине и только слегка захватывал склон, увидели, что хозяйка уже ворочает сено.

— Что долго? — крикнула Ольга.

— Здравствуй, тётка Ольга! — поздоровалась за всех Катя.

— Здорово, коли не шутишь, — и продолжила ворочать.

Сено лежало тяжёлыми пластами вокруг колодца с пологой крышей на столбах, вокруг большого, тёмного от времени, но со свежеекрашенными белыми оконными наличниками и рамами дома, вокруг грядок, вокруг двух изогнутых черёмух.

Петровы (старик Петро не пришёл — ночью у него схватило сердце) принялись поворачивать сено, растряхивать его.

Хозяйка усадьбы Ольга, крупная сутулая бабка и на вид крепкая, монотонно орудовала граблями и, похоже, совсем не обращала внимания на подошедших.

Одета она была в самошитый, а может быть, и самотканый серый сарафан с узорами по подолу. На плечах, несмотря на жару, — плотно застёгнутая шерстяная кофта. На голове — платок с цветами, завязанный под подбородком узлом.

Кисть левой руки у Ольги была отрезана в армии во время войны. Поэтому Ольга подсунула ручку грабель под левую мышку, а правой рукой орудовала, и иногда высовывался из левого рукава округлый гладкий обрубок...

Правая рука у Ольги очень сильная, поэтому работала она не хуже здоровых. Бывало, когда приедут к ней внуки, встанет у колодца и только давай крутит вороток. Внуки цепь придерживают, чтобы ведро, когда поднимается, о стенки сруба не билось. Воду переливают и таскают... Ноги Ольга передвигала с большими усилиями, делая тяжёлые трудовые шажочки и показывая из-под края подола носки валенок с галошами.

Уже поворачали.

Скошенная площадь была довольно большой, так как после дома с ухоженным маленьким огородцем «для внуков» и жалкой грядкой картошки

узкая до этого полоса сена (у соседей ещё не было скошено) расширялась и шла прямо в самую сырь, в кочковатые пересохшие лужи.

Высоко стоящее солнце палило, и можно было углядеть, как поднимается от сена влага.

В Ольгин дом, пропахший лекарствами и чем-то плесневелым, не пошли. Сели в тени черёмух на превратившуюся в хлам, заросшую травой шитую лодку-плоскодонку.

Катя сбегала, подоила корову и принесла с собой горячий суп из русской печи. Ольга наботала клоквенного морса.

Поели и ждали, сушили сено.

Но сразу после обеда пришла гроза.

Сначала на далёком горизонте — там, где терялась в ивовых и ольховых кустах река, появился тёмный ком с белыми прожилками. Косой дождевой хвост его уходил за сосняк. То и дело сверкали тоненькие молнии. Грома не было слышно.

Ветер в деревне усилился. Небо темнело на глазах. Ком рос, расплзался пытающимися обогнать друг друга тучами. И уже жалобно закричали сбиваемые с полёта чайки.

Ольга стояла среди повороченного сена, которое дрожало, кувыркалось иной раз на ветру. Дрожали и губы Ольги: они шептали молитвы, но над головой гремел гром, молнии сверкали совсем рядом... зашумел дождь.

Инна и Санька забрались на чердак Ольгиного дома. Здесь было всё пыльно и старо. Небольшое чердачное окошко (такое же, как в избе) слабо наполняло лишь часть помещения перед собой сумрачным грозовым светом. Поэтому чердак достаточно освещался только когда била молния.

Две друг за другом стоящие трубы с осыпавшимся местами кирпичом, ломаные корзины, берестяной короб, такой же лапоть, вёсла, лопаты, жернова мelenки... И везде пыль и песок, насыпанный на потолочное перекрытие для тепла.

По крыше хлестал дождь, прокатывался гром. Чердак наполнился свежим увлажнённым воздухом.

Инна и Санька сидели каждый на своём жёрнове, и Инна рассказывала:

— ...Я один раз прихожу к Философу, а он говорит, что у него мать замуж выходит. Представляешь?.. Иду я к нему, значит...

Стоял декабрь.

Александр жил в панельной громаде-девятиэтажке с несколькими подъездами и множеством квартир. В одну из них предстояло подняться Инне. Она подошла к нужному подъезду...

— Инна!

С детской площадки её окликнул Александр. Он сидел на маленькой лавочке в своей чёрной шубе с высоким воротником и без шапки. А вокруг никого.

Зажатая с четырёх сторон многоэтажками, детская площадка, с обычными лесенками, колёсами и горками вся засыпана свежесвыпавшим снегом, и только кое-где пройдены жидкие тропинки.

— Садись, — предложил Александр подошедшей Инне и смахнул снег с лавочки рядом с собой.

Инна не ответила. Она неловко переступила с места на место, хрустнув снегом. (Инна, в длинном зелёном пальто и чёрном берете, ощутила себя сейчас особенно какой-то нелепой.)

Александр взглянул на неё, крутанул головой, зарываясь в воротник, шмыгнул раскрасневшимся носом.

— Пошли тогда погуляем.

И они пошли на далёкий шум центральных улиц.

Несколько минут шли молча. Потом Александр сказал:

— Мать у меня замуж выходит.

— Как? — спросила Инна. — И ты против?

Они выходили уже на довольно оживлённую улицу и маленькой каплей вливались в общее движение.

— Нет, я не против, просто неожиданно... Мать сначала не хотела выходить, мне сказала, что не будет, потому что какое замужество на пенсии. Сказала, что главное — мне проблем создавать не хочет. Но, понимаешь, нельзя своим волевым решением изменять судьбе. Судьбу надо только найти. ...Другое дело, если человек тебя не любит, но они любят друг друга и осознают это; а делать себя жертвой ради чего-то... — на всю жизнь сделаться несчастным, мучиться и близких мучить. Нельзя игнорировать любовь, хоть чью. Вообще, надо всегда чутко ловить знаки судьбы.

— И чего? — глупо спросила Инна в образовавшейся паузе.

— Ничего. Объяснил ей всё, уговорил мать выходить...

— А сам не доволен?

— Хэ! — метнул он резкий взгляд на Инну. — Нет, просто новый человек вливается... Пойдём к реке.

Они находились недалеко от реки и быстро дошли до неё.

Река была широкой. На том берегу стояли такие же здания, что и на этом. Как и детскую площадку, всё ледяное пространство реки покрывал ничем не тронутый свежевыпавший снег. Правда, кое-где угадывались застарелые следы и лунки. Недалеко от бетонного берега набережной сидел одинокий рыбак.

...Инна досказала, задумалась... спросила Саньку:

— Я его не понимаю. А ты понимаешь?

— Да, — ответил Санька.

— Да? Что да? ...Ну, молодец, молодец, — Инна, смеясь, подбежала к маленькому оконцу — гроза уже ушла, и сияло яркое солнце. Всё кругом — и сено, и колодец, и черёмухи, и устремлённый в небо стожар с наложенными вокруг него зелёными ивовыми ветками, — сверкало дождевыми каплями.

5

Сено ставили долго и тяжело.

За время сенокоса все — и Санька, и Катя, и Инна — сильно загорели и похудели. Особенно похудел Санька. «Одни уши остались», — говорила Катя.

Корову уже выпускали. Сначала она рвалась домой, перепрыгивала через изгородь пастбища и прибежала... а теперь привыкла.

Маленькая телушечка тоже привыкла оставаться одна. Но когда приходила уставшая, пропотевшая на жаре корова, телушечка носилась в своём стойле кругами — радовалась.

Время шло.

Однажды вечером Петровы всей семьёй сидели на лавочке возле дома, ели горох, который принёс Петро.

Солнце пряталось за соседскую крышу, и лавочка находилась в тени. А в тени хорошо.

Задувал лёгкий ветерок и отгонял появляющихся комаров.

Из коридора доносился запах черничного варенья, недавно сваренного и оставленного остывать.

Катя была в своих извечных на время сенокоса спортивных, светлой рубашке и косынке, из-под которой выползли кудряшки. Инна, наоборот, оделась на выход: чёрные отутюженные брюки, молочно-белая безрукавая блуза... Санька — тот в плотно застёгнутой клетчатой рубашке, в Инниной бейсболке и разорванных на коленях штанах. Все босиком.

Петровы поочерёдно брали тугие зелёные стручки из пакета, лежащего на специально принесённой оставшейся с осени суковатой чурке. Кожуру кидали в коровье ведро, по-хозяйски поставленное Санькой.

— Мама, я на этой неделе уезжаю, — неожиданно легко сказала Инна вымученные слова.

Катю придавили они.

— Что?

— ...Я уже давно решила, корову утром доила — и решила, ещё в тот день у тётки Ольги ворочали... — она прислонилась спиной к дому. — Помнишь, гроза ещё была после? ...Так вот, в то утро и решила, что сразу после сенокоса... Да и как говорят: «Чтоб корнями не прирасти».

— Долго же ещё... Говорила, месяц, — просила Катя.

— Месяц! У меня же работа в городе.

При словах «работа в городе» Катя встрепенулась.

— Ну что ж — езжай.

Инна хмыкнула. Санька встал и ушёл.

Так было решено об отъезде Инны.

* * *

Конец лета и начало осени Санька пропадал в лесу, таскал ягоды и грибы. Он приходил каждый раз усталый от тяжёлой ноши, потный, облизывал высохшие губы. Его тёмная чёлка, выползшая из-под бейсболки, подаренной сестрой, липла ко лбу.

Инна написала, что осенью не приедет.

Хорошая солнечная погода вдруг оборвалась. Пошли дожди. Задул ветер.

Все в деревне копали картошку в рукавицах и перчатках. А в небе жалобно кричали гуси, сносимые ветром.

Зима пришла ранняя, засыпавшая снегом все недоделки, всю грязь.

Сразу после того, как установилась подходящая погода, Петровы договорились насчёт трактора и стаскали все заготовленные копны сена к себе на огород. Поэтому на огороде стояло теперь несколько сутулых кособоких богатырей.

В январе умерла однорукая старуха Ольга. Из-за метели её хоронили кое-как. Из детей приехал только средний «несерьёзный» сын (два других были далеко).

Грузовик с телом Ольги часто буксовал и с трудом пробирався по наскоро прочищенной бульдозером дороге на кладбище.

До растолконной перед кладбищем площадки с вывернутыми кое-где пластами земли дошло только несколько человек.

Опускали и зарывали весёлые раскрасневшиеся мужики. Чуть не уронили.

Щедрый сын устроил богатые затянувшиеся поминки.

Почти всю зиму стояли оттепели, и сосульки, во множестве свисавшие с крыш, плакали.

Весной же крыши «заревели» по-настоящему, и с них согнало снег ещё в начале апреля. А к маю снега и на полях почти не осталось.

Прилетели утки. Они в своих красочных нарядах плавали по лужам и по реке, которая взыграла и разлилась своими мутными водами. Разлилась широко, так что по низине подобралась почти к самому Ольгиному дому с заколоченными окнами...

Инна, очень уставшая, подходила к своей деревне. Она шла давно.

Голая весенняя деревня поднималась по отлогому расширяющемуся холму, который узкой своей частью опирался на реку.

Инне — на этот холм. С незатейливыми домами и огородами. С редкими, сейчас будто мёртвыми безлиственными деревьями. С кучами навоза, растасканными по картофельным усадьбам. С холодным снегом, спрятавшимся в яме у подножья.

Инна повернулась к реке. Река шумела, спрямив поворот и переливаясь по затопленному берегу, как по перекаату.

Кусты, оказавшиеся в воде, мелко дрожали; некоторые из них, отяжелев от принесённой течением прошлогодней травы, совсем согнулись.

Изредка по реке проплывали запоздавшие льдины, которые, столкнувшись с кустами, не смогли проскочить напрямик, и их таскало на повороте по кругу.

Инна собралась с силами и пошла. Она сегодня, так как не ходил рейсовый автобус, оставила вещи у знакомых и где на попутках, где пешком добиралась по бездорожью от самой станции.

Инна шла к матери.

Добравшись до дома, Инна достала воды из колодца и напилась.

— Инка! — выскочил из дома довольный брат и тут же заскочил обратно. А через минуту вернулся уже с матерью.

Катя стояла на крыльце в своих рабочих халате и косынке и с грустинкой смотрела на дочь, которая от усталости присела на сруб колодца, поставив ведро рядом с собой. А Санька бегал и кричал что-то.

Инна проспала до обеда следующего дня. А проснувшись, вышла на улицу и долго сидела на лавочке возле дома, охватив подбородок ладонями и поставив локти на колени.

Когда Санька оторвался, наконец, от своих рисунков, понятных только ему, и вышел из дома за водой, Инна весело сказала брату:

— Пошли, Санька, погуляем!

Брат заулыбался, и они пошли.

Спустились к реке, которая поубавила воды и чуть отступила.

На берегу лежала широкая шитая лодка. Она была перевёрнута и заложена на цепь с замком за черёмуху около Ольгиного дома.

Инна и Санька присели на лодку. От неё пахло нагретым на солнце гудроном. В небе то и дело проносились утки, кричали чайки. Под ногами чувствовалась холодная сырость.

Долго сидели и смотрели на речку, а потом Инна сказала:

— Знаешь. Знаешь... — у неё набежали слёзы, — а Антон женат...

...Стояли чудные весенние дни, казавшиеся особенно чудными от того, что совсем недавно всё было во власти неожиданно отступившей зимы.

Каждый раз, возвращаясь с занятий или работы, Инна удивлялась тому, как быстро уменьшается куча грязного снега возле общежития.

Инна выскочила из общежития в новом коричневом костюме. Волосы её, подросшие, распущенные сейчас, легко рассыпались при повороте головы. На плече у Инны висела маленькая чёрная сумочка, и её металлическая пряжка отсвечивала на солнце и ударила этим отсветом в глаза.

На перекрёстке светофор вовремя зажгёт зелёный свет, так что Инна, не задерживаясь, перешла на другую сторону дороги. Там ждал её Антон. Он спрятался в тени здания, так как оделся не по погоде: в кожаную куртку, высокую кепку-папаху и серые шерстяные брюки.

Антон поцеловал Инну, и они пошли дальше по улице.

Какие-то старинные кирпичные дома с ложными арками прилегали здесь вплотную к тротуару, и почему-то в их тенях воздух был особенно холодным и сырым. Но в промежутках между домами парочка снова и снова попадала на солнце. И Инна вдвойне радовалась его тёплым лучам.

Когда пошли девятиэтажки, Инна и Антон сели в автобус.

Автобус был почти пуст, и Инна расположилась на заднем сиденье, развёрнутом против хода. А Антон встал рядом, оперся руками о поручень и не отводил глаз от Инны. Инна чувствовала, что ею любуются, и поэтому смотрела в окно. А за окном проскакивали встречные машины, проплывали магазины, киоски... Многочисленные люди, идущие по тротуару, были все довольными — радовались хорошей погоде, позволившей им скинуть пальто и куртки. Среди пешеходов часто встречались парочки...

— Антон, — повернулась Инна от окна, — я в этом году заканчиваю. Мне работу предлагают... Как дальше будем?

— Чего дальше? — не понял Антон.

— Нуу?! — она подождала, но Антон молчал. — Когда поженимся?

Квадратное лицо Антона обмякло, расплзлось. Он долго вытаскивал из себя слова, кривя толстые губы. Потом ответил:

— ...Я давно хотел тебе сказать... У нас ничего не получится, Инна... Я женат... Я давно хотел сказать...

Автобус резко тормознул на перекрёстке.

Инна плакала и смотрела в окно. За окном по параллельной полосе, выпуская из глушителя белый дымок, подбежала «легковушка» и приткнулась к почти таким же, уже стоящим. Потом она и автобус тронулись... Были ещё перекрёстки, остановки...

А Антон всё говорил и говорил...

Когда Инна, наконец, смогла повернуться от окна, она увидела, что Антона нет, а автобус полон пассажиров. И многие из них с сочувствием смотрят на неё.

На следующей остановке Инна вышла.

Инна прожила ещё несколько дней в городе, а потом уехала.

— Вот так вот, Санька, — жизнь, вот так вот, — Инна смотрела своими раскрасневшимися глазами в Санькины, тёплые, родные.

А сам Санька уже давно стоял, он держал сестру за руку и, верно, куда-то звал.

— Ещё погулять хочешь? — спросила Инна. — Пойдём-пойдём — погуляем, — и поднялась с лодки.

Они шли сначала полем, потом пересекли небольшую заболоченную низину с ничуть не растаявшим льдом между кочек. Вскоре вышли на бор.

Местами здесь ещё лежал довольно глубокий засыпанный вытаявшими теперь иголками снег. А вокруг стволов деревьев и на бугорках его вовсе не было. Так что, выбирая дорогу, пройти можно.

Санька торопился, часто зачем-то шёл напрямик, падал в снег, но тут же, улыбаясь, вскакивал.

Инна, особенно после того, как вошли в оживающий лес, наполненный... нет, даже не запахами, а только предчувствием запахов, беспрекордно следовала за братом.

...И вот вышли на крутой песочно-глиняный обрыв. Снега по краю обрыва (довольно широко) не было. Его выжгло солнце, не встречающее лесной преграды.

Обрыв шёл неровным полукругом, и слева виднелась часть его стены и выдвинутый мыс с обречёнными деревьями. Внизу, среди завалов, уже лежало несколько живых, с зелёной ещё хвоей сосен, верно, совсем недавно скатившихся с кручи. Вниз по обрыву, прорезав себе русло, бежал небольшой ручеёк талой воды. Он пробирался к реке, которая, неслышная отсюда, едва проглядывалась сквозь прибрежные кусты и деревья. А в дали прозрачного воздуха, за голубым, кажущимся совсем низким лесом, угадывалась соседняя деревня на холме.

Инна и Санька сели на поваленное наискось к обрыву дерево, порядочно высунувшее свою вершину в пустоту и, верно, чудом не упавшее.

— Дааа, Санька, — растянула Инна фразу, — привёл!

— Санька, ведь и правда, летать хочется, — Инна вытянула свои стройные ноги в чёрных резиновых сапогах почти по колено, закуталась в материну робу, в которой та ходила по весне. — Хорошо, что куртку взяла, а то дует.

Санька молчал. Он глупо улыбался чему-то. Потом опёрся спиной о ветки сосны, на которой они сидели, и деловито закурил.

— Нет в самом деле хорошо, приятно у этой пропасти, видно далеко, — снова заговорила Инна. — Спасибо, что привёл. ...А Сашка-Философ тоже из института собирается уходить. Он меня на год младше... Говорит, что если учиться стало неинтересно, то зачем? К нему племянница маленькая приезжала. Он чего-то занимался с ней. — Голос Инны на этом просторе звучал ясно, свежо. — В общем, ещё не решил куда, но на педагога...

Молодая травка в первую очередь сочно зазеленела между деревенскими строениями да чернеющими грядками и картофельными полями, потому как почти все домашние усадьбы были выкошены вручную под самый корешок сначала травой, а потом отавой. И редко где серело старотравье.

Теперь деревня, поднимающаяся по отлогому холму, стояла на зелёном ковре.

Вскоре зазеленели и пастбища, и сенокосные поля. По их межам безжизненные до того деревья выпустили из набухших почек вербушки, серёжки, листья. И уж нельзя было, как прежде, далеко заглянуть в лес.

Бело зацвели черёмухи, особенно украсившие деревню. Они дарили цветочный запах прохожим и как будто специально для того вытягивали из-за заборов на дорогу свои ветви.

Наконец выпустили коров. Коровы шли вразброд, и то одна, то другая, остановившись, мычали во всю глотку. А иногда словно что-то дёргало которую, и она, несмотря на свою тяжеловесность, вылягивала несколько прыжков, как игривый телёнок.

Но через несколько дней коровы успокоились. Петровы вместе со старой выпускали маленькую телушку Розеньку. И пастух ворчал, что «Иннина коровка целыми днями домой рвётся».

Деревенские же давно выбирали жениха для Инны.



ЗОЛОТО СЛОВ

Вторая книга Татьяны Башкировой стала поистине драгоценным итогом творчества замечательной коломенской поэтессы. На протяжении десятилетий развивался её искренний и человеческий талант. Немногие в Коломне могут с такой теплотой воспеть очарование Старого города, неброскую, но такую дорогую прелесть нашего Поочья и Щурова!

Листаешь только что изданную книжку, и вдруг оказываешься в заснеженной Коломне середины прошлого века. Видишь Гражданскую улицу, тонущую в пушистом снегу, сказочные домики, украшенные прихотливой резьбой — и дрогнет сердце от сладкой ностальгии...

Распад великой страны в начале 90-х у многих оставил жестокую зарубку на сердце. И в стихах этой книги найдётся немало стихов о горькой судьбе многих славных людей, выброшенных на обочину жизни бездушием новой власти. Такие, например, как «Расклещик афиш», «Ветеран»...

Но автор находит в себе силы переосмыслить невзгоды, узреть через них бесмертное величие русской судьбы, постичь высшее предназначение поэта.

«Годы-птицы летят над Окой»... Зелёный цвет этой обложки напоминает о пышном и плодоносном лете. Но стоит раскрыть книгу, и очам души открывается нечто большее — заповедное золото слов!

КУЗОВКИН... ВОСЕМЬДЕСЯТ!



Остаётся лишь удивляться, как одному человеку удалось собрать поистине неисчислимое количество знаний по истории родного города и воплотить их в целое море публикаций! Кузовкин — это феномен. Это действительно — Почётный гражданин Коломны! И есть одно качество, особенно характерное для Кузовкина. Это — удивительная отзывчивость. Он всегда готов дать нужную консультацию, подсказать необходимое направление в краеведческом поиске, поделиться накопленным материалом...

Дорогой Анатолий Иванович! «Коломенский альманах» многим Вам обязан. Благодаря Вашей поддержке его исторический раздел обрёл мощь, вызывающую неизменное уважение у множества читателей. Мы всегда помним об этом и безмерно Вам благодарны.

Многая лета бесценному нашему другу и сотруднику!

Редколлегия

*Мы все идём кузовкинской тропюю,
приходим на кузовкинские нивы!
Какие он сокровища откроет
в каких, ещё неизвестных, архивах?!*

*И право, удивляешься порою:
он столько нитей свёл, соединив их
в один узор! Поэтов и героев,
строителей, отцов благочестивых,*

*приезжих и коломенцев — без счёта
припомнил он, собрав своей заботой
могучею и пёстрою толпою!*

*Пронесются столетия и миги...
И, взяв с собой его статьи и книги,
мы все идём кузовкинской тропюю!*

Роман Славацкий

ПОПУТЧИКИ



Виктор Семёнович Мельников родился 24 мая 1948 года в казачьем селе Казанка. День рождения, совпавший с Днём славянской письменности и культуры, и определил его судьбу — стать литератором. Он много ездил по стране. Жил и трудился в Сибири, Башкирии, Таджикистане, Узбекистане, Латвии... Работал плотником, слесарем КИП, шахтёром, геологом, осмотрщиком вагонов, корреспондентом... В общем, жизнь его сложилась так, что возможностей для познания реальной, суровой, невыдуманной действительности у него было предостаточно.

Виктор Мельников — автор двенадцати книг прозы. Его произведения печатаются во многих российских журналах.

Рассказ

Август шлёпал босыми ногами по асфальту вокзального перрона. Близились календарная осень, но жаркое лето и не думало уступать холодам. Станция «Голутвин», как всегда, была похожа на растревоженный муравейник. Людские ручейки двигались по эстакадам и линиям перронов, водоворотами закручивались у дверей небольшого вокзала. Голос с характерной диспетчерской интонацией раздавался из динамиков, грохотали мимо товарные составы, шипя, раскрывались и закрывались двери электричек; в общем, царила обычная привокзальная суматоха.

Зуев уже сидел в вагоне электрички и наблюдал из окна за людьми. Судя по седой голове, ему перевалило уже за шестьдесят. Но вот так прямо назвать его стариком было нельзя. Иван Николаевич, скорее всего, выглядел мужчиной красивого старения. Высокие скулы и заметная линия острого подбородка только молодили его. Он был одет в элегантный замшевый пиджак, претенциозные выцветшие брюки и никак не выглядел мужчиной старческих лет.

Вдруг внезапная картина за окном хлестнула его по глазам, наполнила короткой и острой болью. На перроне стояла Ирина — живая и красивая, и ветер трепетал в её вьющихся светлых волосах и складках лёгкого платья. Но вот девушка обернулась, солнечный блик скользнул по её лицу — и это уже была не Ирина. Она и не могла ею быть, потому что его Ирина умерла много лет назад.

Зуев вытер неожиданную испарину на лице и глубоко вздохнул, стараясь успокоить тревожно пульсирующее сер-

дце. «С чего это? — пронеслось в голове. — Как можно так обознаться?! Столько времени прошло... И где твоя юность?»

Поезд тронулся.

Электричка отправлялась в Москву.

В Коломне пятигорский экспресс не останавливался, так что Зуеву ещё раз предстояло проехать знакомым путём.

Когда электричка подошла к Казанскому вокзалу, его пятигорский поезд уже стоял на своём пути. В купе он был пока единственным. В окно вагона уже заглядывал вечер. Солнце устало провожало уезжающих. Платформа, легко вздохнув, отдыхала от летней жары. И уже чувствовалось, что не за горами то время, когда небо затянется серой шалью и на землю ляжет долгая-долгая зима.

Купе заполнилось как-то разом. Соседи поднимали нижние полки, укладывали чемоданы и сумки. Всё обошлось без споров и обид. Хотя, на первый взгляд, вещей было столько, что, казалось, их не уложить и в целом вагоне. Всё рассовали, убрали, на виду остались только пакеты с продуктами. От них запахло копчёностями, душистыми яблоками и сладкими подмосковными грушами.

Начали знакомиться. Место на верхней полке на половине Зуева досталось молодому военному. Выглядел он почти юношей. Если бы не военная форма с лейтенантскими погонами, ему вряд ли можно было бы дать больше двадцати лет.

Напротив расположились две женщины. Одна — молодая, с кудрявыми рыжими волосами, в джинсовых брюках. Другая — деловая и в возрасте. Но выглядела неплохо. Лицо смуглое, без морщин, красивое. За привлекательной внешностью угадывался решительный характер.

Молодого лейтенанта звали Андреем, рыженькую с кудряшками — Зоей, а вторая женщина представилась Анастасией.

Зуев любил такие путешествия, такие встречи, когда в считанные часы незнакомые вроде люди становились близкими и даже родными. Поезд летит в даль далёкую, сквозь время, сквозь бесконечные русские просторы, а в нём, в этом поезде, складывается свой мир — под присмотром рачительной проводницы, которая должна забрать билеты и выдать постельное бельё, да и чаем напоить. Сегодня она что-то запаздывала. Зоя выглянула в коридор, посмотрела в обе стороны и сказала:

— Нет никого.

— Титан, наверно, разогревает, — предположила опытная Анастасия.

— На службу едешь, сынок? — поинтересовался у своего соседа Иван Николаевич.

— Да нет, по личным делам, — уклончиво ответил лейтенант.

— Наверное, за невестой? — попытался угадать Зуев. — А потом куда-нибудь вместе на Камчатку?

— Женат я уже, — улыбнулся военный и показал старику правую руку с обручальным кольцом. — Дома она. Скоро наследника мне родит.

— Ну и правильно, — одобрил Зуев и улыбнулся. — Такое дело — чем раньше, тем лучше.

Он хотел ещё что-то сказать, но в купе вошла проводница.

— Вот вам, мои залётные, свежее бельё, — заворковала с порога хозяйка вагона, улыбнулась всем широкой улыбкой и ловко бросила два пакета

около мужчин, два других — около женщин. — Платить за него не надо: оплата входит в стоимость билета. Теперь посмотрим ваши билетки...

А поезд уже миновал Коломну, вырвался за город и летел серой стрелой мимо старых заводских кварталов. Уже мелькнула стрельчатая готика Голутвина монастыря, сверкнула под мостом широкая Ока, Щурово миновало с его «византийским» храмом, а впереди уже показалось таинственное Чернореченское лесничество, когда-то воспетое самим Куприным...

Иван Николаевич философски произнёс:

— Надо же, жили до этого, друг друга не знали, — и вот вместе едем, в одном вагоне. Может, пройдёт время, и каждый ещё не раз вспомнит этот наш «круиз». Я вот, например, с пацанских лет люблю путешествовать. Мне в вагон что заскочить, что выскочить — без разницы.

— А я часто езжу по этой дороге, но ни разу ни с кем не пришлось встретиться по второму кругу. Это сколько же народа едет! — заметила Зоя.

— Челночница, что ли? — поинтересовалась Анастасия.

— Да какая там челночница?! — возмутилась молодка. — Еду домой, к маме, за ребёнком. Он всё лето у неё. А теперь вот надо в школу готовить. Как будем жить? — вздохнула Зоя. — Мы ведь со Стасиком вдвоём. Отец от нас ушёл в другую семью. Как бизнес завёл, денежки появились, — так мы стали ему больше не нужны.

— Что, совсем не помогает? — удивилась Анастасия.

— Да помогает... — тихо отозвалась женщина. — Но это такие крохи...

И повлажнили её глаза...

Сменялись вечерние пейзажи за окном, постукивали на стыках колёса, а в купе звучала обычная история. Денег еле на еду хватает, а надо ещё ребёнка в школу собирать, и с работы не уйдёшь, а работа — укладчицей, и в тридцать лет уже руки болят, и непонятно, как до пенсии дожить...

Но только зашёл разговор о пенсии, Анастасия не выдержала и разразилась по адресу как правительства в целом, так и отдельно взятых министров такими сложными и непечатными выражениями, что даже Зуев с молодым человеком смутились.

— Ты-то молодая, — говорила она, сцепив подрагивающие пальцы. — А мне вот, к примеру, что делать? Не в пенсии дело — на неё, знамо дело, не проживёшь: всё равно придётся горбатиться, пока можешь. Но всё же была хоть какая-то подачка от государства, так и её эти... отобрали!

— А я вот что хотел сказать, — вмешался в разговор Зуев. — Конечно, какую ни возьми историю — везде виноват мужчина. Но это не совсем так. Тут вопрос в психологии. Здесь дело больше не в том, что все мужчины подлецы, просто мы не любим жить спокойно и тихо.

Анастасия не выдержала и, как вихрь, налетала на него:

— Ну ладно: женщину ты разлюбил, а ребёнок в чём виноват? Да если бы и мы так поступали, человечество давно бы вымерло. Слабаки вы по жизни, вот что я скажу!

Но тут из коридора послышался голос проводницы. Она разносила чай.

— А не пора ли и нам стол собрать? — встрепенулся Иван Николаевич, уже пожалев, что вступил в разговор. — А ну, пойдём, командир, на рекогносцировку, — и они вдвоём с Андреем вышли в коридор.

Стол накрыли такой, что хоть свадьбу справляй! Копчёная курочка, с десяток яиц, помидоры, огурцы, аккуратно нарезанный карбонад, дю-

жина домашних пирожков... Многое даже не поместилось на крохотном пространстве стола. Андрей включил местное радио. И по купе полилась знакомая музыка. Зоя вспомнила:

— Так это, кажись, из фильма «Русское поле». Там ещё Мордюкова играла!

— Золотой фильм! — согласился Зуев. — Какое время было! — вздохнул он. — Ведь почему тогда легче жилось? Да потому, что родину любили! А сейчас кругом одно предательство и нищета...

А за окном, словно в подтверждение его слов, расстилались некошенные поля, навевая непонятную грусть.

Под музыку еда пошла бойчее. Скоро от курочки остались только косточки. Одним стаканом чая тоже не ограничились: бегали за кипятком по нескольку раз.

А из динамика всё звучали и звучали новые мелодии. Все оживились, когда запела Пугачёва:

За окном сентябрь
Провода качает,
За окном с утра
Серый дождь стеной.

Анастасия немного поуспокоилась, и за горячим чаем как-то сам собой сложился её рассказ о другом сентябре, почти таком же, как нынешний, только много лет назад.

Она только-только вышла замуж. Было, вроде, всё хорошо. Быстро забеременела. А тут вдруг у мужа появилась сумасбродная идея: переехать жить к его родителям на Украину, в Донецкую область.

— Богдан, да как же так? — расплакалась жена. — У нас всё тут устроено: квартира, работа, да и мне скоро рожать. — Она сложила руки под животом. — Какой тут переезд? И как я там одна буду? Языка вашего даже не знаю.

— Почему одна? — продолжал он её уговаривать. — Мы вдвоём. Да и поедем не в чужие края, а к моим родителям. И какой «язык» ты ещё придумала? Донецк — это же русский край. Да и украинским не стоит смущаться. Пару недель поживёшь — и лучше меня на мове разговлять будешь!

Богдан нервно ходил по комнате. Ему явно не нравилось, что жена не соглашалась с ним. Но от своего намерения не отступал. «Уговорю! — думал он. — Куда она, беременная, денется?»

Но Анастасия продолжала настаивать на своём. Ей казалось сейчас, что она не только за себя сражается, но и за того маленького человечка, который уже зародился внутри и который обязательно потом у неё спросит: «Мама, а зачем ты так поступила?»

— Я понимаю, — соглашалась она с ним: Украина твоя родина, но и я тоже не без родины живу! — выкрикнула она. — Ведь это большой грех — оставлять свою землю. Здесь у меня всё! И могила моей мамы, между прочим. Мне её тоже бросить? Без меня же всё здесь зарастёт травой!

Слово за слово — и поругались они: глупо, нелепо, на пустом месте.

И он ушёл. Беспорядочно покидал в чемодан свои вещи и, хлопнув дверью, вышел из дома. Только в прихожей остановился и крикнул напоследок:

— Дура!

Рожала Анастасия действительно одна. Сына назвала Сергеем. Богдан больше не появился. Ни через год, ни через пять лет — никогда. Поступил работать на отцовскую шахту, начал новую жизнь, женился на другой, дочка появилась.

— Тяжело это простить, — поглядывая в окно, тихо сказал Зуев.

— Да некого прощать, Иван Николаевич... — с каким-то надрывом отозвалась Анастасия. — В четырнадцатом году отдыхали они на пляже, а тут украинский самолёт... Ну и покрыло всю семью — всех троих разом. Не послушался он тогда меня... а я ведь чувствовала: ничего хорошего из этого переезда не получится. И как в воду глядела...

Тишина повисла в купе, только слышно было, как позвякивают стаканы в подстаканниках.

— Ну а вы, Иван Николаевич? Далеко ли едете? Небось, к внукам в гости? — спросила Анастасия, смахивая молчание, словно паутину.

— К дочери, — с какой-то важностью уточнил Зуев. — Никогда её не видел. Даже не знал, что она у меня есть.

— Вот тебе и новость, — удивилась Зоя. — Как это — «ни разу не видел»?

— Да вот так, — грустно усмехнулся мужчина. — Позвонили с телевидения, сказали, что меня разыскивает дочь. Как меня нашли — ума не приложу! Проверили — всё подтвердилось. Вот и еду сейчас к ней. Вроде вины моей нет, а всё равно как-то не по себе.

— Как это «вины моей нет»? — возмутилась Анастасия, больше всех нахлебавшаяся горя на своём бабьем веку. — Бросил семью, а теперь...

— Да погодите вы мерить всех своим аршином! — возмутился Зуев. — Не женат я был! Служил в тех местах. Дружили с ней... Она в общежитии жила. Тоже, как и я, детдомовская. Думали, отслужу — вместе жить будем. А получилось по-другому... Когда до дембеля оставалось несколько месяцев, приехали к нам в часть «покупатели» из Сибири, с «ящика». Искали квалифицированные кадры для работы на режимном предприятии. Жильё обещали... Я и согласился. Ирине, конечно, всё рассказал. Ну, мы и решились: как только квартиру получу, так сразу же вернусь за ней. Ни про какого ребёнка она мне не говорила. Ну, а там, в Сибири, всё завертелось, закружилось... Сибирские девчата бедовые. И опомниться не успел, как женился. Виноват, конечно: Ирине даже открытки ни разу не написал. Думал: ну что, жена она мне, что ли? Но долго в Сибири я, конечно, не задержался. Я ведь парень головастый был: заметили, послали учиться в московский вуз. А когда закончил — направили меня работать в Подмосковье. Тамара, моя жена, к тому времени родила мне трёх пацанов. Дом построили. Сад вырастили, парней на ноги поставили. И тут такой звонок из прошлого... Собрали мы семейный совет, обговорили всё и порешили: надо ехать...

— И сколько лет вашей дочери? — поинтересовалась Зоя.

— Да как тебе, наверное... — смерив взглядом женщину, ответил Зуев.

— А Ирина одна живёт?

— Нет у меня больше Ирины... Умерла она, — мрачно ответил собеседник.

— Ну, хорошо, что так всё закончилось, — вздохнула Зоя. — А то умер бы и не узнал про родную дочь.

— Да какая она ему родная! — резко возразила Анастасия. — Из роддома не забирал, на руках не носил, в школу не водил... Да что там говорить: даже не помогал. Эх, вы, мужики!

Анастасия была прямолинейна.

Лишь один Андрей заступился за старика:

— Ну, ладно вам, чего вы накинулись на человека! Он вам душу раскрыл, а вы его в самое больное место...

Долго ехали молча. Зуев был сосредоточен и отрешён. А за окном неожиданно пошёл дождь, в небе заворочались грозы. Людское молчание и звуки грома словно соперничали друг с другом.

Иван Николаевич сидел, пряча глаза. Откровенный разговор словно перевернул всё у него в душе. Он заново передумывал жизнь... Какая-то невидимая граница оказалась пройденной. Это раньше всегда радовался тому, что Бог столько времени даровал ему для жизни. А сейчас вдруг впервые подумал: а жив ли он вообще? Может, его сердце перестало биться ещё тогда, когда он обманул свою Иришку? И любил ли он вообще свою жену? Может, всё в его жизни было пустотой? Куда-то бежал, чего-то накапливал, а самого главного не достиг... Без любви — это разве жизнь? Ему ли сегодня светит солнце, идёт зимой снег, расцветает весной душистыми шапками сирень?..

Сердце стучало тяжело. Жаль было Ирину, жаль было и жену Тамару, которая ни в чём не виновата. Как он посмотрит в глаза дочери, что скажет ей в своё оправдание? И вообще, нужно ли было ему ехать?

Он стиснул зубы, накинул на плечи пиджак и вышел в коридор. Здесь шла своя жизнь. По коридору вагона бегали дети, и Зуев, стоя у холодного окна, иногда оглядывался на их радостную суету. Один мальчик остановился около Ивана Николаевича и спросил:

— Дедушка, а ты что такой грустный? Тебя кто-нибудь обидел?

— Да нет, внучок... Никто не обидел. Это дождь за окном виноват. Потому и на душе так.

Вдруг дверь соседнего купе открылась, и оттуда выглянула красивая женщина.

— Васёк, ты чего к людям пристаёшь? — И, обратившись к Зуеву, спросила: — Он вас замучил, наверно, своими вопросами?

— Напротив, — ответил Иван Николаевич. — Он пытается исцелить меня от меланхолии.

— Не печальтесь. Всё у вас будет хорошо! Пошли, сынок.

Юный незнакомец широко улыбнулся Зуеву и отправился вслед за матерью.

От улыбки ребёнка на душе полегчало. Иван Николаевич вернулся в купе и услышал весёлый голос Андрея.

— Чаю хочется. Вам принести кипяточка?

— Не откажусь.

Парень вернулся с чаем. Анастасия не удержалась и полюбопытствовала у него:

— Ну, а ты к кому едешь, Андрей? Если это только не военная тайна.
— Да какая там тайна? На родину к деду еду, — признался лейтенант. — Вот везу книгу Лермонтова в его родную библиотеку.

— И всего делов? — удивился Зуев.

— Это на первый взгляд кажется, что это маленькое дело, а на самом деле оно огромное, как человеческая жизнь, — интригуяще ответил ему Андрей.

Все повернулись к парню одновременно с интересом и недоумением.

Лейтенант задумался и начал свой рассказ негромко, словно вглядываясь в глубину памяти.

— Мой дед был на войне с самых её первых дней. Многое он мне про неё рассказал, особенно в связи с книжкой, которая прошла с ним всю войну. Слушая его воспоминания, я уже тогда думал: вырасту и обязательно стану военным!

Деда призвали в армию перед самой войной. Когда собирали вещешок, кто-то из домочадцев положил... томик Лермонтова. Было бы это в войну, никто бы этого не сделал. Какие там книги! А тут мирное время...

Занесло его из родного Пятигорска на Дальний Восток. Там и застал начало Великой Отечественной... А попал он в знаменитую 32-ю дивизию Полосухина. И непростая это была часть — отлично укомплектованная, обстрелянная. Она очень хорошо показала себя под Халхин-Голом. С тех пор Сталин и держал её на Востоке: на случай нового вторжения японцев.

Но когда стало ясно, что Япония на Союз не двинется, Ставка решила перебросить дивизию на Западный фронт.

Когда война грянула, деду было столько же лет, сколько мне сейчас. Я вот всё думаю — что он чувствовал тогда в солдатской теплушке, в поезде, который мчался по бескрайней стране...

Отправили их под Ленинград. Рослые сибиряки в полушубках должны были деблокировать осаждённый Питер. И вооружены они были не в пример остальным частям. Достаточно сказать, что у них на вооружении было восемьсот с лишним автоматов, а тогда это оружие было редкостью в наших частях.

Но в октябре сорок первого под Москвой стало совсем плохо... Немцы совершили страшный прорыв, остатки советских войск дрались в так называемых «вяземских котлах», а дорога на столицу оказалась почти без прикрытия.

И дивизию полковника Полосухина, пятнадцать тысяч сибиряков, перебросили под Можайск, в самое пекло. Там ещё народ был: и курсанты, и добровольцы. Но беда оказалась в том, что силы пришлось «размазывать» по всему фронту в 50 километров, а это даже для полнокровной полосухинской дивизии много. Но делать нечего: вгрызлись в землю и приготовились к жестокой драке. И символично, что фронт прошёл по Бородинскому полю, тому, на котором Кутузов встречал Наполеона по дороге на Можайск. Удивительно всё совпало: и место оборонительных сооружений, и даже штаб Полосухина расположился как раз в том месте, где когда-то командовал сам Кутузов.

Даже французы были в составе немецких войск — пара батальонов в летнем обмундировании...

Говорят, что наше командование раздало по воинским частям русские знамёна 1812 года, которые не успели вывезти из Бородинского музея. Многие сошлось вновь на Бородинском поле, и с обеих сторон понимали, что обратного пути нет.

Так началась страшная мясорубка. Ряд за рядом покрывали русскую землю солдаты французского легиона. Русские и французы стояли на смерть. Немцы пёрли со всей дури не только потому, что бесноватые командиры гнали их вперёд, но и оттого, что чувствовали: ещё один удачный прорыв — и Москва покорится. А наши ребята вцепились в родную землю и не отступали ни на шаг. И если совсем недавно артиллеристы батареи Раевского, дивизии Лихачёва, Неверовского, Коновницына казались далёкими тенями, то в эти шесть дней они как будто вернулись в Бородино...

Всё поле было завалено трупами убитых и замёрзших, и с нашей стороны картина рисовалась не лучше. Дед мой, глядя на трупы, разорванные в кровавые ошмётки, есть даже не мог. А прошло уже несколько дней, и он еле держался на ногах. Спас его пожилой старшина, сибирский охотник, который взял своего рода шефство над парнем.

Запомнилось, когда однажды на полевую кухню привезли макароны, смёрзшиеся от холода. И старшина заставлял моего деда сделать глоток водки из фронтовых ста грамм и после каждого глотка совал ему в зубы кусок этих чёртовых макарон...

Страшное дело — война. Звучит банально, особенно для тех, кто не нюхал пороха. А когда человек напрямую сталкивается с кровавой грязью, он начинает понимать, что значат эти слова. Дед рассказывал, как кричали на поле боя раненые французы и немцы. А потом переставали кричать, потому что вытащить их не было никакой возможности, и они просто замерзали там, у Бородина.

Общее дело сближает людей; есть такое понятие — фронтовая дружба. Но война ведь такая штука: сегодня у тебя есть друг, а завтра... Старый охотник, который его опекал, в бою был постоянно рядом: палил из противотанкового ружья, а дед из автомата лупил по немецкой пехоте. И вот: раздался взрыв. Искорёженный ПТУР отлетел в сторону, а старшине осколком полголовы снесло так, что кровь и частицы мозга забрызгали деду лицо.

А он... А что он? Утёрся варежкой и продолжал стрелять.

Почти неделю грохотал этот ад. Дорогой ценой было заплачено за эти шесть дней. Но жертвы того стоили. Из-за таких боёв и Москва устояла.

Так вот, когда немцы дрогнули и отступили с поля боя, части 32-й дивизии отвели с передовой, и полосухинцы, что называется, переводили дух, дед, вытащив из вещмешка, раскрыл книгу Лермонтова и в тесноте при свете печурки читал своим товарищам по взводу «Бородино».

«Да, были люди в наше время... Богатыри...»

Бойцы поднимали головы и прислушивались к словам. Раненые просили: «Почитай ещё. Ведь это про нас...».

Несколько раз пришлось ему читать эти строки: снова и снова. А потом и другие стихи пошли. И тогда бойцы стали просить: «Слушай, браток, вырви мне одну страничку... Мне от этих стихов на душе теплее станет. Война ведь ещё длинная... Не скоро ей конец будет...».

И незаметно том Лермонтова «похудел».

Но дед, вырывая странички из книги и вручая тому, кто остался жив, приговаривал: «После войны обязательно верни в мою библиотеку. И не вздумай помереть!»

И каждый эту страничку клал в карман гимнастёрки, где бережно хранил фотографии матери, жены, детей...

А деду осталась потрёпанная книга в потёртой синей обложке, вот эта, которую сейчас держу в руке. И вроде как талисманом она ему стала. Был покалечен, но остался жив. Ранение было тяжёлым: пол-лопатки разорвало осколком от мины. Вначале один госпиталь, затем другой, комиссовали по ранению... Но книгу удалось сохранить. Берёт её всю жизнь. Только отвезти в библиотеку, как планировал, как-то не получалось. В Пятигорск не вернулся: уехал на родину голубоглазой медсестрички, которая его полуживого вынесла с поля боя. А на родину — съездить здоровья, да и времени не хватило...

И только перед самой смертью дед поручил это мне. Мы созвонились с той библиотекой. И оказалось, что из этой книги к ним поступило семь страничек! Семь полосухинцев выжили; в память о них эти страницы в музей передали. Не хватало только самой обложки с печатью библиотеки. И вот я теперь везу эту книжку...

— Выходит, ты как будто из того батальона будешь? — задумчиво сказал Зуев, когда лейтенант закончил свой рассказ. — Вроде, как их наследник?

— Выходит, так, — согласился Андрей. — Честно сказать, мне тот Бородинский бой временами снится — будто я сам в том дедовском окопе сижу...

Ночь летела за окнами.

Все притихли, и никому не хотелось продолжать разговор. Да вроде всё уже и сказано.

Жаркое летнее солнце насквозь пронизывало вокзал Пятигорска, перед его стеклянными стенами высились стройные ели, на площади ждали пассажиров автобусы и маршрутки. Анастасия и Зоя простились со своими попутчиками с улыбкой, в которой чувствовалась горчинка грусти — о том, что они уже никогда не встретятся с теми, с кем свела их нежданная судьба.

Прощаясь, Зуев вдруг почувствовал нежданную нежность к парню и по-отечески обнял его. Тот улыбнулся, козырнул спутникам и отправился своей дорогой. Распрощались и остальные трое... Зуев остался один, оглядываясь по сторонам.

И тут внезапная картина обожгла его вторично: у начала платформы стояла его Ирина. Да нет, конечно! Ирина дочь, Татьяна, стояла и вглядывалась в него, и ветерок играл складками её платья и прядями светлых волос. А рядом с ней кружился белобрысый мальчуган, точь-в-точь похожий на него, Зуева, каким он был много лет назад. Что-то защищало в глазах у Ивана Николаевича...

Тут Татьяна наклонилась к мальчишке и с улыбкой показала на Зуева. И внук, что-то крикнув, стремглав побежал к деду. И тёплая волна воздуха толкнула Ивана в самое сердце.

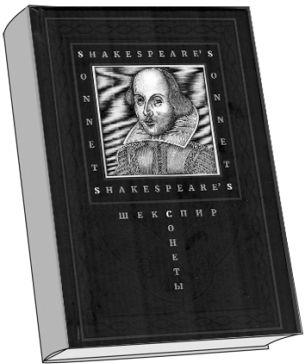
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПРОЗА. XXI ВЕК



В Красноярске вышла новая книга рассказов «Провинциальная проза. XXI век». Её авторы — со всей России: от Калининграда до Сахалина, от Кызыла до Диксона. Здесь же творцы русской словесности из Израиля, Украины, Белоруссии. Но всех их связывает Сибирь. Они — или родились в ней, или долгие годы жили в ней. В этой книге есть имя и нашего земляка — Виктора Мельникова. И это не случайно. Мало кто знает, что всё его детство, юность, отрочество прошли в этом суровом крае — городе Ачинске, что под Красноярском.

В этой книге составители попытались рассказать почти о трёх десятках «провинциалов» русской литературы. Большинство из них — уже прекрасные мастера слова. О чём бы ни говорил автор, он всегда пишет о своём времени и о себе. Прежде всего, книга показывает, что духовность нашего Отечества сохранилась.

ВОЛШЕБСТВО ПЕРЕВОДА



Коломенская переводческая школа обогатилась ещё одним шедевром. Только что вышли в свет «Сонеты» Шекспира, любовно воссозданные на русском языке нашим земляком Борисом Архипцевым.

Его труд отличается максимальной точностью. Это именно перевод, адекватно передающий содержание «Сонетов», а не лирические «упражнения на тему». И что самое поразительное — впервые скрупулёзно воссоздаётся авторская

структура цикла. Мужские и женские рифмы находятся именно там, где их поставил Шекспир, сохраняется не только размер, но даже авторская интонация, вплоть до того, что знаки препинания часто расставлены именно как в подлиннике!

Книга прекрасно подготовлена московским издательством «Де' Либри». Она двуязычна, украшена портретом Шекспира, подготовленным специально для этой публикации видным британским графиком Джоном Верноном Лордом.

Это настоящее волшебство — умение передать искусство и величие поэта, отделённого от нас туманами иного языка и пеленою столетий. Давайте же вслушаемся в Поэзию, которая, по слову Горация, «прочнее бронзы и выше пирамид»!

ЗВЕРЬ



Михаил Михайлович Болдырев родился 3 октября 1950 года в посёлке Погиби Сахалинской области. Писать стихи начал ещё в школе. Жизнь его семьи протекала рядом с тайгой. С четырнадцати лет Михаил ходил на охоту.

В 1971 году окончил Сахалинское мореходное училище. Работал на судах рыболовного и торгового флота. Довелось побывать во многих странах: в Африке, в Китае и Корее, на далёкой Камчатке и у берегов Аляски.

В 80-е годы Болдырев познакомился с творческими коллективами Сахалинской писательской организации. Стихи его появились в сборнике «Сахалин».

В 2009 году поэт переехал в Коломну и с этих пор — постоянный автор «Коломенского альманаха». В 2013 году в приложении «Коломенский книголюб» вышла его книга стихов «Тайный свиток».

Рассказ

Ваську трясло, как в лихорадке. Да какое там «в лихорадке»! Его колотило так, что колени подгибались. В ушах звенело от почти дуплетного выстрела. Резкий запах сгоревшего пороха остро врезался в ноздри, застревая где-то в горле. Левая рука парнишки вцепилась в цевьё двустволки, а пальцы правой руки суетливо обшаривали патронташ. «С края должна быть ещё пара патронов с жаканами», — бешено металось в Васькиной голове.

Метрах в десяти от него уткнулся мордой в малинник только что убитый им медведь. То, что зверь убит, до парнишки дошло не сразу. Всё происходило страшно медленно: сначала у зверя беспомощно подкосились лапы, он глухо, как-то по-человечески захрипел; дёрнулась, вырывая траву, и замерла левая передняя лапа. Огромная туша медведя расслабленно развалилась под ещё тёплым сентябрьским солнцем. «Готов, кажется. Точно готов», — постепенно успокаиваясь, подумал Васька. Уже не торопясь он преломил ружьё, вытащил ещё не остывшие латунные гильзы, вставил их в пустые гнёзда патронташа, а два патрона с жаканами загнал в стволы. Взведя курки, он подошёл к туше медведя и ткнул стволами в его бок. Упругое тело упитанно лоснилось, красиво играя в солнечных лучах бурым мехом, наполняя воздух крепким запахом зверя. Окружающий охотника мир стал прорываться в его отрешённое сознание испуганным криком птиц, журчащей невдалеке на перекате речкой Брянкой, а над самым ухом заныли жаждущие его крови комары. Неведомое ранее ощущение навалилось неожиданно на Ваську:

вот он, пятнадцатилетний пацан, не самый сильный среди сверстников, да и не самый смелый, если честно, добыл такого громадного медведя. Из поселковых мужиков от силы трое могут похвастаться подобной добычей. Конечно, дядька Ефим не в счёт: он медвежатник знатный и не раз рассказывал на вечерних посиделках у клуба о повадках хозяина и охоте. А тут какой-то Васька — пацан, недомерок! — зверя взял.

Всё произошло случайно: пошёл за рябчиками, а вышел на медведя. Зверь мирно пасся в малиннике, а Васька вышел на него с подветренной стороны из густой травы. До медведя было метров пятьдесят, когда азарт, смешанный с возбуждающим самолюбие чувством опасности, заманили парнишку в опасную игру. Наверное, мирный вид пасущегося медведя добавил ему решимости взять зверя, о чём чуть раньше он бы и подумать не мог. Васька зарядил ружьё жаканами и стал подкрадываться к медведю. Таёжная жизнь научила парнишку делать это осторожно и бесшумно. «Бить надо метров с пятнадцати», — пульсировало в голове Васьки наставление дядьки Ефима. Он интуитивно почувствовал дистанцию выстрела, а дальше... вот он, мёртвый хозяин, у его ног. «Так, надо сбегать на деляну, там Витька Петухов на трелёвочнике работает. Зацепит тросом за лапы, на горб затащит — и в посёлок». Виктор был старшим братом Сашки — лучшего друга Васьки. Приняв решение, Васька почти бегом направился в сторону деляны, где работали лесорубы. Он даже с каким-то облегчением оставил место с мёртвой добычей. Ему казалось, что там, на поляне, заросшей густым малинником, под ярким солнцем с глупым верещаньем птиц, затаилось что-то нехорошее, ощутимо тяжёлое, пронзающее насквозь невидимым взглядом Васькины тело и душу.

Парнишка хорошо знал эти места. Минут через двадцать, проскочив редкий подлесок, он выбежал на старую лесовозную дорогу. По ней до деляны километров пять, не более. А что для таёжного парнишки пять километров? Так, пустячок, проскочишь и не заметишь. Вот только ружьё малость по спине стучит. Ничего, подтянул ремень — и ходу, ходу.

Подбегая к деляне, Васька почувствовал дым от кухни лесорубов, а с ним запах жареных шкварок. Но робкие позывы голода забивала иссушившая рот и горло жажда. Под наскоро сбитым навесом у сваренной из толстых листов железа печки хозяйничала повариха — бабка Нюра. Невысокого роста, крепко сбитая, раскрасневшаяся от исходящей жаром печки, она ловко перемешивала поджарку на большой чугунной сковородке.

Заметив Ваську, повариха удивлённо уставилась на него.

— Ты откуда такой заполосный, Васёк?

Васька, не отвечая, подбежал к ведру с водой и, зачерпнув полную алюминиевую кружку прохладной влаги, жадно, взahlёб осушил её.

Смахнув с головы фуражку, он вытер ею губы и потное лицо.

— Баб Нюр, а где Витька Петухов? — отдышавшись, выдохнул Васька.

— Чай, скоро на обед придет. Что-то случилось, Вась? — Бабка Нюра настороженно уставилась на парнишку.

— Да ничего такого, баб Нюр, просто помочь в одном деле надо.

Ваське почему-то не хотелось говорить поварихе об убитом им медведе. Какое-то внутреннее напряжение удерживало его от этого. Но такое разве утаишь? Не оставлять же добычу на растерзание мелкому зверью да воронам, это совсем нехорошо.

— Я медведя убил, баб Нюр, — вздохнув, выдавил Васька и тяжело сел на лавку у длинного обеденного стола.

— О как! Боже ж ты мой! — всплеснула руками баба Нюра. — Да как же это тебя угораздило, милый? Неужто на тебя зверь пошёл?

— Нет, это я на него пошёл.

— С ума сошёл малец! — Повариха перекрестилась. — Да как же ты решился, глупый? Его и опытный охотник стороной обходит, а ты, дурная твоя голова, зачем полез? Ты о матери-то подумал? Не убей ты его, он бы от тебя, дурака, и косточек не оставил! Рожают вас, балбесов, трясутся над вами, а вы вон какие финтеля выдаёте, страсть Господня.

Запах подгорающей поджарки прервал монолог сокрушавшейся кухарки.

«От матери влетит — это точно. Да и от брата достанется: ружьё наверняка отберёт, — смирился со своей участью Васька. — Пацаны, конечно, позавидуют. Интересно, как воображуля Светка к этому отнесётся?»

Представляя реакцию друзей, парнишка несколько взбодрился и успокоился.

Из ближней пади раздалось рычание ЗИЛа и тарыхтение тракторов-трелёвочников: бригада двигалась на обед. Васька захотел перехватить Витьку на подъезде к кухне и пошёл встречать его. Сначала из-за поворота, тяжело переваливаясь на ухабах, выполз ЗИЛ с зелёной фанерной будкой в кузове, за ним, громко тарыхтя и дымя дизелем, выползли два трелёвочника. Последний был Витькин. Васька призывно замахал ему руками. Тракторист, удивлённо уставившись на парнишку, остановил трактор и открыл дверцу.

— Тебе чего, Василь? — крикнул он.

— Дело есть, Вить, поговорить надо! — прокричал в ответ Васька.

— Ну, погоду чуток. Сейчас поставлю технику — поговорим.

Витька свернул с дороги на поляну, заглушил трактор и спрыгнул с гусеницы.

— Говори, какое у тебя дело, охотник без добычи, — Витька окинул насмешливым взглядом подошедшего Ваську. — Небось, вся дичь разбежалась, увидев лихого охотника. А?

— Может, какая и разбежалась, а одна осталась, — с обидой на насмешку, даже вызывающе выпалил Васька.

— Да ну? И какая же это осталась? Кабарга, что ли?

— Медведь, — набычившись, буркнул парнишка.

— Чего, чего? Медведь? Ты случаем не бредишь, пацан?

— Он там, в Березняковском распадке, лежит. Завалил я его.

Витька удивлённо молчал.

— Помоги вывезти, а?

— Почему не помочь. С бригадиром сейчас договорюсь. Только уговор — желчь моя. Замётано?

— Замётано, — облегчённо выдохнул Васька.

Хотя был выходной день, лесорубы работали, «гнали план», за выполнение которого их ожидала хорошая премия. Начнётся зима с затыжными буранами, тогда и на отдых время найдётся.

...Через два часа они въезжали в посёлок с тушей медведя на слипе трелёвочника. Когда они проезжали мимо футбольного поля у школы, пацаны, игравшие в футбол, забыв про мяч, сначала уставились на трактор

с медвежьей тушей, потом на Ваську с ружьём, который с равнодушным видом сидел в кабине. Девтора, быстро очнувшись от удивления, бросилась с громкими криками за трактором.

— Медведя везут! Медведя убили! — неслось вдоль улицы.

У Васькиного дома тушу опустили на землю и освободили от петли.

— Не забудь про уговор, — сматывая трос, напомнил парнишке Виктор.

— Не забуду, — почему-то нервничая, бросил Васька и, словно опомнившись, благодарно добавил: — Спасибо тебе, Витя.

— Вы, это, дядьку Ефима разделявать зовите. Он мастер в этом деле. Да соседа фельдшера попросите мясо на паразитов проверить: он знает, как это делать. Спешите, а то дотемна не успеете. Ладно, бывай, медвежатник.

Виктор, уважительно пожав Васькину руку, забрался в кабину. Трактор рыкнул, выпустив изрядное облако вонючего дыма, и, лихо развернувшись на месте, шустро побежал на выезд из посёлка

Вокруг Васьки и медвежьей туши стал собираться народ.

— Неужто ты его завалил, Василий? — недоверчиво глядя на парнишку, спросил конюх дед Гаврила.

Публика выжидательно смотрела на Ваську.

— Ну, я его завалил, — не показывая внутреннего волнения, буркнул парнишка, обходя тушу.

— И не испугался? — усмехнулся подошедший сосед Леонид Исаевич, местный фельдшер.

— Не успел. — Васька не хотел вспоминать, как его трясло после выстрела.

— А ну-ка, что тут у нас? — раздвигая толпу, к туше подошёл дядька Ефим. — Знакомый хозяин. Не в Березняковском ли распадке ты его взял, а? — Присев на корточки, поглаживая зверя, медвежатник снизу, прищурившись, пытливо взглянул на Ваську.

Был дядька Ефим невысокого роста, худошавый, а вернее — жилистый сорокалетний мужик, в котором чувствовались природная выносливость и ловкость. Работал он связистом, следил за исправностью телефонной линии между лесхозом и Воскресеновкой, которая находилась в сорока километрах от посёлка. Парнишка почувствовал как бы грустный укор во взгляде и тоне дядьки Ефима.

— Там, в Березняковском, — почему-то виновато ответил Васька.

— Хороший был медведь, спокойный, не задиристый. А теперь кто знает, какой хозяин на его место придёт... Медведя надо брать с толком, Василий, а не с бухты-барухты. Тайга, паря, порядок любит. — Дядька Ефим похлопал тушу по блестящей шкуре и, вздохнув, обратился к Леониду Исаевичу: — Поможешь, Исаич, разделать мишутку?

— А куда деваться? Конечно, помогу. Одному-то такую тушу разделять не с руки, — согласился фельдшер, — Да и мясо на трихинеллёз проверить надо. Хозяин, однако, кило на триста потянет.

— Ефим, ты откуль знаешь, что медведь с Березняковского? — встрял в разговор изрядно поддатый киномеханик Федька Полухин, которого народ прозвал Гусём за длинную шею с маленькой головой и несуразно длинным носом.

— Откуль, откуль... Я в округе всё медвежье население знаю. Они, если приглядеться, все разные. У этого вон светлые подпалины на шее.

Такой здесь один был. Ладно, чего тут мусолить. Дело надо делать, пока светло. — Дядька Ефим поднялся с корточек. — Ты, Василий, готовь тазы, вёдра, да яму на огороде вырой — отходы закапывать. Ножи, топор я свои принесу. Да ещё доски нужны, не на земле же зверя разделывать.

Васька согласно кивнул головой и направился во двор. А улицу будоражил собачий вой и лай, но ни одной собаки в пределах видимости не наблюдалось: медвежий дух с запахом смерти разогнал их по углам подворьев. Открывая калитку, Васька увидел сидящую на ступеньках крыльца мать.

Дарья Васильевна, подперев голову рукой, смотрела на сына с печальной обречённостью.

— Ты что, сынок, решил меня в могилу раньше времени спровадить? За рябчиками, говорил, сбегашь, а сам? На что тебе этот зверь сдался? Или разминуться с ним не мог? Я думаю, мог. Зверь нынче сытый. Вон сколько красной рыбы в Брянке. Не нужен ты ему был. А если бы ты не убил его, а поранил только? — Мать, прикрыв лицо рукой, заплакала.

Сев рядом, Васька обнял её.

— Мам, прости. Ну не надо так расстраиваться. Всё случайно случилось. Я даже сам не ожидал. Всё же хорошо. Вон, с дядькой Ефимом шкуру выделаем — у тебя в спальне постелим. Зимой встанешь, а ногам тепло, — пытался успокоить мать парнишка.

— Дурачок ты, сынок. Вот был бы жив отец, он бы тебе ума добавил. А я что с тобой могу сделать? Веником отходить разве, да толку что... — Мать толкнула Ваську в затылок.

— Дай ему, мама, хорошенько, — к ним подходил старший брат Игорь.

Был он на пятнадцать лет старше Васьки. Десять лет назад их отец погиб на весеннем сплаве. С тех пор в их семье негласно Игорь стал за старшего.

Отслужив армию, он выучился на электрика, женился на Вальке Синицыной — девке весёлой, хозяйственной. У них родились двойняшки: Венька и Сенька, которых Дарья Васильевна шутя называла Весеньками. Это прозвище так и прилипло к двойняшкам, тем более они везде появлялись вместе. Вот и сейчас шустрые пацанята, громко галдя, подбежали к крыльцу.

— Ну, Васька, ты молодец! Ты теперь самый смелый из пацанов в посёлке. Такого зверя застрелил! Возьмёшь нас на охоту? Дашь нам хоть по разику стрельнуть? — наперебой затараторили племяши, восхищённо заглядывая в Васькины глаза.

— Во, и эти туда же, — улыбнувшись внукам, покачала головой Дарья Васильевна.

— Ружьё я забираю, охотник, — Игорь взял прислонённую к завалинке двустволку и, нажав на рычаг, открыл затвор. В стволах тускло желтели патроны. — Ты что же это ружьё не разрядил? Кого ещё стрелять собрался? — Игорь строго глянул на брата. — Снимай патронташ, — вытаскивая из стволов патроны, добавил он.

— Ну, вы чо там не шевелитесь? Ждёте, когда стемнеет? — раздался из-за калитки недовольный голос дядьки Ефима. — Доски давайте, да молоток с гвоздями прихватите.

— Идём, дядь Ефим, — отозвался Игорь. — Мам, ружьё с патронами запири в кладовке, а ты, герой-охотник, пошли работать, твой зверь ждёт тебя.

Вскоре подсунутые под медведя доски были сколочены, тушу перевалили на спину. Задние лапы зверя были вытянуты, а передние торчали вверх.

Толпа вокруг не убывала, а наоборот, увеличилась. В размеренной жизни таёжного поселка не часто случались события, которые были достойны всеобщего внимания — свадьба там или похороны, ну праздники, иногда с мордобоем, а тут вот медведя убил пацан. Тут уж мимо не пройдёшь. Да и мяском, если фельдшер разрешит, разжиться можно, жиром медвежьим опять же. Да просто лясы поточить бабам — тоже случай.

Взрослые расселись на брёвнах, приготовленных к зиме на дрова. Мужики степенно закурили. Федька-киномеханик достал из-за пазухи поллитровку беленькой, из карманов пиджака извлёк стакан, кусок черняшки и завернутый в киноафиши шмат сала.

— А чо, мужики, охотник ещё не дорос до обмывки, так мы уж за него это дело сами справим. — Федька налил полстакана и протянул рядом сидящему Григорию Куренкову. Тот взял стакан, заглянул в него, как бы убеждаясь в наличии в нём водки, дыхнул в сторону и медленно, цедя сквозь зубы, выпил.

— Федька! Ты брось мужика спаивать! — заверещала, подбегая к ним, жена Григория. — А ты чего тут расселся? Делов, что ли, дома нету? — наступала бабёнка на мужа.

— Так я это, мужикам тут помочь, — оправдывался здоровый увалень перед худенькой, похожей на подростка женой.

Тем временем дядька Ефим, шаркнув несколько раз об оселок сверкающим, с чёрной эбонитовой ручкой ножом, приготовился к разделке.

— Ну, приступим с Божьей помощью. — И почти про себя добавил: — А ты, хозяин, прости нас и зла не держи.

Уверенной рукой дядька Ефим ловко рассёк шкуру зверя ровным разрезом от нижней челюсти до короткого хвоста. Помогая ему, фельдшер делал аккуратные разрезы с внутренней стороны задних лап.

Медвежатник так же быстро и аккуратно сделал разрезы на внутренней стороне передних лап. Далее они в паре стали снимать шкуру, осторожно подрезая её.

— Ловко работают, — кивнул в сторону туши подошедший Васькин друг Санька. — Здорово, охотник.

Васька пожал протянутую руку.

— Я на рыбалке был. Когда вернулся, мне пацаны сказали, что ты медведя взял. Так я сразу сюда, к тебе. Думал, врут, а тут — на тебе. Ну, ты дал, паря! Здоровущий, однако, зверюга. Слышь, Вась, а это не тот мишка, которого мы летом в Березняковском распадке видели? Тот вроде поменьше был, хотя рыбы много в речке, мог и отожраться.

— Может, и тот, кто его знает.

Васька вспомнил: когда пошёл первый ход красной рыбы, они с Санькой и ещё с двумя пацанами с бредешком ходили в тот распадок к перекату, перед которым в большой яме собиралась горбуша. Там они пару раз видели довольно близко похожего медведя.

— Привет, мальчики!

К друзьям подошли Светка и её подружки — Катька и Тонька.

— Привет, подруги, — заулыбался Санька, глядя, однако, только на рыжую Катьку, к которой он был давно неравнодушен.

— Вась, а ты что такой грустный? Ты же у нас герой теперь, медведя вон убил. — Светка, пытливо прищурившись, посмотрела на парнишку.

— А чему тут радоваться? Убил и убил. — Василий почему-то смутился и, отведя глаза, добавил: — Повезло просто.

— Ой, зазнается теперь у нас Василий, и не подойдёшь, — с вечным своим ехидством влезла в разговор Тонька.

К ним подошли ещё ребята.

— А чего тут зазнаваться? Ну, взял медведя, с каждым может случиться, если повезёт, — присоединился к разговору Серёга Круглов, их одноклассник.

— Да уж, с каждым, но только не с тобой, Круглый, — подколола Серёгу Тонька.

И все поняли намёк, вспомнили забавный случай. В прошлом году, по осени, поехали Серёга с отцом на мотоцикле «Урал» поохотиться к Беличьему озеру, уток пострелять. Взяли с собой спаниеля Бекаса. Мотоцикл решили оставить в километре от озера, а дальше пойти пешком. Перед переходом к озеру охотники сели перекусить. Достали большой китайский термос с чаем, хлеб, домашнюю колбаску, лучок, варёные яйца и расположились рядом с мотоциклом. А чего спешить? К вечерней зорьке ещё успеют. Бекас, чуя предстоящее дело, даже не обращая внимания на запах домашней колбаски, рванул вдоль края обширной поляны и скрылся в зарослях стланика. Отец с сыном не спеша вкушали чай с домашней снedyю под мирный птичий щебет. Где-то за поляной, за стланиковым перемётом, суматошно заколготили вороны. К ним присоединился лай Бекаса: сначала уверенный, но тут же съехавший на жалобный визг, который стал быстро перемещаться в сторону поляны. И вдруг этот визг перекрыл возмущённый рёв медведя. Через мгновение из зарослей выскочил пулей Бекас, а за ним и сам хозяин. Ища защиты, собака неслась к хозяевам. Увидев такое дело, отец с сыном бросились к мотоциклу, благо он был в паре шагов. Мотор, на счастье, завёлся сразу, и охотники рванули от набегающего зверя. Вероятно, рёв мотоцикла несколько остепенил медведя, иначе кто знает, чем бы закончилась для Саньки и его отца эта охота. Убедившись, что погони нет, они остановились. Тут к ним вышел охотившийся на рябчиков Пётр Петрович, леспромхозовский счетовод, мужичок до всего любопытный и по-бабьи болтливый. Узнав, что случилось, Пётр Петрович, качая сочувственно головой, не без иронии спросил:

— А где ваши ружья-то? Никак по дороге потеряли?

Тут только охотники обнаружили, что ружей у них нет, а у Серёги к тому же мокрые штаны. В это время к ним выбежал Бекас. С ходу заскочив в люльку, пёс, сотрясаясь всем телом от дрожи, забился под защитную накидку.

— Убью гада, как паршивую собаку! — взвился Серёгин отец на перепуганного пса.

— Да собака тут при чём? — успокаивал разгневанного мужика Пётр Петрович. — Поехали лучше ружья собирать.

— Ладно, поехали, — согласился возмущённый подлым поведением собаки её хозяин и добавил: — Вот приедем домой, уж я тебя выдеру, сволочь шелудивая.

Выстрелив пару раз в воздух, они втроём подъехали к тому месту, где всё произошло. Ружья валялись там, где их оставили охотники; вся

снесь была съедена косолапым, а красивый китайский термос раздавлен и разорван мощными когтями рассерженного зверя, только серебристые осколки колбы весело сверкали в примятой траве. Серёгин отец пообещал поставить литр водки Петру Петровичу за его молчание о происшедшем с ними. Но где там! Счетовод по возвращении тут же поделился с женой, а на следующий день весь посёлок потешался над горе-охотниками. Вот такая была история, на которую намекнула вредная Тонька.

...Тем временем разделка туши шла своим чередом. К дядьке Ефиму и фельдшеру присоединился Игорь. Васька вдруг почувствовал приступ бешеного голода: у него с утра ни крошки во рту не было.

— Пойду перекушу, — бросил парнишка компании и направился в дом.

Дома, наворачнув полную чашку борща, съел два больших пирога с рыбой и запил всё компотом из таёжных ягод. Передохнув минут пять после сытого то ли обеда, то ли ужина, Васька вышел во двор. «Надо яму копать», — вспомнил он наказ дядьки Ефима. Взял в сарае штыковую лопату и направился в угол огорода. Через полчаса яма была готова, благо земля рыхлая, податливая. Воткнув рядом с ямой лопату, Васька направился к месту разделки. Сумерки уже мягко наваливались на посёлок.

Туша медведя уже была без шкуры. Васька и раньше видел разделанных медведей, но этот был его медведь. Он превратил красивого, свободно-го зверя в эту освежёванную, синюшного цвета тушу, так похожую на человеческую. Игорь, дядька Ефим и фельдшер сидели на брёвнышке. На чурбаке перед ними стояла бутылка водки, пироги, кусочки солёной горбуши и тарелка с красной икрой.

— Вась, а Вась! Не забыл про обещание? — К парнишке подошёл Витька Петухов.

— Не забыл, не бойся. Видишь, только шкуру сняли. Не пропадёт твоя желчь. — Они вместе подошли к закусьвающим разделщикам.

Витька поздоровался за руку с каждым, не спрашивая разрешения, налил водки и залпом выпил. А что? Заслужил.

— Дядь Ефим, желчь Витьке отдайте, я обещал ему за помощь, — попросил Васька медвежатника как старшего на разделке.

— Раз обещал, то конечно, — кивнул тот.

Фельдшер, взяв нож, направился к туше.

— Пойду, однако, анализ мяса сделаю.

— Игорь, Васька, давайте шкуру в корыто складывайте да ко мне во двор несите. Я сегодня ею и займусь, — распорядился Ефим.

Собравшиеся односельчане оживлённо загалдели, с нетерпением ожидая результата анализа. А что, медвежатинка, если её правильно приготовить, очень даже вкусная.

Вернувшийся из медпункта фельдшер молча обозрел собравшихся, нетерпеливо ожидавших его заключения.

— Ну, чо молчишь, Исаич? Говори, не тяни, — не выдержала кладовщица Надька Захарова.

— В общем, так. Медведь чистый, можно есть, — торжественным тоном известил народ фельдшер.

Васька не стал ждать дележа мяса. Он, почувствовав дикую усталость, пошёл домой, где, не раздеваясь, завалился на деревянный топчан в сених. Тяжёлый сон, как обвал, рухнул на парнишку.

Ему снилось, что сквозь тёмный, клубящийся мрак он с трудом вырвался на ту поляну с малинником в Березняковском распадке. Тяжёлые лапы лиственницы хватили его за плечи, словно старались не пустить Ваську на просветлённую солнцем поляну; трава спутывала его ноги, но ему дико хотелось вырваться из мрака к солнцу. И вдруг он увидел, как из малинника на задних лапах выходит медведь, вернее, существо без шкуры, туша которого была жутко похожа на человеческое тело. Голова существа всё время меняла очертания: то проглядывали черты дядьки Ефима, то вырисовывалась морда медведя. В лапах существо держало двустволку, которая хищно смотрела в сторону Васьки чёрными глазками смерти. Парнишка с ужасом осознал, что в него сейчас будут стрелять! Он протянул навстречу стволам руки, но это были не руки, а медвежьи лапы! Васька закричал от ужаса, но крик был беззвучный, беспомощный. Он напрягся, и вместе с его криком к нему прорвался голос матери:

— Сынок, что с тобой? Проснись, милый! Да что же ты так кричишь?

— А? Что? — ещё не до конца проснувшись, пробормотал Васька.

— Ты меня испугал, сынок. Это всё охота твоя тебе покоя не даёт. Давай я тебе чай с травкой заварю, уснёшь, как младенец. Да иди в комнату, по-человечески спать ложись.

Васька сел на топчане, тряхнул головой, словно пытаясь сбросить дурной сон.

— Ты иди, мама, ложись и не беспокойся. Я тоже скоро лягу.

— А мясо всё разобрали. Я в ледник окорок отнесла да жиру набрала, Игорь тоже окорок взял. А остальное люди разобрали, тебя благодарили. Витька Петухов пообещал поделиться желчью. Я из него лекарство сделаю.

— Ну и хорошо, мама. Ты иди, спи. Я на двор выйду.

Васька встал, сунул ноги в обрезки резиновых сапог и вышел на крыльцо.

Ночь встретила его сентябрьской свежестью, щедрой россыпью ярчайших звезд и осторожно выползающей из-за Лысой сопки луной. Парнишка спустился во двор и остановился, прислушиваясь к ночным звукам. Но звуков почти не было, даже собаки не лаяли. Однако Васька услышал дыхание тайги, которая начиналась совсем рядом, за их огородом. Дыхание её было похоже на глухой гул, исходящий из тёмной таёжной утробы.

Неясные тени блуждали в призрачных лучах поднимающейся луны. И что это? Там, в углу огорода, где Васька выкопал яму для останков медведя, словно из земли поднялась знакомая тень зверя. Она то темнела, то почти исчезала, медленно уплывая в сторону таёжных зарослей. Холодный комок стал нарастать в Васькиной груди, словно ледяной обломок луны закатился ему под сердце.

— Никогда! Ты слышишь! Никогда я больше не убью ни одного твоего зверя! — крикнул Васька играющей неясными тенями тайге. И она, словно услышав его, облегчённо вздохнула под набежавшим лёгким ветерком.

А парнишка... да нет, уже не парнишка, а повзрослевший человек, понявший свою живую связь с окружающим таёжным миром, который он опалил неоправданной, бессмысленной жестокостью, ощутил радостную лёгкость, какую ощущаешь, когда вынырываешь из глубокого тёмного омота. Зверь освободил его, растворившись в живом чуде, имя которому — Тайга.

ВОИН И ФАНТАСТ



Владимиру Мирошниченко исполнилось 70 лет. И это важно для нас: ведь юные годы писателя связаны с Коломной. Здесь он учился на филологическом факультете Коломенского педагогического института. Отсюда весной 1969 года отправился в армию. Именно во время службы состоялись его первые литературные опыты, опубликованные в газете Уральского военного округа. Их заметили, и рядовой Мирошниченко вскоре поступает на факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Написанный тогда рассказ был признан лучшим на литературном конкурсе ко Дню Победы.

После четырёх лет службы в Сибири старший лейтенант Мирошниченко поступает в Московскую Военно-политическую академию. Столица открыла широкие перспективы перед молодым литератором. Работы Владимира заметил знаменитый военный писатель Иван Стаднюк. Новеллы Мирошниченко появляются на страницах журнала «Советский воин».

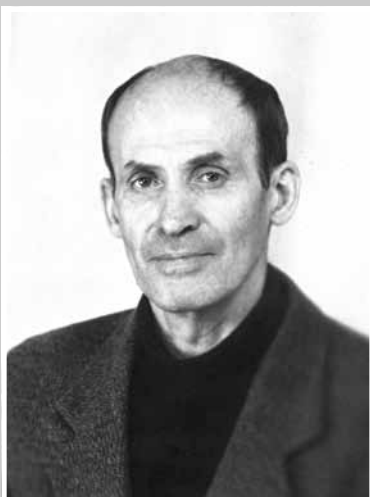
В те же годы молодой литератор попробовал свои силы в научной фантастике и был отмечен вниманием мэтров жанра Кириллом Булычковым и Аркадием Стругацким...

Потом были пять лет службы на Кавказе, общение с ведущими грузинскими литераторами. Именно Чабуа Амирэджиби и Нугзар Апхазава рекомендовали его в Союз писателей СССР после выхода в издательстве «Мерани» первой книги Мирошниченко.

Потом были и книги военной прозы и научной фантастики. Характерно, что крупный писатель-баталист Владимир Воловиков подарил своё произведение Владимиру Мирошниченко с надписью: «Коллеге по перу, воину и фантасту...».

Прошли десятилетия, но Владимир не забыл родной город. Он часто приезжает сюда, живёт подолгу, и, конечно же, публикуется на страницах «Коломенского альманаха». Мы поздравляем нашего коллегу со знаменательным юбилеем! Пусть коломенское тепло обогревает его сердце, и творческая фантазия не оставляет его мужественную прозу!

Коллектив редакции



Владимир Фёдорович Соловьёв (1940—2001) родился в городе Егорьевске. Окончил станкостроительный техникум, затем МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1968 году переехал в Коломну. Здесь начал заниматься литературным творчеством.

Учился на заочном отделении Литературного института им. М. Горького. В багаже писателя — романы, повести, пьесы и более тридцати рассказов.

В 2003 году в Москве вышла его книга прозы.

Рассказ Владимира Соловьёва, опубликованный в этом выпуске нашего издания, с грустью и иронией повествует о жизни неплохого, в общем-то, человека, которому определённо не везёт. Даже в день первого апреля...

Рассказ

Я СОВЕРШЕННО СПОКОЕН

Я заканчивал правку машинописных листов романа. Оставалось два листика, когда в дверь постучали и моя квартирная хозяйка сообщила, что у меня горит. С такой информацией она обращалась ко мне обычно по два-три раза в день. Я побежал на кухню. Горела рисовая каша, которую я планировал на завтрак. Съедобного в чёрной от копоти кастрюле не осталось. Другой кастрюли у меня не было, пришлось выскрести кремированные останки, но они намертво пригорели к дну и стенкам, и столь далёкое от творчества занятие навело меня на мысль сварить картошку в мундире — решится и проблема с завтраком, и пригоревшие останки после кипячения легче отскрести.

Налив в кастрюлю воды и кинув в неё имевшиеся у меня картофелины, я поставил её на огонь и вернулся к комнате к роману. Заключительные его строки вышибли у меня слезу, хотя я перечитывал их уже раз сто. Не мои произведения почему-то не вызывали у меня таких чувствительных наплывов, и тем не менее, не мои произведения издательства опубликовывали, а мои упорно отвергали. Но в этом романе я был уверен, как в самом себе. А в самом себе я был уверен благодаря Луизе Хей. У меня есть её «Полная энциклопедия здоровья» — тысяча шестьсот машинописных листов, полтора килограмма весом. И опубликовали! Эта «Полная энциклопедия здоровья» убедительно доказывает, что для достижения успеха в жизни и для избавления от всех недугов надо всех без исключения любить

и думать только о хорошем. В первую очередь надо любить самого себя. Любить своё тело, свои слабости. Надо каждый день повторять, глядя на себя в зеркало: «Я люблю себя, я одобряю себя, я люблю своё сердце, свои почки, жёлчный пузырь, желудок, поджелудочную железу, кишки и всё, что из них выходит». Такие повторения называются аффирмациями. Луиза Хей на собственном примере и на примере своих пациентов убеждает, что для исцеления от неуверенности в себе нужно повторять аффирмации по триста раз в день. У меня лично нет твёрдой убеждённости, что я люблю всё, что выходит из моих кишок, и вообще признаваться самому себе в любви мне совестно. Поэтому я выбрал для себя аффирмацию полегче: «Я совершенно спокоен и уверен в себе, потому что жизнь прекрасна». Но повторяю я это не по триста раз в день, как советует Луиза Хей, а только когда вдруг покажется, что не так уж всё и прекрасно. Или когда приходится караулить молоко на кухне — как бы не убежало из кастрюли...

В дверь постучали, и квартирная хозяйка сообщила, что у меня горит. Оказывается, пока я плакал над заключительными строками своего романа, вода в кастрюле выкипела, и останки каши в ней вторично подверглись кремации, картофелины тоже превратились в угольки. При виде этого пепелища мне нестерпимо захотелось есть. Я заглянул в свой мини-холодильник, там оставалось два яйца и кусочек сливочного масла.

Я поставил на огонь сковороду, кинул в неё масло, пододвинул банку с солью, взял яйцо, и тут на ум наплыла одна из фраз в заключительных строках романа, — она показала мне шероховатой, я тут же стал обдумывать её корректировку. Руки между тем продолжали своё дело с яйцами. Разбив их одно за другим о край сковородки и вылив, я покропил соль над яйцами. Мне никак не удавалось сконцентрировать мысль на корректировке шероховатой фразы, — от обдумывания отвлекал посторонний запах гари. Оказывается, горело масло. Я, оказывается, вылил яйца не в сковородку, как планировал, а в стоящую на соседней комфорке кастрюлю с останками картофеля и каши.

Прибежала квартирная хозяйка, спросила, что горит. «Масло, — ответил я спокойно и уверенно. — Сейчас яйца в него вылью, и перестанет». Квартирная хозяйка, успокоившись, ушла. Я взял ложку и аккуратно зачерпнул из кастрюли один из желтков, не тронутый горелым. Я планировал кинуть его в сковородку, но ложка, задев край кастрюли, выскользнула из руки и упала на пол. Я загасил огонь, убрал желток с пола в раковину и помыл под краном ложку. Помыв её, я по привычке махнул рукой, стряхивая с ложки воду. Ложка вырвалась и постелилась на пол второй раз. По пророчествам ясновидцев это означало неизбежный приход женщины.

Я вернулся в комнату и принялся гадать, кто придёт. Женщин у меня, не считая квартирной хозяйки, было две: Машенька и Лида. Если придёт Машенька, будет внутренний звонок, а если Лида — сигнал домофона с улицы. Но Лида всегда приходила только вечером. Поэтому, услышав всё-таки сигнал домофона, я оказался не готов к нему. У меня забило сердце. Щелчок замка в наружной двери и стук в мою дверь, стук тихий, робкий, целомудренный. Я мысленно попытался успокоить сердце, а вслух произнёс: «Войдите».

Она вошла, как всегда, с улыбкой, только улыбка на этот раз была другая. Волнение не помешало мне заметить это. Обычно улыбка у Лиды короткая, вопрошающая, — полуулыбка, полупечаль, полумольба о прощении за что-то. При виде такой улыбки мне самому всегда хотелось просить у Лиды прощения. А тут вместо застенчивой печали — победительность, хотя и чуточку стыдливая.

Я обнял её. «Подожди, — попросила она с нежной мягкостью. — Мне надо что-то сказать тебе». Я отпустил её, хотя это было подвигом с моей стороны. Взглянув на кипу машинописных листов, Лида села на стул у торцевой стороны стола и весело произнесла:

— Как дела на литературном фронте?

— Вот этот роман, — кивнул я на кипу, — обязательно пройдёт.

— О чём он? О духовном?

— О духовном. Не о духовном я не умею.

— Почему тогда думаешь, что он пройдёт? Ты ведь говорил: духовные вещи публикуют только за счёт средств автора. Разве у тебя появились деньги?

— Нет, не появились... Но, во-первых, я рассчитываю на публикацию в журнале, я специально сократил объём, в журналах духовные вещи даже предпочитают бездуховным. Во-вторых, мне удалось в этом романе облечь духовное в приключенческую форму. Надеюсь, она подойдёт для бездуховного издательства.

— Но ты говорил, в бездуховном издательстве ни за что печататься не будешь.

— Я так говорил, когда полагал, что смогу жить без тебя. Теперь я так не полагаю. Без тебя я не могу. Ради тебя я бросил бы и писательство. Но без писательства я тоже не могу. Придётся сдать бездуховному издательству. Может, с гонораров на квартиру наберу, и мы поженимся.

— Милый мой романтик! К тому времени, когда ты наберёшь с гонораров на квартиру, я сделаюсь старушкой, а я старушкой замуж не хочу. Лучше уж пойти за нелюбимого.

— Судя по твоей лучезарной улыбке, такой вариант тебя не очень огорчает.

— Это потому, что его не будет, — весело ответила она. — Помнишь того хлыщика, что подвёз меня на машине, а ты приревновал?

— Помню, — хмуро отозвался я.

— Я тебе не говорила: он предлагал мне руку и сердце. Я отказала, конечно, но дело не в этом. Этот хлыщик — нотариус. Он час назад позвонил мне на работу и предложил зайти к нему в контору к четырём. Там, якобы, пришёл розыск на меня. В Америке, якобы, умер мой отдалённый родственник, завещавший мне триста тысяч долларов. Этот хлыщик уверяет, что всё правильно, надо только пройти через формальности, и триста тысяч долларов — мои, представляешь!

— Не представляю, — честно признался я. — Ты станешь новой русской, что ли? А как же я?

— А ты станешь мужем новой русской, — Лида тихо засмеялась. — И будешь писать только духовные вещи, не печалуясь о гонорах.

— Лида! — вскричал я. — И ты меня не бросишь?

— Это целиком зависит от тебя.

Я не успел издать вопль восторга, потому что в дверь постучали, точнее, пошуршали. Так могла шуршать только Машенька, моя семилетняя подруга, жившая этажом выше, как раз над моим потолком. Я открыл дверь. Машенька ринулась было ко мне, но, увидев Лиду, замерла, посмотрела с горькой укоризной. В своей детской непосредственности она не скрывала ревности: стояла потупившись и молчала.

— Ты хотела что-то сказать, Машенька? — подбодрил я её.

— Хотела, — протяжно отвечала она своим по-детски игрушечным, милым голоском. — Я потом скажу.

И, резко повернувшись, она кинулась к двери, стала яростно толкать её, забыв, что та открывается вовнутрь. Я открыл. Девочка выскочила в прихожую и побежала к выходу. С наружной дверью у неё возникли сложности из-за замка. Я подошёл и, отпирая его, попытался погладить Машины волосы. Она оттолкнула мою руку.

Закрыв за ней дверь, я вернулся в комнату. Лида поднялась:

— Я побегу, я на час только отпросилась.

— В контору к четырём опять отпрашиваться будешь?

— Ага.

— Придёшь потом?

— Нет, не приду. Прибегу.

Проводив её, я стал ходить по комнате, бубня себе под нос, что я спокоен. Спустя час я и вправду настолько успокоился, что смог вернуться к непроверенным двум листикам. Ошибок в них не оказалось. Я поставил подпись под последней строкой — готово! Оставалось только сделать ксерокопию, поскольку я намеревался отдать роман на рассмотрение в журнал и издательство одновременно. На счету в сбербанке у меня было двадцать четыре тысячи. Не долларов, конечно, а рублей, но всё равно эта сумма, накопленная при строжайшей экономии за шесть лет работы сторожем, представлялась мне вполне оправдывающей намерение потратить из неё шестьсот рублей на ксерокопию.

Раздался внутренний звонок. Прошелестели в прихожей лёгкие шаги, затем в мою дверь пошуршали. Я впустил Машеньку. Она метнулась ко мне, прижалась к моей ноге всем своим худеньким безгрешным тельцем, замерла. Я гладил её светленькие волосы. Она глядела на меня влюблёнными глазами. Я достал из тумбочки горсть грецких орехов. Она неловко прижала их к груди обеими руками. Я предложил немедленно их реализовать, то есть съесть. Она согласительно кивнула. Взяв молоток, я стал колоть орехи. Машенька выбирала ядрышки покрупнее и с наслаждением их «реализовывала».

Мне вспомнилось, как четыре года назад она ела у меня на коленях клубничное варенье. Ей тогда было всего три годика, но какое королевское величие сквозило в её движениях! Держа ложку всем кулачком, она степенно опускала её в банку, зачерпывала — не полную, нет, — на треть, — плавно подносила её к губкам, осторожно помещала в ротик, и пухленькие щёчки у неё неторопливо начинали двигаться, глаза при этом выражали сосредоточенное, концентрированное наслаждение. Время от времени она поворачивала ко мне лицо и счастливо улыбалась. Она «реализовала» тогда без каких-либо признаков утомления или раскаяния почти всю банку, оставила лишь на доньшке немного, соблюдая этикет.

Тогда, четыре года назад, она ещё не знала горестей. Отец работал крановщиком, зарплата у него была приличная, проблем в семье не возникало. Но однажды её отцу не повезло: его сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Кости левой ноги оказались переломаны в трёх местах, ступня болталась, почти совсем отрезанная. В больнице его уложили на спину и подвесили к переломанной ноге груз. И в таком положении — на спине, он пролежал в неподвижности семь месяцев! Мне это представлялось сверхъестественным. Под впечатлением от его подвига я однажды попробовал, сколько смогу пролежать на спине. Пролежал минут двадцать и почувствовал, что если не повернусь немедленно на бок, то сойду с ума. И повернулся. А он лежал, не поворачиваясь, семь месяцев и не подал после этого в психушку!

От пролежней его спас надувной матрац, но изувеченная левая нога стала вдвое толще правой. Мне жутко сделалось, когда он показал мне её: цвет у неё был фиолетово-багровый, как при гангрене. Ему дали вторую группу инвалидности, тем не менее, он как-то ухитрился ходить без костылей, — это тоже представлялось мне сверхъестественным.

Вскоре после выхода из больницы он запил. Потом запила вместе с ним и Машенькина мать. Деньги, накопленные в лучшие времена, быстро истаяли; они стали пить на его грошовую пенсию по инвалидности.

Когда Машеньке делалось невмоготу от голода, она приходила ко мне и кротко признавалась: «Я хочу поесть». Поскольку провизия у меня не всегда бывала подходящей для ребёнка, Машеньку стала кормить моя квартирная хозяйка. Она же шила девочке одёжку.

Часто среди ночи Машенькины родители, нуждаясь в очередной порции суррогатной водки или самогонки и не найдя в доме таковой, затевали драку. Грохот и дикие вопли над моим потолком порождали жуткое впечатление: мне казалось, там кого-то убивают. Плач Машеньки, заглушаемый грохотом и воплями, сдавливал мне сердце. «Я совершенно спокоен...», — начинал я по привычке аффирмацию и тут же прерывал себя, потому что быть спокойным было совестно.

Покончив с орешками, Машенька подняла на меня глаза и сделала необычное сообщение: «Я не уйду от тебя. Я здесь жить буду». Я ступешевался. Я любил её, но совместную жизнь в одной комнате с ней не мог себе представить. Я привык держать у себя в комнате только самое необходимое. Я даже телевизора у себя не держал, потому что он насилует воображение, а оно у творческого человека должно быть свободным. Я позволял себе лишь маленький радиоприёмник, чтобы только знать, какой сегодня день и какая завтра погода. Позволить себе держать в комнате Машеньку я не мог: её ведь не выключишь, как радиоприёмник.

— Машенька, — произнёс я с дипломатичной вкрадчивостью. — Понимаешь, Машенька, у тебя есть папа с мамой, а дети должны жить с родителями.

— Нас выселяют, — сказала она.

— Кто вас выселяет, Машенька? Зачем?

— У нас большой долг за квартиру.

— Папа с мамой сейчас дома?

— Да. Папа пьяный спит, а мама плачет.

— Идём.

Мы поднялись на её этаж, она толкнула незапертую дверь. Нина, её мать, сидела на кухне с опухшим, заплаканным лицом. На столе перед ней стояла початая бутылка и наполненная рюмка.

— Это правда, что вас выселяют, Нина? — спросил я.

Она кивнула и заплакала навзрыд. Я присел на табуретку.

— Давно грозились, — говорила она вперемежку с плачем. — Я думала, пугают только. А сегодня пришёл участковый и говорит: суд вынес решение о выселении.

— Да что, вас на улицу, что ль, выкинут? Не может быть!

— В общежитие, сказал, поселят. Сказал: если до субботы хоть половину долга не заплатим, то в понедельник милиция приедет выселять.

— Сколько вы задолжали?

— Пятьдесят тыщ.

Я оглядел голые стены — продать на погашение долга здесь было нечего. Я подумал. Шестьсот рублей — на ксерокопию романа. Тысячу — на подарок Лиде: у неё на следующей неделе день рождения. Двадцать две тысячи — на погашение долга Нине. И четыреста рублей ещё останется на книжке на развод.

— Я заплачу за вас, Нина, — сказал я. — Чуть меньше половины только, двадцать две тысячи. Больше у меня нет. Я верю, вы не будете больше пить.

Глаза у Нины вмиг просохли, счастье засияло в них. А лицо страдальчески поморщилось:

— Ты, правда, заплатишь?

— Заплачу.

Нина бухнулась мне в ноги. Я в испуге начал поднимать её. Она в исступлении повторяла:

— До гроба буду Бога за тебя молить. А долг тебе верну. Устроюсь на работу и верну, клянусь.

— Не надо клясться, Нина.

Я глянул на часы — половина второго. Можно всё успеть до четырёх. Отдам роман в ксерокопию — и в сбербанк. Получу деньги, заплачу с Ниной долг, куплю торт к Лидиному приходу, и как раз успеет ксерокопия, выкуплю её — и домой, ждать Лиду. Я почему-то был уверен, что триста тысяч долларов, обещанные ей, — не мираж. Видимо, благодаря именно этой уверенности я так беззаботно планировал расстаться со своими накоплениями.

— Собирайся, Нина, — сказал я. — Пойдём платить.

Поначалу всё шло, как и было задумано. Я отдал листы в ксерокопию — мне пообещали скопировать их за час. К сбербанку мы подошли как раз к двум, он ещё не открылся после обеденного перерыва. Толпа у входа собралась приличная — человек пятнадцать, но я думал, она равномерно распределится по окошкам. Не все же к контролеру, к тому же контролеров в банке два. Мои расчёты не оправдались. Контроллер был только один, и почти все пятнадцать человек ринулись именно к его окошку. Я оказался в очереди последним. Нина пошла на улицу, там была скамейка.

Контролерша, молодая, привлекательная, двинула от себя ящик под окошком. Стоявший первым в очереди мужчина кинул в него сберкниж-

ку. Контролерша, двинув ящик к себе, взяла её, вставила в приёмную щель компьютера, тот бодро нашлёпал в книжке данные. Контролерша сообщила мужчине наличную сумму. Он попросил снять тысячу рублей. Женщина написала сумму в чеке, кинула чек в ящик и двинула его от себя. Мужчина расписался в чеке, кинул его в ящик и двинул его опять к ней. Она сверила подпись в чеке с оригиналом, вложила чек в сберкнижку и кинула её в окошко в стенке, за которой сидела расчётчица, а в ящик кинула жетончик с номером и двинула его от себя. Мужчина, взяв жетончик, пошёл к расчётчице получать свою тысячу, а в выдвинутый ящик кинула сберкнижку стоявшая за ним в очереди женщина.

Операция с мужчиной заняла полторы минуты. Я произвёл в уме умножение полутора минут на пятнадцать человек, накинул семь минут на всякие случайности — получилось полчаса. «Терпимо», — подумал я. Контролерша работала с поразительной методичностью, на одного человека у неё уходило ровно полторы минуты. «Всё приносит радость в этом комфортном, безопасном мире», — вспомнил я одну из афформаций Луизы Хей.

До окошка впереди меня осталось четыре человека, когда оказавшаяся в очереди первой женщина кинула в ящик вместе со сберкнижкой листы с печатным текстом. В диалоге между ней и контролершей прозвучало ужаснувшее меня слово «кредит». Контролерша, разложив перед собой полученные бумаги, повернулась к картотеке и долго что-то искала в ней. Наконец вынула карточку и долго сверяла её с текстами в бумагах. Потом долго нажимала на клавиши компьютера. Потом, кинув бумаги в ящик и двинув его от себя, велела женщине что-то там от руки написать. Я думал, пока женщина пишет, контролерша займётся следующим по очереди человеком, но она всем своим невозмутимым видом показала, что спешить ей некуда. Женщина, написав указанное, кинула бумаги в ящик. Контролерша снова разложила их на столе и опять принялась неторопливо надавливать на клавиши компьютера. Потом долго что-то писала на каком-то бланке. Потом зазвонил телефон, и она долго с кем-то разговаривала. Когда положила трубку, её позвал из глубины помещения кто-то из коллег, и она ушла. Вернулась она через семь с половиной минут и снова стала что-то сопоставлять в бумагах, потом опять что-то писать и давить на клавиши. Мне было странно, как это вначале она могла показаться привлекательной.

Пошёл четвёртый час. Ещё теплилась надежда дойти рано или поздно до окошка, если оставшиеся впереди меня три человека не будут оформлять кредита, но я чувствовал неотвратимо овладевавшую мной истерику. Возможно, истерики удалось бы избежать, если бы я сумел отвести глаза от медлительных манипуляций контролерши, но я, как замороженный, смотрел на её размеренно тягучие движения и всё сильнее её ненавидел. Вдруг она ни с того ни с сего поднялась и ушла куда-то. Мои глаза, освободясь от неё, наконец оторвались от окошка и невидяще упёрлись в крупношрифтовую информацию на стене, сообщавшую, что сегодня четверг, первое апреля. «Я совершенно спокоен...», — сказал я себе, трясясь в истерике.

Контролерша на этот раз вернулась всего через три минуты, и случилось очевидное невероятное — она кинула в ящик жетончик и двинула

ящик от себя. Операция по оформлению кредита кончилась. Через пять минут я получил в расчётном окошке двадцать три тысячи шестьсот рублей. «Мир прекрасен», — подумал я, но тут увидел выросшую неведомо когда огромную очередь у окошка, где принималась плата за коммунальные услуги. Отдать Нине двадцать две тыщи, чтобы она уплатила свой долг самостоятельно, я не решился — вдруг захочет выпить на радостях и убежит из очереди, а там ещё и деньги потеряет.

Было полчетвёртого. Поставив Нину в очередь, я сказал, что отлучусь ненадолго, и пошёл выкупать ксерокопию романа. По пути попался продуктовый магазин. Вспомнив, что надо купить торт к Лидиному приходу, я зашёл в магазин.

Торты на витрине были всевозможных разновидностей, но я не разбирался в них, поэтому решил купить самый дорогой. Надо было приобрести ещё для бутербродов к чаю колбасы, батон хлеба и сливочное масло.

Завесив в одном отделе масло, в другом колбасу, я попросил продавщицу написать на бумажке цену того и другого, поскольку запомнить такие вещи до кассы, когда память и так перегружена ценой торта и батона, мне с моим творческим воображением не по уму.

Очереди в кассе не было, как, впрочем, и кассирши. Я ждал её появления пять минут, потом совершенно спокойно спросил продавщицу ближайшего отдела, когда придёт кассирша. «Она не придёт, — совершенно спокойно ответила продавщица. — Идите в кассу в хлебном — она на все отделы пробивает». Очередь к кассе в хлебном была внушительная. Я начал беспокоиться, как бы не опоздать к Нининой очереди в сбербанке. Я уже раскаивался, что зашёл в магазин: следовало бы сначала выкупить ксерокопию и возвратиться в сбербанк, а в магазин можно было бы потом зайти.

Когда подошла моя очередь, я обнаружил, что потерял листок с ценами на колбасу и сливочное масло. Сообщив об этом кассирше, я пошёл узнавать заново цены на свои покупки. В колбасном продавщицы не было. Я ждал её, совершенно спокойный, нестерпимо долго.

Получив, наконец, повторную информацию о цене, я вернулся к кассе в хлебном и тут обнаружил, что бумажника с деньгами, полученными в банке, в кармане нет. С некоторым беспокойством я сунул руку в другой карман куртки, предназначенный для носового платка. Платок в нём присутствовал, была ещё полиэтиленовая сумка, но бумажника, как и следовало ожидать, не было. От стресса сознание заработало на грани невозможного, и я вспомнил, что для более надёжной сохранности засунул бумажник со сберкнижкой в нагрудный карман жилетки. Я долго возился с молнией, которой был застёгнут этот карман, — её всегда при закрывании и открывании заедало, а тут она расстегнулась на две трети, и её заело намертво. С чрезвычайными трудностями мне удалось протолкнуть через эти две трети содержимое кармана. Пробив чек, я принял одной рукой торт с батонem, другая рука сжимала до судороги сдачу в купюрах и монетах, чек на колбасу и масло и бумажник со сберкнижкой и паспортом.

Дойдя до столика для покупателей, я освободил руки от обременительной поклажи и достал из кармана сумку. Коробка с тортом в неё в горизонтальном положении не влезала. Утомясь от бесплодных попыток, я смирился с фактом, что заняты будут обе руки — в одной сумка с батонem, колбасой и маслом, в другой — торт.

Забрав у продавщицы свои колбасу и масло, я пошёл назад к столу. Первое, что я увидел при подходе к нему, были лежавшие рядом с тортом и сумкой паспорт и сберкнижка, хотя я был уверен, что не выкладывал их из бумажника. Бросив колбасу и масло, я лихорадочно принялся исследовать свои карманы. Бумажника в них не было. Я оглядел ещё раз поверхность стола и пол в его окрестностях, хотя всё уже было ясно. «Какой хороший человек», — подумал я об укравшем мой бумажник. — Деньги только взял, а паспорт вот оставил. И сберкнижку оставил. И торт с сумкой. Я люблю тебя, непутёвый бедолажка, но не потому, что ты взял не всё, а потому, что Евангелие и Луиза Хей говорят: любить надо всех без исключения, тогда будет успех в жизни».

Выкупить ксерокопию теперь было не на что. Потребовать оригинал без ксерокопии тоже оснований не было. Я пошёл в сбербанк. Нина дожидалась меня возле него на улице, — очередь, в которой она стояла, оказывается, уже давно вся рассосалась. Избегая глядеть Нине в глаза, я сказал: «Я потерял деньги, Нина». Она не промолвила в ответ ни слова, только опустила голову.

Едва мы вернулись домой, как пришла Лида. По выражению её лица я понял, что обещанные ей триста тысяч долларов — мираж. «Он сказал, это была первоапрельская шутка», — сообщила она совершенно спокойно. Пить чай с тортом, колбасой и сливочным маслом она не захотела. Посидела немного молча и ушла. Мне тоже не хотелось есть. Я стал глядеть в окно. На скамье у подъезда двое с небритыми лицами поочерёдно пили водку прямо из бутылки, закуски у них не было. Открыв окно, я окликнул их и кинул им пакетик с колбасой. Они, поблагодарив, пригласили меня в свою компанию. Я, поблагодарив, сообщил, что не пью.

Я не знал, чем заняться. Включил приёмник. Диктор жизнерадостно забубнил, сколько людей погибло, сколько получило увечья и сколько осталось без крова от терактов, катастроф и прочих непонятных явлений. Я выключил приёмник. Вспомнил об оставшемся в ксерокопии романе. «Пусть там и остаётся, — подумал я. — Всё равно его не опубликуют».

В рассеянности я проговорил вслух аффирмацию: «Я совершенно спокоен в этом комфортном, безопасном мире». А про себя подумал: «Как хорошо, что я способен ощущать такую первобытную, такую вселенскую тоску».

Только это была уже не аффирмация.

ЦАРСТВЕННОЕ ИМЯ



*Рисунков обжигающая выюга,
холстов и красок яркая река,
мозаики точёная кольчуга,
и фресок вечных каменная ткань —*

*Всё это сплетено в единый лад,
в таинственный евангельский талант...*

*Как будто златокованною ризой
поставлены полотнища картин;
и в каждой — отражение Отчизны,
и в каждой — скрыты смыслы и пути!*

*Дома и храмы, рощи и долины
заветной вереницею сошлись...
...И царственное имя — Василина —
Возносится в коломенскую высь!*

Роман Славацкий

Василина Королёва... Какое-то удивительное очарование сокрыто в этих словах!

Каждый год «Коломенский альманах» облекается драгоценным покровом. Любой раздел озарён жемчужным сиянием прозрачной графики. И мы уже не можем представить себе наш ежегодник без этого оформления, которое придаёт литературным текстам новое — живописное — измерение.

Дорогая Василина! Поздравляя Вас с юбилеем, мы надеемся на плодотворное продолжение общего творческого пути!

Пусть Господь приумножит Ваш талант — на радость коломенцам и всем ценителям искусства и литературы!

Коллектив редакции

ВЕТЕР ОКОЛЬНЫХ ДОРОГ



Редакция «Коломенского альманаха» поздравляет Владимира Пронского с 70-летием, желает доброго здоровья и новых творческих достижений! Его произведения полюбилися читателям жизненной правдой, доходчивостью, радушием, глубокой психологией характеров героев — всем тем, что завораживает и притягивает к чтению. Книги Пронского широко известны, стали лидерами читательского спроса. Неизменной популярностью пользуется роман «Провинция слёз» в трёх книгах, над которым автор работал 23 года. Роман — о жизни крестьянской семьи из Рязанской области, прототипом стала семья самого автора. Да и всё остальное творчество так или иначе связано с малой родиной; в его произведениях отразились радости и заботы всей России. Тем интереснее для коломенских читателей будут встречи с новыми сочинениями нашего постоянного автора.

Рассказ

Александр Шурьгину почти сорок, но выглядит он щёголем. По-юношески строен, всегда аккуратно подстрижен, всякая одежда ему к лицу — не мужик, а загляденье. До последнего времени казалось, что жизнь у него ладится, он цветёт от неё, но неожиданно впечатление испортилось. И причиной этому стала Ксения — его первая любовь, когда-то забытая, но вдруг появившаяся будто ниоткуда, а против неё он не боец.

Как-то на исходе лета увидел её в магазине и обомлел, едва признав из-за непривычной полноты и узелка на затылке. Пригляделся и увидел приметную родинку на шее за левым ухом, а главное — голос ни капли не изменился, а её бархатный голос Александр узнал бы из тысячи иных голосов. Она болтала с продавщицей, а он застыл за её спиной, смотрел на родинку, на пушистый, словно пуховый, завиток рядом с ней и, чувствуя, как перехватывает дыхание, боялся глубоко вздохнуть, словно мог спугнуть волшебное видение. Мысли моментально унесли в юность, встречи с Ксенией вспомнились так чётко и ясно, словно он и не расставался с ней никогда.

Когда она расплатилась за покупки и пошла к выходу, Александр радостно окликнул:

— Ксюш...

Она не сразу, но оглянулась. На какое-то время замерла, словно ослышалась, и, улыбнувшись, кивнула, приглашая за собой. А он даже забыл, за чем заглянул в магазин. Выскочил следом.

— Вот кому не пропасть-то! — удивилась она на улице и прислонилась к его плечу, по старой привычке раскатисто хихикнула. — Ты откуда взялся-то, герой?

— Всю жизнь здесь живу, не как некоторые...

— А я вернулась к маме. Болеет она, а папа умер в прошлом году. Пришлось бросить работу, мужа. А детей у меня нет, Сашенька, — ты когда-то постарался, чтобы их не было.

Шурыгин сперва промолчал, а потом вздохнул:

— Чего теперь ворошить старое. Пустое дело.

— Да я и не ворошу, а как вспомню, как душу выматывал из тогдашней девчонки, то до сего времени ночью вскакиваю, слезами заливаясь... Молчишь. А тогда говоруном был отменным. Каждый день приставал: «Без тебя жить не могу!», «Всё для тебя сделаю!» Таким заботливым оказался, что даже к врачу потом водил, не постеснялся, денег не пожалел.

— Ты тоже не терялась, как ретивый сержант постоянно давала вводную: то «Проводи», то «Поцелуй», то «Чтобы завтра без цветов не являлся!».

Александр сразу вспомнил ту зиму, когда демобилизовался, начал работать водителем и влюбился в подростковую Ксению, жившую на соседней улице. Вернее, она сама влюбила его в себя, постоянно мелькая перед глазами. До его призыва в армию неприметной была, с косичками бегала, но, однажды увидев на танцах, едва узнал: невеста невестой! На один танец пригласил, другой — и всё, прикипел. Думал, это навсегда, на всю жизнь, но у неё были другие планы. Побывала она у врача после их встреч, кое-как сдала в школе экзамены и поехала поступать в институт. И не вернулась. А он и не переживал особенно, не зная, что уехала она с обидой в душе. Даже радовался, что всё обошлось без огласки и лишней нервотрёпки.

Вскоре познакомился с сероглазой Полиной из городского соцотдела, в тот же год женился. Жил сперва у неё, а когда родился сын Павлик, родители помогли купить двухкомнатную квартиру. Правда, пришлось немного занять, но Александр в ту пору заруливал на междугороднем автобусе и неплохо зарабатывал. Но потом их автобаза развалилась, и Шурыгин, окончив курсы охранников, начал мотаться в Москву: две недели отбарабанит, а две недели потом дома с сынишкой. Встретит его из школы, проследит, чтобы тот сделал уроки, а после, если располагала погода, уходил с ним на Сосну — рыбу удить. Уловы почти всегда незавидные, зато с сыном настоящее общение. Поднимутся они от реки, оглянутся, окинут взором заречные дали, а Шурыгин скажет:

— Вот она, Павлуш, наша Родина! Разве можно её не любить?

Сын всегда отмалчивался в такие минуты, но как-то сказал:

— И мамку тоже любить надо!

— Об этом и разговора нет, — согласился Александр, хотел напомнить, что и об отце забывать нельзя, но промолчал, опасаясь уж слишком навязывать своё мнение.

Всякий раз они, радостные, возвращались, занимались чем-нибудь по дому, и Полина в такие дни была спокойна за сына.

Когда муж уезжал на вахту, за Павликом следили его бабушки. Правда, они не всегда успевали за внуком, взрослевшим с каждым годом и проявлявшим всё большую самостоятельность. Когда Александр был в отъезде, сын мог улизнуть от надоедливой опеки и полдня бродить по городу: то

на карусель отправится и там подерётся с мальчишками, то в тире все карманные деньги потратит, то к матери на работу заявится. А как-то в Москву к отцу махнул. Но не доехал — в тот же день с поезда сняли. Но всё это теперь в прошлом. Сын повзрослел, правда, но по-прежнему ластился, как детсадовец: «Папка» да «Папка».

Все эти годы Шурыгин ничего не знал о Ксении, хотя чего проще: сходи к её родителям, поговори, глядишь, какая-то появится ясность. Но не хотел ворошить старое. Хотя кое-что узнал в прошлом году от её одноклассницы. Оказывается, уехав после школы, Ксения вместо института устроилась в Москве на электротехническом заводе, поселившись в общежитии, работала в обмоточном цехе, но эта работа показалась по-настоящему тягостной. Узнав, что заводские подруги вербуются на Камчатку, приккнула к ним и потом на плавбазе разделявала рыбу, ставшую сниться в кошмарах.

Более её подруга ничего не рассказала, хотя знала, что Ксения при очередном возвращении из плавания закрутила роман с местным парнем, вскоре расписалась с ним, и каторга на плавбазе осталась только в воспоминаниях. Они, понятное дело, хотели ребёнка, но ничего не получалось. Ксения для вида ходила по врачам, хотя догадывалась о причине своего несчастья, нехорошо вспоминала Шурыгина и укоряла себя, тогдашнюю дуручку. Долго мечтала об искусственной беременности. Когда же поделилась заботами с мужем, то он наотрез отказался показываться медикам, да ещё укорил: «Тебе надо — ты иди, а меня не позорь на весь город!» Ксения понимала мужа, но и обиду не могла терпеть: предложила развестись, и он легко согласился. Так и закончилась её камчатская эпопея. И вот уже полгода прошло, как она вернулась на малую родину. Устроилась диспетчером в автоколонну.

Шурыгин после разговора с подругой Ксении жил размеренно и спокойно, зная, что ничего изменить не может. Но вот, совсем не ожидая, встретил её саму, и вновь полыхнула весенней свежей молнией прежняя любовь, и вернулись неистраченные чувства, и он, забыв обо всём на свете, провёл с Ксенией на съёмной квартире несколько ночей. Вскоре Москву бросил, вернулся за руль, устроившись в такси, и Ксения обеспечивала выгодными заказами. Но главное, из дома ушёл, никому ничего толком не объяснив, не поговорив; однажды по-тихому заехал и набрал сумку вещей. Лишь жене потом доложил по телефону коротко и грубо:

— Можешь не ждать...

— Я-то ладно... А как же сын? — охнув, спросила она.

Он промолчал, не найдя нужных слов, потому что и сам не знал их, лишь надеясь на предстоящий разговор с Павлом. Он поймёт, должен понять. Взрослый ведь совсем, недавно паспорт получил.

Пока собирался поговорить, месяц проскочил, как во сне, а он и не заметил этого из-за привалившего счастья, повторявшегося изо дня в день и ставшего продолжением начальных давних дней. Он всё-всё вспомнил, как у них начиналось: как впервые пригласил Ксюшу на танец, как впервые поцеловал, как утешал и вытирал слёзы после вспышки трепетной близости, когда никто из них не понял, как она произошла. Но ведь произошла и потом повторялась неоднократно. Шурыгин в те дни потерял голову. Он и теперь, пережив всё заново, продолжал находиться

в необъяснимо волшебном состоянии. Даже забыл на какое-то время о сыне и вспомнил о нём, когда позвонила жена и будто обожгла, сказав, что он ушёл из дома и второй день не появляется.

— В полицию-то хотя бы заявила? — резко спросил Шурыгин, сразу вернувшись с небес на землю.

— Заявила, да что толку... Это всё из-за тебя, из-за твоей крали...

— Он и прежде сбегал, с поездов снимали.

— Когда это было-то? А если и сбегал, то с тобой хотел быть, а ты этого так и не понял. Променил сына неизвестно на кого!

— Хватит мораль читать. Найдётся. Не мог он далеко уйти. Где-нибудь на вокзале болтается.

Разговаривал Шурыгин при Ксении, и она сразу поняла, о ком речь, но всё-таки спросила:

— С сыном что-то случилось?

— Из дома ушёл.

— Ничего особенного... Набегается и вернётся. На Камчатке, бывало, молодёжь месяцами на реках живёт, когда рыба на нерест идёт. И ничего — родители не переживают особо. Это же так романтично! — А у самой рот до ушей, будто вспомнила что-то неопишимо приятное.

Уж лучше бы Ксения промолчала, а то после её пустых слов да ухмылочки в Александре всё перевернулось; он догадался, что она радуется его несчастью.

— Одно дело, когда с разрешения, а другое дело, когда... — Он не договорил, не стал уточнять, имея в виду свою вину перед сыном.

Ксения хмыкнула, а он вдруг посмотрел на неё невидящим взглядом, вспомнил все отношения — и сделалось необъяснимо погано на душе от её привычки беспричинно хихикать. И ладно бы, если по-настоящему рассмеялась: открыто и радостно, если случай подходит, а то хихикнет и затаится. Разреши ей, она и сейчас бы заверещала. И представив это, он вдруг понял, как ненавидит её — обрюзгшую, липкую от пота. Никогда не думал, что перемена в отношениях может произойти в одно мгновение, но у него это произошло. И сразу по-иному посмотрел на неё с плохо скрываемым презрением, впервые пожалел, что вновь связался с ней.

Ксения это поняла, но промолчала, не стала обострять разговора, догадываясь, из-за чего ушёл из дома сын Александра. Но когда Шурыгин, вздохнув, отвернулся, она впервые почувствовала злорадство, вспомнив себя и его, из-за которого теперь не может иметь детей. Она даже согласилась бы на такого взбалмошного ребёнка, как у него. У неё бы он не убежал, она бы и на секунду не оставляла его одного. А то ведь он привык бегать из-за одиночества. У какого ребёнка хватит выдержки ждать отца две недели, если мать, как рассказывал Шурыгин, выражая недовольство, днями пропадала на работе, а после спешила в народный театр. А у их театра только название громкое, а так — сплошная самодеятельность, но жене его об этом не скажи, а кто осмеливался — навсегда враг. Александр даже и о бабушках рассказал. Они ещё те у его сына: суетливые, назойливые — либо закормят, либо заучат, а настоящей пользы от них почти никакой, если норовят всё делать по-своему, будто соревнуясь друг перед дружкой, особенно тёща, работавшая прежде бухгалтером, а теперь билетёром в кинотеатре, поэтому днём почти всегда свободная.

После известия о пропаже сына Шурыгин не стал долго пререкаться с Ксенией, сразу же поговорил со знакомым полицейским, с которым когда-то учился в школе, объяснил ситуацию, и майор успокоил:

— Не переживай, Санёк! Парень твой нормальный, никогда ни в чём не замечен, приводов не имеет. Оголодает — сам вернётся.

— В том и дело, что ни в чём не был замечен. На таких олухов всё и сваливают. Попадёт в историю, потом попробуй исправь.

— Всё пучком будет. Заявление от твоей приняли, завтра в розыск его объявим, но ты и сам по городу поищи, всё равно ведь мотаешься из конца в конец. В автоколонне объявление повесь, извести водил о пропавшем сыне, приметы сообщи, фотографию размножь. Обязательно где-нибудь отыщется. Уж поверь мне.

Шурыгин только вздохнул.

Из-за одолевшей паники он сутки мотался по городу, изучил все подозрительные места вокруг вокзала, переговорил с бродягами, оставил им номер своего мобильного, дал денег, чтобы позвонили, сообщили о белобрысом парнишке в цветастой куртке. Несколько раз говорил с Полиной, но и у той никаких новостей — лишь слёзы. Шурыгин всегда считал, что она не особенно любит Павлика, но теперь понял, что это не так, если любой разговор заканчивала укором: «Ну, что ты за отец такой, если сына найти не можешь!» Даже как-то заехал к ней, чтобы обсудить дальнейшие поиски. В прихожую зашёл и не узнал Полину. Она и прежде не отличалась упитанностью, а теперь совсем превратилась в тень, лишь глаза зарёванные округлились и смотрят до невозможности укорительно.

— Ну и зачем явился? — спросила, не глядя в глаза.

— О сыне поговорить... Я вот о чём подумал: может, его девчонка в курсе. Ведь знаешь, какие они в этом возрасте скрытные. Видел его несколько раз с одной из нашего подъезда — с короткой стрижкой такая, чернявенькая, на пятом этаже, кажется, живёт. Сходила бы к ней, может, что-то знает о Павлике.

— Об этом мог бы и по телефону попросить. Да и причём она, если Паша меня заподозрил в измене... Видишь, сумка стоит? Двоюродный брат с женой на днях из Украины приехали работу искать... Несколько дней у нас помотались, а теперь в Воронеж отправились. Если ничего и там не найдут — в Москву поедут.

— Брат-то причём?

— Притом... Паша увидел его в коридоре и подумал, что я чужого мужчину привела тебе назло — вот и сбежал. Да ещё обозвал, как последнюю... — Она не договорила, закрыла лицо руками, зарыдала.

— Что же не разъяснила-то?

— Он и слушать не захотел. Рюкзак с учебниками бросил — и сразу за порог. Сказать ничего не успела.

— Да, закавыка... Ладно, успокойся — у нас теперь общая забота! — Он попытался обнять жену, утешить, но она оттолкнула:

— Не прикасайся гадкими руками... Когда зимние вещи заберёшь?

— Заберу-заберу — не переживай... — сразу осёкся он, хотел сказать, что до последнего времени был верен ей, но понял, что сейчас бессмысленно говорить об этом. Развернулся, торопливо шагнул к двери, ничего более не сказав от досады.

Перепалка с женой настроения не улучшила, но дала понять, что и Полина переживает о сыне всерьёз. Оказывается, ещё что-то шевелится материнское в её театральной душе. Шурыгин всегда думал, что у жены на первом месте самодеятельность и свихнувшиеся тётки с их косматым престарелым режиссёром, мнящим себя, как он говорил, небожителем. Иногда они собирались у них на квартире — расфуфыренные, в невообразимых одеждах — и тогда они с сыном брали удочки и шли на Сосну или отправлялись гонять мяч на спортивную площадку.

После разговора с женой Шурыгину стало не до Ксении. Даже более того: она сделалась окончательно неприятной, особенно после того, когда у неё появились сигареты. Он отмалчивался, как мог, скрывал чувства, но как их утаишь, если они без слов понятны. А на работе и вовсе с ней о личном ни гугу. Она же из вредности стала давать заказы самые мелкие и невыгодные, а он как будто не замечает ничего: молча зайдёт в диспетчерскую, возьмёт путёвку, заказы, если есть, — и прощай до конца смены. На всю эту мелочность Александр не обращал внимания. В эти дни одна терзала забота: где отыскать сына? Уж весь город, казалось, прочесал, чуть ли не во всех подъездах побывал — никакого толку. С одноклассниками его разговаривал, с директором школы. К кому ещё обратиться — не знал. Ведь всю страну не охватишь. Оставалось ждать и надеяться. Но хорошо ждать, когда знаешь, что встреча состоится, а вот как быть, если сплошная неизвестность. Волком выть?

Прошло несколько тягостных дней, и Шурыгин вдруг испуганно понял, что привык к поискам и ожиданию, отупел от него. Оно стало привычным состоянием и почти не волновало, словно история с сыном должна разрешиться сама собой или с чьей-то посторонней помощью. А вот каким конкретно образом — это оставалось загадкой. Поэтому пустил розыжки на самотёк, хотя продолжал по инерции присматриваться к прохожим, расспрашивать водителей автобусов. Всем показывал фотографию сына, но всё впустую.

Вскоре похолодало, иногда шёл снег, и где мог скрываться в такую погоду Павел? Где? Из полиции тоже никаких новостей. Позвонил приятелю, но тот как о несуществующем:

— Потерпи, потерпи. Людей годами ищут.

— Вот спасибо, дорогой друг, вот обрадовал! — не сдержав досады, подначил Шурыгин. Он и прежде-то относился к приятелю-полицейскому, у которого главным в жизни было желание получить очередную звёздочку на погоны, насмешливо, а теперь и вовсе потерял к нему уважение.

А тут ещё собственная мать, узнав от Полины об исчезновении внука и о том, что Александр ушёл от неё, закатила истерику, попросила немедленно приехать, сославшись на боли в сердце, а когда он, всё бросив, примчался, устроила показательную взбучку.

— И где же ты, милок, гнёздышко новое свил? Кто же она, что сына вынудил скитаться из-за неё? — подступила она к Шурыгину, забыв о болячках.

— Mam, не бросал я его и никогда не брошу, потому что люблю всех сильнее на свете. Всё случайно приключилось.

— Такие дела случайными не бывают. В общем, так: пока дело далеко не зашло, возвращайся к Полине, вместе сына ищите.

— Был, не нужен ей стал... Брезгует.

— Простит, если к нам жить переберёшься, пусть и не сразу. А ты змею-разлучницу, какая пригрела тебя, забудь, пока не поздно! Чтобы нога к ней не ступала!

— Что, достукался? — устало укорил вышедший из спальни на разговор отец, совсем поседевший за последнее время, сердито посмотрел из-под густых бровей.

— Что вы всем скопом навалились... Ладно, подумаю... — Это всё, что мог сказать родителям Шурыгин. Хотел забыть разговор с ними, тем более — обижаться на стариков, но их нагоняй всё равно не прошёл впустую.

Отношения с Ксенией вскоре окончательно разладились, и теперь он только ждал момента, чтобы рассчитаться из автоколонны и вернуться в охранники. Уж лучше так, чем неволить себя. В какой-то вечер сказал ей об этом, даже попросил прощения, что взбаламутил, но она совсем не удивилась, лишь зябко повела широкими покатыми плечами:

— Ты как был скотиной, так ею и остался. Уходи — держать не буду! — и завернулась от него в одеяло.

«Вот дожил до чего, — подумал он, — обе гонят и видеть не хотят!»

Перебрался он на следующий день, хотя чего перебираться-то — сумку собрал и был таков. Правда, сказал на прощание, пытаясь сгладить расставание:

— Нам надо одним пожить. Вот тебе деньги за квартиру — расплатись с хозяйкой. В случае чего — звони, я буду у родителей.

— И не подумаю, больно нужно.

От её вредных слов Шурыгину сделалось легко на душе. Значит, не надо объясняться, что-то придумывать, врать. Ушёл — и ушёл. Как говорится, скатертью дорога.

Вроде бы легче сделалось, но мысли о сыне не покидали ни на минутку. Он ставил себя на его место, пытаясь воссоздать цепочку его возможных действий и поступков. Мыслями голову забивал, но разве можно всё проследить и предугадать, пусть и за сына. Ведь наверняка у него всё по-другому, если он и думает не так, как сам думал в его годы. У них на уме был футбол и хоккей, а то, бывало, драки устраивали: улица на улицу, милиция разгоняла. А разве нынешних чем-то интересуешь. Вахлаками растут, слова поперёк никому не могут сказать. И хорошо, что у него хватало времени заниматься Павликом, учить уму-разуму. За полмесяца они успевали многое: в футбол играли, за грибами ездили, опять же — на реку ходили. Зато другую половину месяца сын проводил под надзором бабушек. Придёт из школы — рюкзак под стол, перекусит и за компьютер. Напомнят ему об уроках, а у него один ответ: «Не задавали!» — «Как же так?» — возмутятся они, а если сильно пристанут, то он приврёт: «Теперь уроки через компьютер удалённо делают. Совсем отстали от прогресса!»

Они, конечно, жаловались матери, когда она приходила с работы или из театра. Та надоедливо ругала, призывала к совести, а потом усаживала за письменный стол, а он носом в тетрадку начинал клевать, засыпая. Поэтому у Полины и бабушек вся надежда была на него, Шурыгина, — всегда строгого, рассудительного и авторитетного: как сказал, так и сделал.

Но как ни слыл Александр примерным, всё-таки недавняя встреча с Ксенией, уход от жены всю его примерную жизнь поломали и всё в нём

перевернули. Когда же пропал сын, ходил небритый, взъерошенный, к себе наплевательски равнодушный. Если прежде, когда в жизни всё ладилось, шагал легко, открыто, словно по проспекту, то теперь, поддаваясь студёному ветру надвигавшейся зимы, будто пугливо вихлял окольной дорогой, постоянно спотыкался, не зная, как свернуть с неё. И это продолжалось до того дня, когда перебрался к родителям и привёл себя в порядок.

В эти же дни договорился с начальником автоколонны, что доработает календарный месяц, хотя надо было бы сразу рассчитаться, чтобы не мелькать перед Ксенией и поскорее забыть её. Окончательно и навсегда. И Полину забыть, потому что дважды в одну воду не войдёшь. Теперь у него осталась только одна забота: сын! Вот кого он любил по-настоящему и ради него готов на всё. Эта внутренняя установка вывела его из недавней меланхолии, когда опускались руки от неопределённости, отсутствия хоть каких-то вестей о Павле.

Мотаясь по городу, Шурыгин постоянно отслеживал прохожих на тротуарах, на автобусных остановках, в иных людных местах, пытаясь не пропустить разноцветную куртку сына. Дважды обманывался. В одном случае оказался молоденький пацанчик, а в другом — кособокая старушка. «Тебе-то зачем молодой рядиться? — подумал он, чуть не поперхнувшись. — Модница выискалась, едрит твою в корень!» Но даже и эти случайные встречи не отбили охоту к поиску, и он превратился в механически озиравшегося робота.

В предпоследнюю смену перед увольнением он в поздний час возвращался в автоколонну и увидел на мосту через Сосну торопливого прохожего, в походке которого виделось много знакомого: левая рука прижата, а правая работала словно маятник. Такая походка была только у сына, только он мог так идти, словно загребая воздух. Вот только смутила непонятная одежда, казавшаяся в ночном освещении серо-грязного цвета, и высокая кепка, в каких прежде ходили старики. И всё-таки Шурыгин резко затормозил, заскользив по наледи, остановил машину, хотя на мостах запрещено останавливаться, и подбежал к шарahnувшемуся от него человеку.

— Стой же, стой! — отчаянно закричал Александр, узнав сына, еле догнав его и ухватив за широченную куртку. — Пашка, это я — твой отец!

Отдышавшись, Александр прижал сына к парапету, попытался посмотреть ему в глаза, но тот лишь отворачивался и вырывался. А когда, повернувшись, выкрикнул: «Отстань, всё равно домой не пойду!» — Шурыгин увидел, что у сына подбит левый глаз, и от этого стало ещё жальче его.

— погоди, не ерпенься! Не хочешь домой, поедem к бабушке! Ведь мы все ночи не спим, весь город по десять раз прочесали, а ты как растворился!

— В Липе неделю был, зря старались...

— Ну и чего в том Липецке забыл? Это там под раздачу попал и куртки лишился?

— Да... Пацаны местные бортанули.

Через силу, исподлобья косясь, Павел будто цедил слова, и Шурыгин не знал, как успокоить его, заговорить нормальным языком.

— Чего не звонил-то?

— Телефон отняли... Но даже если и не отняли бы, всё равно звонить не стал. Ты и мать — предатели. Оба бросили меня!

Неожиданно Павел вырвался и пустился наутёк, но бежал, неуклюже прихрамывая, поэтому остановился, почувствовав, что отец догоняет.

— Стой! — истерично выкрикнул сын, не подпуская его к себе. — Если подойдёшь, в реку сброшусь!

Угроза прозвучала так отчаянно, что Александра обожгла мысль: «А ведь действительно сбросится... Тогда всё...» И он замер в нескольких шагах, стараясь не провоцировать сына опрометчивым движением, успокоить его, понимая, что в этот момент всё может произойти от случайного неуклюжего слова.

— Ладно, не подойду, только выслушай меня... — Обиженно попросил Шурыгин и замялся. — Ты дуешься на нас, но это правильно лишь наполовину. О матери ты зря плохо подумал... К ней брат с женой приезжал из Украины — работу они искали, не нашли и дальше поехали. Вместо того чтобы поговорить и что-то выяснить, ты фыркнул, сделал по-своему... Ладно, у тебя на меня обида, но мать с бабушками и дедом причём? Или ты только о себе думаешь? Если считаешь, что такой безгрешный и умный, то продолжай скитаться, мне более нечего тебе сказать! — выкрикнул Александр срывающимся голосом.

Чувствуя, как от обиды глаза застилают слёзы, а более от своего неумения повлиять на сына, хоть как-то уговорить, он резко повернулся и пошёл к машине на ватных ногах, понимая, что проиграл, и не знал, что теперь делать. Хотел вернуться, ещё раз поговорить с сыном, убедить его, но почти у капота услышал сзади топот, оглянулся — а это Павел совсем рядом. Подбежал, ткнулся в грудь, а потом вздохнул и посмотрел в глаза, жалобно попросил:

— Прости, пап! Я всё понял! — и совсем по-детски заревел.

От его признания и слёз Шурыгин онемел, крепче прижал к себе сына и долго стоял с ним в обнимку, чувствуя, как он весь дрожит. Когда они более или менее успокоились, Шурыгин твёрдо сказал:

— Садись в машину, к матери отвезу! Хватит, набегался!

И сын покорно согласился, а Шурыгин всё ещё не верил в этот счастливый случай, когда всё разрешилось столь неожиданно просто.

Пока ехали, Павел во все глаза смотрел на отца. Хотел что-то сказать и не решался. Только у самого подъезда, когда Александр спросил: «Сам дойдёшь?» — он попросил:

— Пойдём вместе, пап, пожалуйста!

Александр замялся:

— Не могу. Я ведь теперь у родителей живу...

— Как хочешь, — не стал настаивать сын, укоризненно посмотрев. — Всё равно спасибо, что нашёл меня!

Он, оглядываясь, направился к подъезду, а Шурыгин смотрел ему вслед, всё ещё переживая и волнуясь. Но вот Павел у двери остановился и быстро вернулся, твёрдо сказал в открытое окно, как приказал:

— Пошли, тебе говорю! Я мамке всё объясню. Она поймёт — вот увидишь!

— Как же это... — растерялся Александр, не ожидая от сына такого напора, и засомневался в себе, но лишь на малое время; тотчас душа его распустилась, и он не посмел послушаться, радуясь за Павла, за себя и за тех людей, кто в этот поздний час возвращался с окольных дорог.

ПЕРВАЯ КНИГА



Имя поэта Надежды Лисогорской давно известно в Коломне по публикациям подборок её стихотворений в «Коломенском альманахе». Недаром, свою первую поэтическую книжку — «Переживай, волнуйся и твори» — она решила издать на коломенской земле.

Строки стихов Надежды Лисогорской — то как звонкие льдинки, вбирающие яркий солнечный свет, то как паутины осени, серебристо летящие над притихшей, прибранной к покою земле:

В строфах поэта журчат ручьи, птицы оживляют их своими такими разными голосами:

Автор тонко чувствует природу восторженной душой, любит её во все времена года и стремится донести до читателя вечно меняющуюся её красоту.

Сборник стихов Надежды Лисогорской дарит читателям цветомузыку Природы как Любви и Любви как Природы.

Поэтическое слово автора самобытно, в нём слышится запечатлённый первородный смысл. Дух её поэзии вдохновлён прежде всего восприятием русского пейзажа в его тонких, почти неизъяснимых проявлениях. В трудные моменты жизни природа приходит на помощь человеку, прибавляет ему силы, учит уму-разуму...

Много строчек посвящено любви, возвышенной и тревожной.

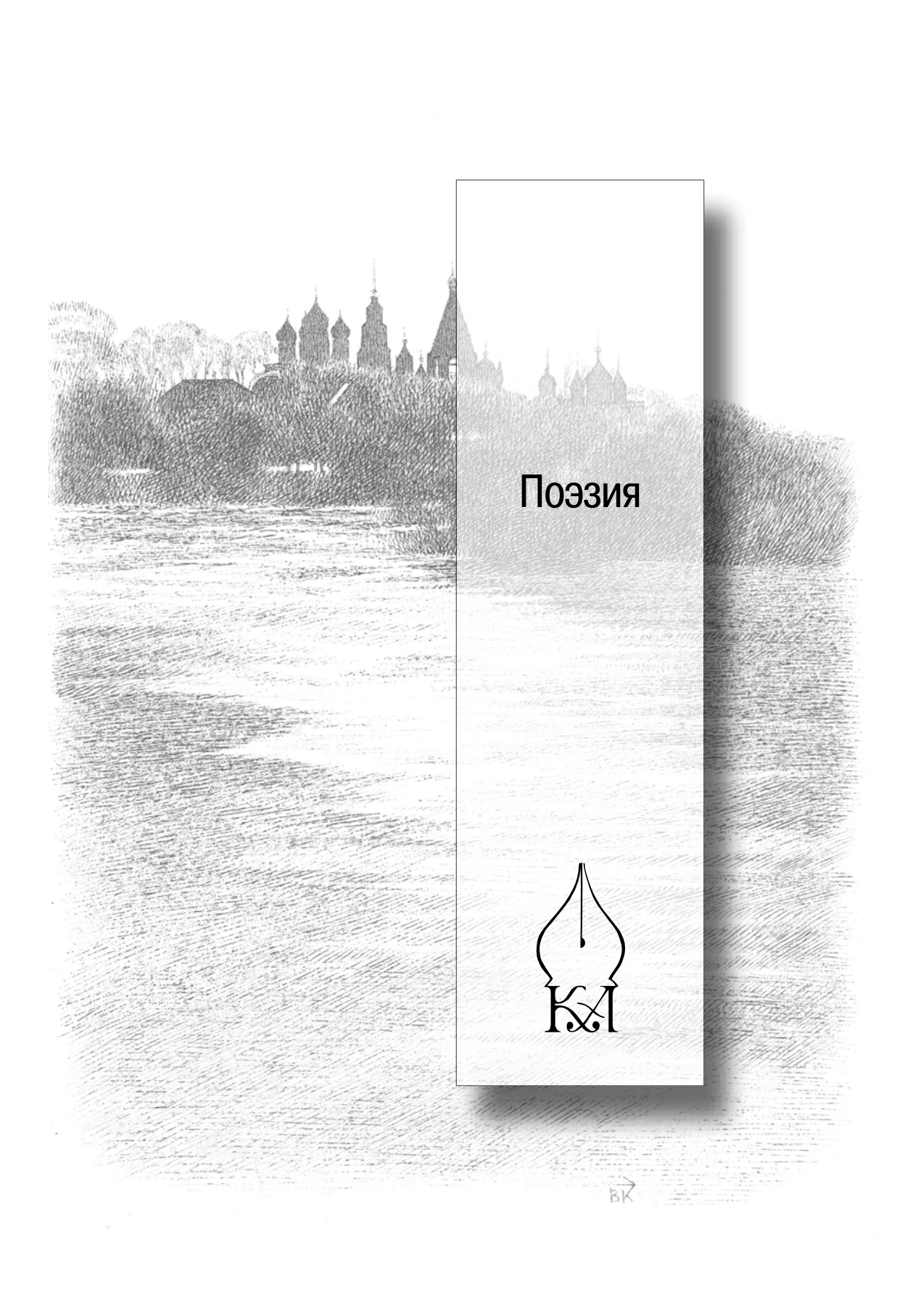
Лирический тон стихотворений поэта звучит как признание в любви не только к избранному человеку, но и ко всему миру, в котором автор старается видеть и передать поэтической строкой его светлые стороны.

Проникновенные строчки стихов Надежды Лисогорской посвящены городу Коломне и художникам коломенской земли Михаилу Абакумову, Владиславу Татаринovu.

Увлекательны рассказы о путешествиях, дальних неведомых странах, но любовь к Родине особенно волнует душу поэта.

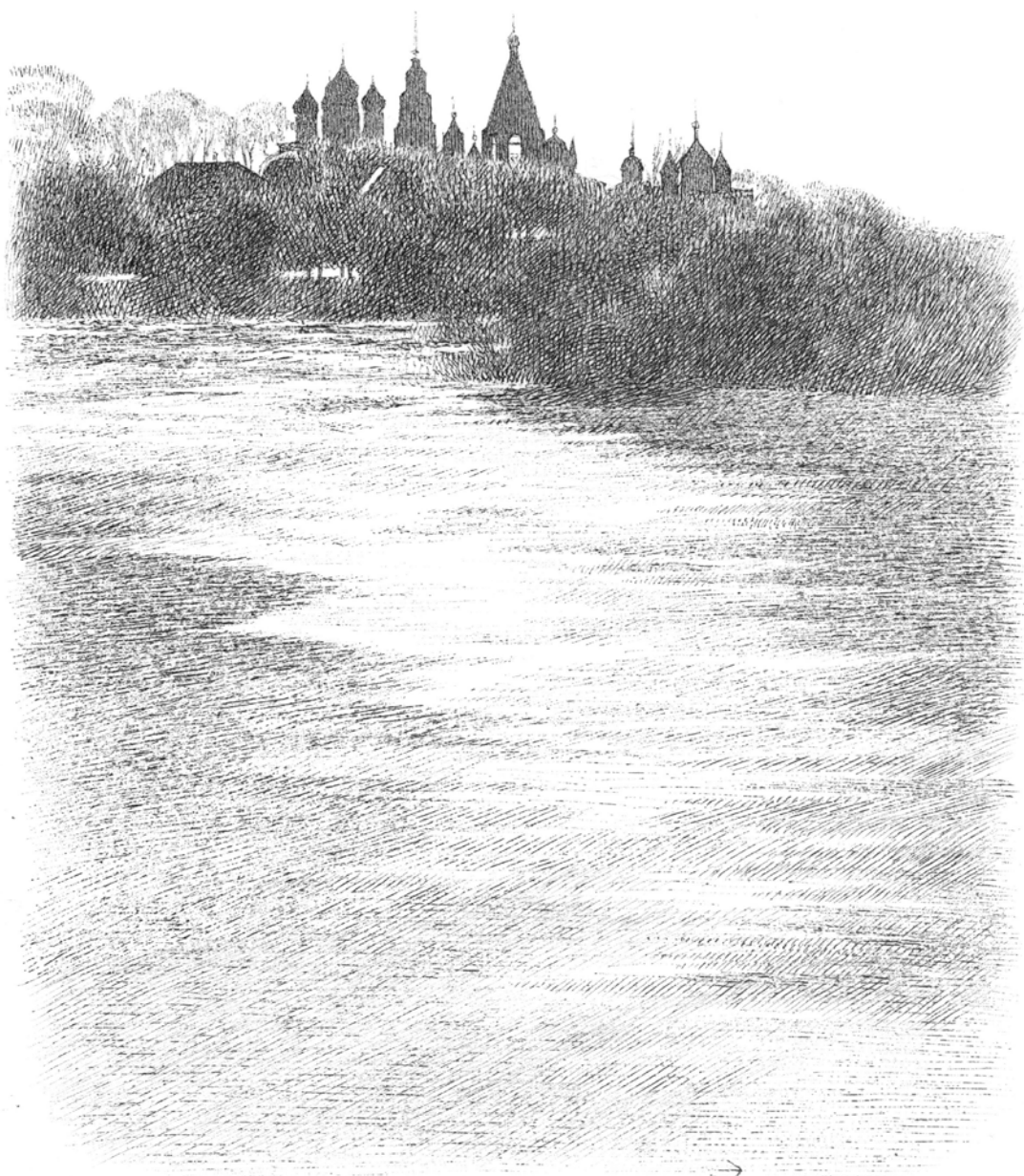
Просто и искренне умеет передать поэтесса чувства и ощущения, волнующие её, а это — уже многое значит.

Пожелаем новой книге доброго пути к читателям, а автору — радости творчества, творческого вдохновения и удачи.



Поэзия





Графика Василины Королёвой

ВК



Роман Вадимович Славацкий — потомственный коломенец, родился в 1957 году. Профессиональный писатель, автор десятков книг поэзии, художественной и документальной прозы. Заместитель главного редактора «Коломенского альманаха».

Создатель новой канонической формы — «коломенского сонета». По книге Славацкого «Тёмная леди» коломенским театром PASTILA была подготовлена фантастической красоты композиция. Под впечатлением этой постановки и создан публикуемый ныне цикл.

КОРАБЛЬ

Посвящается театру PASTILA

СТРОЙКА

Игорю Ролдугину

Шекспировская страсть — нести поклажу странствий!
«Пора, мой друг, пора!» — на сердце непокой:
пора тесать каркас, тащить на склады снасти
и грезить по ночам над картою морской!

Пора, как древле — Ной, тянуть бревно Ковчега,
оставя груз греха у брошенного берега!

Как ветер, бородат наш мастер вдохновенный,
как старый Посейдон, он щурится с верхов:
и, вещий корабел, сшивает остов сцены,
тревожа молотком шпангоуты стихов.

Шекспировская страсть — саднящие сонеты,
занозы на руках — актёрства и любви!..
...Корабль уже готов, и слышен зов Завета —
из Книги Бытия библейское: «Плыви!»

БУРЯ

Людмиле Ролдугиной

А ну-ка, по местам, похмельная команда!
Не время в глубине в углах валяться в ряд!
Легла на горизонт коварная громада,
и буря по бортам срывает якоря,

и стонут на снастях шекспировские рифмы,
и ветер тащит нас на каменные рифы!

Как трагик в кабаке, стихия размахалась,
но правит паруса лихой актёр-мастак!
И словно Сам Господь преобразает хаос
в таинственный спектакль, летящий на маяк...

И в перекрестьях реи огни стихотворений
с неторной темнотой ведут упорный спор.
...И, точно гордый конь, в бурлении и пене
торжественный ковчег победно входит в порт.

96

NOX

Дмитрию Салтанову

Едва волна в ночи убавит ярость —
богиня Нокс отправится во мрак;
расправит небосвод расшитый парус,
Селена разожжёт сигнальный знак.

Богиня Нокс! — узорная причёска,
брильянтами украшенная броско!

Богиня! — над морскойю чёрной ширью
с какой-то непонятною тоской
она в безумье грезит о Шекспире
и призрака приветствует рукой.

Как статуя резная за бушпритом,
среди морских видений и примет,
она летит — языческой молитвой,
а мы, немые, — смотрим ей вослед.

СИРЕНА

Екатерине Ширяевой

У коварных мелей поют сирены —
луноликие девы с когтями грифа,
и команды манят, влекут на рифы,
обрекая лодьи пучине бренной.

Затопил побережье прибой сирени,
затаил акрополь шипенье мифа;
ненавязчиво, нежно, легко и тихо
упоительным ядом струятся вены.

Ну, гребцы, запечатайте воском уши,
сохраните от смерти слепые души,
только мне оставьте моё безумье!

Пусть услышу, прикован цепями к мачте,
как в Невидимом Граде поёт и плачет
этот голос, манящий в коварном шуме!

ПРИСТАНЬ

Сергею Ганину

Не зря Борей бугрился духом бури,
не зря струился струнами снастей
и вдруг остановился, лик понурия,
на каменной коломенской версте! —

волшебная готическая гавань
укрыла бриг, потрёпанный и бравый...

Команда сходит с пьяною отрадой
в душистый плен — дыханье диких роз;
узорный вертоград немого града
кладёт к ногам узлы плетистых лоз.

С улыбкой шепчут пепельные тени
в садах кремля шекспировской строкой;
и манит сетью демон Возрожденья
с причала — в заколдованный покой!

ПОЛЁТ

Елене Дмитриевой

Сквозь дождь и солнце — воздух Вознесенья
несёт на крыльях горечь тополей,
и, словно чайку, светлое веселье
стремит навстречу небу и земле.

Обрывки тучи рвутся, точно знамя,
над морем, над зелёными волнами!

И сцена — в нетях летнего наряда —
взрезает, словно плот, зелёный прах;
на звонком ветре — светлая наяда
смеётся и танцует на волнах.

Сквозь дождь и солнце, шорохи и звёзды,
похожая на лёгкие цветы,
она взлетает — брошенную розой —
и замирает, в воздухе застыв!

ТЁМНАЯ ЛЕДИ

Екатерине Карпузкиной

Пока Шекспир, как будто хитрый вождь,
сокрыт за рукописной смурой грудой,
его — живого — вряд ли ты найдёшь
под стылою столетнею остудой.

И только тени водят хоровод,
мешая в нём: исток и перевод.

И лишь художник знает до конца,
какая это страшная морока —
кроить, как будто платье для венца,
обрывки Ренессанса и Барокко.

Но вот — на грани каменных эпох —
волшебною рукою отогретый,
рождается живой и жгучий вздох
из тёмной книги горестных сонетов!

КУКЛЫ

Срджану Симичу

Мы — куклы богов, как сказал однажды
герой в платоновском диалоге;
и грезит сердце напрасной жаждой,
коль судят *У*часть не люди — боги!

Судьбу решают, метнув монетку,
а мы — всего лишь марионетки.

И только тени в тиши театра
пути укажут в туман бессмертья,
пройдут в *Э*лизий дорогой краткой
меж вязкой хлябью и зыбкой твердью.

Небесной Сербией веет воздух,
коварной Англией льются воды...
И мудрой кукле не нужен отдых
в руках Бессмертного Кукловода.

ШУТ

Илье Федосееву

О шутство́во слепоты любовной
кляпы невысказанного актёрства!
Злая горячка и пульс неровный
рвутся наружу слезой нестертой.

Вешняя зелень — цветы Коломны —
станут невыкошенной соломой;

станет насмешкой — любовь мальчишки,
станут страницы — золой горячей,
свалются на пол сердца и книжки
под башмаки колдовской гордячке.

Счастье развеется дымом смирны,
высохнет влагой на звонком зное
и упадёт на ладонь Шекспира
каменную слезою.

КОРОЛЬ

Василию Культину

На грани моря — сумрачный трактир
скрыпит и ловит ветер похоронный.
А у дверей стучит безумный Лир,
увенчанный картонною короной;

живым и мёртвым не даёт покоя —
в худом плаще и с флейтой шутовскою!

К чему в чужой ночи — неверный свет?
— В случайности — сквозит Первопричина:
предстанет вещим Смыслом — вечный бред
и Образом — актёрская личина!

Что делать!.. Принимай учёный вид,
трактирщик! Эля пенного налей ты
и жди, когда нам в окна постучит
король безумный с нищенскою флейтой.

МЕЛОДИЯ

Татьяне Семаевой

Такая нынче тишь, такой простор! —
лишь Время серебрится звёздной пылью...
Но поднимает руки дирижёр
и простирает их, как будто крылья,

и вот уже мелодия летит
дыханием видений и молитв!

Лети, лети, бесценная слеза,
певучими, бесплотными дарами!
О, как молчит сегодня старый зал!
такая тишина — как будто в храме...

Кружится мир, грохочет и гнетёт,
что остаётся в этом тщетном зыке?
Лишь тихий взмах — и медленный полёт,
и этот вздох — не музыки — музыки!

ВИНО

Антону Чехову

Дыханье тополя и трав —
июня жаркая растрата
стекает, запахи собрав,
к видению летнего театра.

И ты хмелеешь, поражён
лихим актёрским куражом!

Шампанского кипящий бег
струится сердцу на потребу;
и не поймёшь — откуда снег
летит — с деревьев или с неба.

Шипит игристое вино
в бокале — влагою морозной!
...И вьётся лёгкой пеленой
июньский вечер — вечер звёздный!

ДРУГ

Дмитрию Пархоменко

«Горацио, есть множество вещей,
что даже мудрецам чудны и чужды;
и среди них — воспетая вотще
доверием пронизанная дружба.

За друга ты готов сойти во Тьму,
ты жизнию доверился ему;

а между тем — любовная тоска
куда сильнее верности и чести:
сама собою крадется рука
к чужой сестре, подруге иль невесте...

В устах пылает сладостный недуг —
отравленный настой грехопадения!
...Столетия спустя — приснится Друг,
пройдя в ночи предательскою тенью».

ПЕРЕОДЕВАНИЕ

Светлане Коноваловой

Трюмы театра! — и словно в пиратских робах
бродят актёры, обряжены в пёстром платье;
волны ладонями плещут, мгновенья тратя,
в море солёном гудит корабля утроба.

Пьяница-ветер взывает: Сыграем, братья!
В сердце вскипает брагой любви хвороба;
тени ролей под палубой плачут, чтобы
кто-то однажды взял, да решил сыграть их.

Но костюмер искусный способен в трюмах
этой толпе теней подыскать костюмы,
чтобы подсказки платья удобней слушать,

чтобы, на париках поправляя букли,
старый покров расправить — ожившей куклой,
чтобы вложить в личину — живую душу!

102

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

А. Б. В.

Не зря старинный стих пленяет нас,
как в хлебе на столе — горчинка тмина,
как странный спиритический сеанс
в готической гостиной у камина.

Казалось бы — что толку хлопотать,
ища чужую грацию и стать?

И всё же — бродит аглицкая речь,
чужой закваской сбраживая млеко...
И будет смех, и слёзы будут течь,
как в Англии — тому четыре века.

И сальная свеча горит, как встарь,
и утром не погаснет — уж поверьте!
...И чья-то тень неслышно сбросит гарь
на старый стол — в печальное бессмертье.

ЛОЦИЯ

Наталии Павловой

Коломна — лодка! Тяжёлый лот
давно потерян в глубли Посада...
И Время, точно Чеширский кот,
с ухмылкой таращится из засады:

пора отправиться в тайный путь,
со старой лощии пыль стряхнуть!

Зовёт и манит подводный звон,
на скалах башен, гляди-ка, эвон —
взлетела в небо орда ворон;
и плещет улица, будто Эйвон...

Играют призраки-моряки,
туман глотая, густой и вязкий.
И веет Англией от реки,
и пахнет «Бурей» и «Зимней сказкой»!

ЛИРИКА

Олегу Федотову

Не драмы и не лировские лимрики
украсят наш прославленный корабль.
Мой добрый дальний друг! — «немного лирики»
сойдёт, как на фуражку — старый «краб».

И мы, увидев «краба», скажем: «Здрасьте!»
таинственным стихам и горькой страсти.

Немного сна и магии немного,
немного зла и нежности чуть-чуть
отправят нас на зыбкую дорогу —
пропитанный морскою солью путь.

Сонеты бьют о каменные склоны,
слегка смешав Иллирию и Крым;
и кажется астральная Коломна
древнее, чем Британия и Рим!

ПРИБОЙ

Наталье Степановой

«Суровый Дант» не брезговал сонетом,
пока он был ещё не столь суров.
Другое дело — злой «творец МакБета»,
загадочный знаток солёных слов.

Почто, скажи, душа моя Наташа,
такая в голове Шекспира — каша?

Зачем под старость праздновать романы,
тянуть любви золоченую нить,
хвалить Подругу — страстно, непрестанно,
чтобы потом — её же — костерить?

Стихи повиты пылью, точно тальком,
и смяты в ком насмешницей Судьбой.
...А море — бьёт о брег английской галькой,
и стонет вновь шекспировский прибой.

104

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

ПАРУС

Борису Архипцеву

Груз переводчика — отвага,
и путь его — неповторим.
Видать, не зря смекнул Живаго,
сказав, что старость — это Рим.

Сюда выходят все дороги
через проливы и пороги.

Но всё же — что такое — Старость?
Холодной опытности сеть?
Простёртый в море чёрный парус,
что поменять забыл Тесей?

Так пусть придут стихи — из мрака,
сквозь речи тёмные места
и у Коломны бросит якорь
британский старый капитан!

ЖАВОРОНОК

Ирине Ивановой

На мачте треплет ветер старый флаг,
пронзая синеву Отчизны нашей;
и бродят лодьи — «в греки из варяг»,
и лёгким йодом тянет от Ламанша.

И не понять в разноязыких спорах —
куда плывёт шиповниковый Город!

Откуда он? И где его причал?
И как попал из Стрэтфорда в Верону?
И кто славянский город увенчал
узорчатой латинскою короной?

Но в воздухе развеялся ответ;
и реет в наше небо вознесённый
взъерошенный, порывистый сонет
над полем русским, словно жаворонок!

ЭКСКУРСИЯ

Татьяне Стукниной

Тысяча шестьсот шестнадцатый —
двадцать третьего апреля...
Вроде надо попрощаться бы
среди жухлой вешней прели.

Только вновь цветёт и ширится
жизнь под цифрою ЧЕТЫРЕСТА!

Зыбится цветами розными
кремль, шиповником одетый —
у Собора бьются розами
Йорки и Плантагенеты.

Мы пройдемся вместе с Танею,
как дорожкой ковровой —
от шекспировской Британии
до ахматовской Коломны.

ЗАНАВЕС

Моим друзьям

Игривым сидром пьеса отошла,
но занавес Коломне не положен.
Театр с названием странным: PASTILA
провинциальный вечер растревожил.

Плывёт по морю сказочный кораблик —
коломенский акцент французских яблок.

О сладости Руси! О русский сад!
Но тени иноземные теснятся,
плащи взвивая, словно паруса,
в собрании посадских декораций.

Безмолвный мир меняет естество,
идёт корабль в объятья Зодиака,
и укрывает палубу его
медлительный и мягкий бархат мрака.

106

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

ПЕСНИ

Наталье Маркеловой

Какие светлые напевы,
какая трепетная нежность!
Поют неведомые девы
вдоль ив, у зарослей прибрежных,

и вторят голосу русалок
кремля загадочные скалы...

Когда венки плывут по водам
и в них отсвечивают свечи —
какая странная свобода
звучит в напевах наших речек!

Их тайный голос — неизвестен,
и ты, робея, видишь, словно
плывёт среди цветов и песен
туманная ладья Коломны.

КОРАБЛЬ

*Мастер бороду корябал
и смущённо замечал,
что Коломна, как корабль,
покидает свой причал.*

Михаил Мещеряков

Хоть пристань ковыряй тяжёлым ломом,
хоть стой столбом, хоть бороду чеши —
отчаливает Старая Коломна
в закатной заколдованной тиши!

Какая-то безмерная нелепость:
уходит бронированная крепость!..

Куда она? — скажи, умелый мастер,
узнай, к чему направлен тайный путь,
заклей стиха разрозненные части,
сочти Судьбы пророческую суть!

Но певческий талант, увы, неволен —
уходит Город в небо от земли;
и каменные мачты колоколен
сквозь сумерки рисуются вдали...

НАШ ВЕРГИЛИЙ

Две тысячи лет назад, 21 сентября 19 года, за 11 дней до октябрьских календ, в консульство Гнея Сентия и Квинта Лукреция, в порту Брундисий оставил земной мир величайший поэт Рима — **ПУБЛИЙ ВЕРГИЛИЙ МАРОН**.

Друг императора Августа и покровителя искусств Гая Цильния Мецената, вместе с другими знаменитыми поэтами он открыл золотой век римской литературы. Слава его пережила века. Вергилия почитали даже после падения Римской империи. Христиане видели в нём великого пророка, предсказавшего явление Христа.

Его тень сопровождала Данте Алигьери в странствии по кругам Ада. Его труды положены в основу европейской литературы.

Удивительным образом и Коломенский край затронут славой великого поэта.

В Черкизове переводил его поэмы: «Буколики» и «Георгики» Сергей Шервинский. Латинского гения поминала в стихах Анна Ахматова, наша гостья. Михаил Лозинский заканчивал здесь работу над «Божественной комедией».

И нашего края коснулась слава Марона!

ПУБЛИЙ ВЕРГИЛИЙ МАРОН

*Каждый восхвалит с восторгом — друзья ли, враги ли, —
отполированным мрамором скроенный слог,
что из красивейших свитков возвысил Вергилий,
точно великого Августа гордый чертог.*

*Ныне твой огненный вздох не исчезнет в могиле,
ныне — прозрачное слово — бессмертья залог.
Бронзовой урне, наполненной пеплом и пылью,
не удержат многозвучия мраморных строк!*

*Слово летит над вселенной, над временем рея,
И повторяет российская Гиперборея
Рима и Мантуи ласковый сладостный лад.*

*Милой латынью исчерчено русское поле,
и откликаются нежные строки Буколик
тёплым домашним мычаньем черкизовских стад.*

Роман Славацкий

Виктор Кирюшин



Кирюшин Виктор Фёдорович родился в 1953 году в Брянске. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. Поэт, публицист, издатель.

Стихи публиковались в журналах «Москва», «Континент», «Смена», «Наши современники», «Поэзия», «Сибирские огни», «Подъём», альманахе «День поэзии», антологиях «Венок славы», «Русская поэзия: XX век», «Русская поэзия: XXI век». Автор сборников стихотворений «Стезя», «Чередованье тьмы и света», «Накануне снега и любви».

Лауреат премии Ленинского комсомола в области литературы и искусства. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Проживает в Москве.

ПОБУДЬ СО МНОЮ, ТИШИНА!

* * *

На Руси предзимье.
Порыжело
В ожиданье первого снежка
Вымокшее поле возле Ржева,
Луговина около Торжка.

На венцах колодезного сруба
Смыта влагой летняя пыльца.
Ветрено в дубравах Стародуба,
Изморозь на куполах Ельца.

Киновари досыта и сини,
Тронутой летучим серебром,
В тихой роще около Медыни,
В родниковом озере у Кром.

Как царевна юная наивна,
В небе пышнотелая луна,
А под ней Коломна
И Крапивна,
Нерехта, Кириллов, Балахна...

Примеряют белые одежды
Улочки, бегущие к реке.
Ангелы тревоги и надежды
Неразлучны в каждом городке.

Свят покров над пажитью и пущей.
Шепчут губы: «Господи, спаси!»
Что нам обещает день грядущий?
Холодно.
Предзимье на Руси.

ДОРОГА

А путь туда нескладный да безрельсовый:
Беда, коль дождь нагрянет проливной!
Старается, пыхтит автобус рейсовый,
Качаясь, будто пьяница в пивной.

Намаешься, но к пункту назначения
Особо торопиться не с руки,
Пока несёт,
Баюкает течение
День ото дня мелеющей реки.

Пусть на удачу грех уже надеяться,
Когда минуешь самый дальний плёс,
Но над обрывом вспыхнувшее деревце
Вдруг отчего-то станет жаль до слёз.

Ах, жизнь моя, полова да окалина,
Небесконечных дней веретено...
Вот деревце —
От века неприкаянно,
Вот я стою,
Такой же, как оно.

ЗИМНЯЯ РЕКА

Даже ворон не крикнет. Откуда?
И полозья не скрипнут. Куда?
Комариного звонкого гуда
Не осталось давно и следа.

Только стужа ворчит, матеря,
Да метелица путает след,
Вместо жаркого цвета кипрея
Рассыпая серебряный цвет.

Где трепещет сухая осока,
Обнажённая стонет ветла —
Гулом крови,
Движением сока
Жизнь как будто недавно была.

А теперь, словно в доме без окон,
В этой чёрной воде подо льдом
Затаился воинственный окунь,
Дремлют чуткая щука и сом.

Ходит солнце по низкому кругу,
Гаснут стылые дни вдалеке,
Чтобы снова по кроткому лугу
Вышла цапля к ожившей реке.

Это дерево знает и птица,
И вода понимает,
И твердь:
Можно заново будет родиться,
Если только рискнёшь умереть.

ГЕРАНЬ

Памяти мамы Серафимы Никитичны

И всё же рай не за горами,
Как нам порою говорят,
А там, где мамины герани
На подоконниках горят.

Сентиментальностью и грустью,
И беззащитностью пьяня,
Цветок российских захолустий,
Ты вновь приветствуешь меня.

Таится серое предместье,
В тумане улица и храм,
А ты пылаешь в перекрестье
Дождями выбеленных рам.

Картинка северного лета
На краски яркие бедна,
Но столько нежности и света
Идёт от этого окна!

Так вот он, рай,
Не за горами
И лучше същется навряд,
Покуда мамины герани
На подоконниках горят.

* * *

Ночью проснулся от крика,
Мучило: был он иль нет?
Лишь перевозданно
И дико
Лунный колышется свет.

Свет неземного накала
В небе,
На белой стене.
Ты ли меня окликала
Или почудилось мне?

Снова из тьмы законной
Луч этот вырвал на миг
Твой беспечальный,
Исконный,
Незабываемый лик.

Между былым и грядущим
Не отыскать рубежа,
В непостижимом и сущем
Вновь заплутала душа.

Чтобы в немислимом свете,
Там, среди звёзд и комет,
Мучиться и не ответить:
Были мы в мире иль нет?

МЫ ОСТАЁМЯ

Тянемся взглядом за стаей гусиной,
Но остаёмся с тобою, река,
С этой пылающей
Горькой осиною,
С полем, ещё не остывшим пока.

С этим просёлком, где вязнут машины
И безнадёжно гудят провода,

С рощей, глухими дождями прошитой,
В блёстках мерцающих первого льда.

Мы остаёмся,
Не в силах расстаться
С небом, где ранняя зреет звезда,
С непроницаемым сумраком станций,
Мимо которых летят поезда.

Мы остаёмся,
Где веси и хляби,
В нужды и беды уйдя с головой,
Под нескончаемый
Жалостно-бабий
Русской метели космический вой.

Что же нас держит?
Вопрос без ответа...
Просто в душе понимает любой:
Только на этом вот краешке света
Мы остаёмся самими собой.

* * *

Побудь со мною, тишина!
Давно искал я этой встречи.
От праздной человеческой речи
Душа остывшая темна.
Побудь со мною, тишина.

Лишь на мгновенье отреси
От нескончаемого быта.
Какая музыка в тиши
От сердца суетного скрыта!
Лишь на мгновенье отреси...

Судьбой добытые слова
Растают в небе легче дыма,
Поскольку жизнь неизъяснима
И в пепел обращать права
Судьбой добытые слова.

Молчат высокие леса.
Безмолвны медленные реки,
Чтобы могли мы в кои веки
Ушедших слышать голоса.
Молчат высокие леса.

Побудь со мною, тишина!
Моё проклятье и спасенье,
Раскаянье и воскресенье,
И оправданье, и вина,
Побудь со мною, тишина.

* * *

Леса одеты в рыжий мех,
В огонь, прозрачный и летучий.
Уже без солнечных прорех
Неповоротливые тучи.

Дрожат заречные огни
Живою строчкой многоточий.
Чем быстротечней гаснут дни,
Тем нескончаемее ночи.

Уснули стывлые ветра,
Лишь тьма колышется сырая...
Глаз не смыкаешь до утра,
По крохам жизнь перебирая.

Неверной памяти вино
Отравит горечью былого,
И отболевшее давно
Вдруг обожжёт до боли снова.

Встречая осень у крыльца,
Поймёшь, печальный и смущённый,
Как прост был замысел Творца,
Тобой ни в чём не воплощённый.

* * *

Хорошо быть дающим,
труднее — просящим.
Вот бы жить научиться
с душою в ладу!
Собираю грибы
под дождём морозящим,
словно рыжее солнце
в корзину кладу.

Хорошо полюбить
и уже не расстаться
до конца, до предела
пути и судьбы.
Сколько будет ещё
эта книга листаться?
Я не знаю...
Хожу, собираю грибы.

От земли до небес
перелески да чащи,
огнеликих рябин
верстовые столбы.
Что на свете ещё
горше жизни и слаще?
Я не знаю...
Хожу, собираю грибы.

ПОЕЗДКА

Сухие старческие плечи,
Морщин кривые колеи.
«Садитесь, это недалеко,
Тут на сто вёрст кругом свои».

И мы поехали,
И плыли
За нами следом
До поры
Густые клубы рыжей пыли,
Как бесконечные миры.

Цвела июньская картошка,
Гудели в клевере шмели,
И товарняк-сороконожка
Полз, еле видимый, вдали.

Кладбища тёмная ограда
Вдруг проплыла передо мной,
Но в этом не было разлада
С наивной прелестью земной.

И долго помнилось мгновенье,
Когда в полуденной тиши
Впервые
Умиротворенье
Коснулось суетной души.

* * *

Мне столько в жизни выпало любви!
Ту речку вспоминаю и поныне,
Где молнией мерцали голавли
В предутреннем тумане
На стремнине.

Стоял июнь,
Цвели вокруг луга,
К воде клонились сумрачные ели...
Потом иные были берега,
Водовороты, омуты и мели.

Мир превращений и метаморфоз
Слепил, да так — мороз бежал по коже.
Но голубые крылышки стрекоз
Мне всех чудес невыслышимых дороже.

Жизнь, как река —
Внезапна и быстра.
А был ли счастлив я на самом деле?
Лишь только там,
У тихого костра,
Среди земли,
Как будто в колыбели.

* * *

Индевеют лодки на приколе.
Гол и светел краснотала куст.
За рекою конь в остывшем поле
Чутко осень пробует на вкус.

Он травы касается губами,
И в глазах от жёлтого рябит.
Стылый ветер, пахнувший грибами,
Как ребёнок, гриву тербит.

Вестниками скорого мороза
Листья вдаль уносятся, шурша.
Мужики стоят у перевоза
И в молчанье курят не спеша.

В час, когда на белом свете сирю,
Мучит тайна каждого своя:
Одного — непостижимость мира,
А другого — краткость бытия.

ДВА БОКАЛА

Матовый, как будто вполнакала,
Зимний день растает за окном.
Ты на стол поставишь два бокала
С терпким настоявшимся вином.

По глотку,
До головокруженья,
Посреди вселенской пустоты
Будем пить за наше поражение,
Словно за удачу,
Я и ты.

Звон хрустальный тает моментально,
Нет ни капли истины в вине.
Всё равно ты остаёшься тайной,
Так и не разгаданной вполне.

Безоглядной нежностью сражая,
В миг, когда из горла рвётся стон,
Близкая
И всё-таки чужая,
Скоро позабудешься, как сон,

Как вот это солнце вполнакала
В зимнем неоттаявшем окне,
Как вино из тёмного бокала,
Душу отравляющее мне.

* * *

Ты позвони,
Я брошу свой шесток.
Вокзал, перрон...
Какие наши годы!
Согреет душу солнечный глоток
Санкт-Петербургской сумрачной погоды.

Приеду,
Виноватый без вины,
И вдруг пойму над невскими волнами:
Ещё не все мосты разведены,
Тем более не сожжены меж нами.

Невозмутимо холоден гранит,
А век летит,
Стремительный, как росчерк.

Мы будем жить!
Пусть повременит
На переправе хмурый перевозчик.

Рука в руке
И вечность про запас —
Две искорки в горячей звёздной пыли...
Когда-нибудь легко забудут нас,
И всё-таки мы были, были, были!

СНЕГИРЬ

Не копи ни обиды, ни страха
На пути к неземному суду...
Вновь снегирь, беспечальная птаха,
Поселился в январском саду.

По тебе я соскучился за год,
Угощаю, чем только могу, —
От звенящих рубиновых ягод
До семян золотых на снегу.

Оскудевшего неба кольчуга.
Затяжное ненастье грядёт...
Ничего, перетерпим, пичуга.
Всё проходит, и это пройдёт.

Я, конечно, неволить не буду,
Только ты не спеши улетать.
Хорошо мне с тобой, красногрудый,
Эти стальные дни коротать.

Научи одержимости взмаха,
Безоглядной свободе крыла,
Чтобы жизнь без унынья и страха
Шла вперёд,
Убывала,
Была!



Владимир Геннадьевич Дагуров родился в 1940 году в городе Нальчике. Окончил Свердловский медицинский институт. Кандидат медицинских наук. Потом переехал в Москву, поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького и сделал выбор в пользу литературного творчества.

Автор свыше 20 книг стихов, повести «Сокрушение Храма», книги рассказов «Небо на асфальте». Лирические стихи его вошли в антологию поэзии XX века и в итоговую антологию «Русские поэты XX века». На его тексты написаны многие эстрадные песни.

Умер 22 октября 2018 года.

КАК ХОРОШО, ЧТО НАСТУПАЕТ УТРО

ПЕСНЯ РУССКАЯ

Песня русская — вольному воля! —
в небесах золотой журавель.

Песня русская — чистое поле,
белогривая вьюга-метель.
В ней судьба человечья клокочет.
В ней слеза, и улыбка, и крик —
светит месяц,

гремит колокольчик,
тройка мчится
и гибнет ямщик.

Песня русская —
что ж ты за чудо! —
соловьиное соло в тиши.

Если душу не трогает чью-то,
значит, нет в человеке души.

Песнь протяжная,
словно дорога,
словно матушка Волга-река —
и приходит к тебе издалёка,
и уходит с тобою в века.

ТРАВА-МУРАВА

На заре кукарекает кочет,
и тропинка несёт муравья,
и на Сенькином луге щекочет
босы ноги трава-мурава.

Мне трава-мурава шелестела,
материнское пела «баю»,
принимала усталое тело
в шелковистую зыбку свою.

А земля забирала усталость,
снова делая богатырём.
Приближалось, потом удалялось
бело облако за окоём.

Сладко спал я на том солнцепёке,
сенокосные кончив труды.
Долго-долго потом мои щёки
сохраняли рисунок травы.

Никуда от неё мне не деться —
в ней спасенье от суеты.
От травы-муравы и на сердце
остаются, похоже, следы.

Цвет муравушки неистребимой
с цветом жизни в коротком родстве,
и счастливый лежал я с любимой
всё на той же траве-мураве.

Потому шелестит, не смолкая,
в пересверках рассветной росы
та трава-мурава луговая —
шелковистое платье Руси!

ЖУРАВЛИ

Глядели мы из-под ладони:
в необозримой синеве,
неся на крыльях молодое
и очень древнее в себе,
полны осенней,
безглагольной
тоски, раздолья и любви
над позабытой колокольней,
курлыча, плыли журавли.

И так рыдала —
не грустила —
их журавлиная душа!
И было,
чёрт возьми,
красиво,
и мы следили не дыша,
как крылья золотом искрились
в багряном мареве зари...
Но вот погасли вдруг
и скрылись
за краем вспаханной земли.
А мы молчали от восторга
и словно что-то берегли,
и вдаль глядели долго-долго,
как будто видеть их могли...

* * *

Вот сижу над тетрадкой в полночь.
Может, кто погибает с тоски...
Я хочу, чтоб, как «скорая помощь»,
к человеку спешили стихи.

Чтоб, светясь добротой и лукавством,
каждый мною написанный стих
был бы лучшим на свете лекарством
от сердечных болезней людских.

Чтобы люди стихи мои слушали,
а потом, повторяя в тиши,
забывали несчастные случаи
потерпевшей крушение души.

И возможно, когда-нибудь в Будущем,
если кто заболит с тоски,
он войдёт в телефонную будочку,
позвонит и услышит — стихи!

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Как хорошо, что наступает утро,
когда прохлада вышибает хмель,
когда я, как младенец, целомудрен
и бред ночной за тридевять земель.

Как хорошо, что наступает утро,
когда ещё не лживы зеркала
и женщина без крема и без пудры
самой себе и мне не солгала.

Как хорошо, что наступает утро,
когда душа безжалостно трезва,
и потому в ней возникает смута
за все лжепоцелуи, лжеслова.

Как хорошо, что наступает утро,
когда над нами нет слепой ночи
и солнце ослепительно и мудро
приказывает: «Снова жить начни!»

РЯБИНА

В Москве на всю районную округу —
одна рябина под моим окном.
В её зелёной кроне вижу вьюгу,
пылающую ягодным огнём.

Она глядит в упор неугасимо,
как совесть милой родины моей,
как будто мать, наведавшая сына, —
и я дрожу, как грешник, перед ней:

за то, что нарушал её заветы,
за то, что не был твёрдым, как гранит...
Слаб человек, но всё ж частицу света,
завещанную родиной, хранит.

Прости меня, что был я недостоин
рябинового чистого огня,
но я в стихах был одинокий воин,
и есть одна отрада у меня:

пускай расстанусь с другом и с любимой,
но с вольным ветром постучит в стекло
родимая уральская рябина —
и станет на душе моей светло!

РАЗГОВОР

Я ехал на верхней плацкарте.
Терялся вдали семафор,
чайк по стаканам плескался,

и шёл за чайком разговор.
Обычный вагонный порядок.
Нас четверо было в купе:
две женщины, я и полярник,
и всяк говорил о себе.
В дороге всегда откровенны.
Соседям рассказывал сам
я много такого, что, верно,
ни в жизнь не сказал бы друзьям.
Но женщина та пожилая
сидела неслышно в углу
недвижная, как неживая,
прижавшись щекою к стеклу.
Она в разговор не встревала,
печальна была и седа,
но чувствовал я, что скрывала
большую беду про себя.
Уж если она нам не скажет —
не скажет она никому.
Тихонько спросил я:
— Куда ж вы?
И вдруг она:
— К сыну... в тюрьму...
И сразу заплакала глухо
В ладони, по-бабьи, внасад
и стала старуха старухой,
а лет ей всего пятьдесят.
Один у неё он на свете —
и некуда скрыть ей позор...
И мы приумолкшие едем —
какой тут ещё разговор!

САД В ПРОТОПОПОВЕ

Солнце гуляет по саду,
Зелень ласкает глаза —
С этой усладой нет сладу,
И набегает слеза.

Ветер щебечет с листвою,
Птицы ревниво поют.
Чувствую — это живое,
Чую июльский уют.

Лето — великое чудо,
Что ниспослал нам Господь.
Кто мы такие, откуда —
Главное дух, а не плоть!

Ты нам являешь, Создатель,
Жизни земной красоту,
Как гениальный ваятель,
Мир облакая в мечту.

Верую в синее небо —
Белым молюсь облакам.
Жил на земле я нелепо —
Буду ль когда-нибудь там?

В милом, до боли известном,
Словно коломенский край —
Буду ль в саду я небесном,
Что называется — Рай?

НАШИ УТРАТЫ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ДАГУРОВА

Всё меньше становится круг людей, которые участвовали в выпуске первых номеров «Коломенского альманаха»... Вот ещё одна потеря. На 79-м году ушёл из жизни замечательный поэт, талантливый, искромётный Владимир Геннадьевич Дагуров...

Его жизнь была наполнена плодотворным и радостным трудом. Как юркие стрижи, вылетали из-под пера знаменитые «Мурашки» — крошечные поэтические миниатюры, то весёлые, то язвительные. Притом он был ярким и своеобразным лириком, чьи стихи навсегда вошли в Золотую книгу коломенской поэзии. Был у него и талант прозаика. На страницах нашего ежегодника не раз печатались его новеллы. Наследие Дагурова — двадцать сборников поэзии и прозы.

Весёлый, остроумный, полный жизни, он умел любую презентацию, любую встречу превратить в праздник. Магнитом притягивал людей. Был в гуще событий.

Теперь его заразительный смех умолк...

Ушёл Владимир Геннадьевич...

Мир ему.

Прощание с Владимиром Дагуровым состоялось 24 октября 2018 года в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Похоронен Владимир Геннадьевич на Перепеченском кладбище в Подмосковье.

Коллектив редакции



Галина Юрьевна Погожева родилась в Москве. Окончила французскую спецшколу, затем Московский авиационный институт. В студенческие годы её стихи печатались в «Комсомольской правде» и альманахе «Поэзия». В это же время Галина начала пробовать себя в переводах французской поэзии. В 1983 году издательство «Молодая гвардия» большим тиражом выпустило в свет книгу французского поэта, лауреата Нобелевской премии Сен-Жон-Перса, где Погожева выступила как составитель, переводчик и автор комментариев. С 1990 года живёт попеременно в Москве и Париже.

ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ...

РОНСАР

Поэт не вечен. Наступает вечер,
Мерцанье лиц в безумии огня.
Седые кудри падают на плечи:
Срывайте розы нынешнего дня!

Сорвёшь и пронесёшь? — Сорвёшь и кинешь!
Беда, звезда, порыв: люби меня,
Проигран бой, смешон и горек финиш —
Срывайте розы нынешнего дня...

Как жить, старик, молитвами твоими?
Нам не до смеха — мы живём бегом,
Нам не до плача — мы живём во имя!
Нам петь одно и думать о другом.

Мы близоруки, доблестные друзья,
Нам не видать тропы в обход углов,
Мы в пустоту протягиваем руки —
Не дотянуться до высоких слов...

Нам сметь, терпеть, брехать из подворотен,
Спасать — спасаться, ближнего вина.
Но старец непреклонно-старомоден:
Срывают розы нынешнего дня!

1973

* * *

Ну, что будем с тобой?
Усадишь, закутаешь: пой!
Так нет же — босою стопой
Ступает на снег голубой...
Да кто тебя держит — иди,
На серый порог упади.
Ложатся четыре пути
Крестом на усталой груди.
И я поднимаю глаза
И вижу я Лазаря, пса...
Спектакли дают небеса
С участием Бога-Отца.
И бродят во мне времена,
Так в тёмной бутылки вина
Гуляет хмельная волна.
Глаза закрываю — она!
Листаю впотьмах календарь,
И тает на пальцах январь,
Слетает на крышу, как встарь,
Облепленный снегом почтарь.
Читаешь письмо при свече,
А голубь сидит на плече.
У ног же на бедном плаще
Любовники спят на мече.
Опять нарушает покой,
Сбегаёт, скользнув под рукой,
По улицам бегать нагой,
Балуется в пене морской...
Продрогнув, с больной головой
Домучаешь день трудовой,
Дойдёшь до своей Беговой —
На лестнице спит винтовой...
Разденешь, положишь с собой,
За яблоком сходишь — разбой!
Она уж босою стопой
Ступает на снег голубой...

1976

* * *

Кондитерских вечерних волшебство,
А в варежке копеечки звенят...
На саночках с горы. Искрится снег,
И ветер набивается в глаза,
И в валенки, и в рот. А наверху
Стоит с авоськой мать.
На матери осеннее пальто.
Сейчас домой загонит — а урок
Не выучен, конечно, ни один.

1976

* * *

Уж и так на помине легки вечера —
Видно, скоро придут снегопады.
Мы могли бы, пожалуй, остаться вчера,
Но теперь мы кругом виноваты.

Мы в нетопленном доме побудем в пальто,
И да минет нас пуще падучей
Эта птичья отвага приладить гнездо
На какой-нибудь ветке летучей.

Я и память не знаю куда понесу.
Первый снег засквозил по дорогам.
Белый путь, одиночный, как выстрел в лесу,
Отрешённо лежит за порогом.

Там словесность балы задаёт, как бои,
На педантов идут дилетанты.
И легки аравийские кони мои,
Безупречны твои секунданты.

1976

* * *

Поспел в аббатстве красный виноград.
Я не хожу в скрипучие воротца.
Там всё народ. Там пастушок, мой брат,
И мать моя, родившая уродца.

Карабкаюсь по лестнице витой,
Забрасываю камень за ограду.

Серебряный мой голос, золотой! —
Бог подарил вдобавок к винограду.

Я славлю щедрость горькую твою,
Учу латынь, пишу, пишу в тетради,
И в винограде прячусь и пою.
Сижу и плачу в красном винограде.

1977

* * *

Лишь поникая в сумраке целебном,
А то весь день на потолке лепном,
Играет свет диковинным пятном,
Последним летом вздрагивая вслед нам.

И вся-то зависть к тапочкам балетным,
И вся мечта о стёклышке цветном,
Став памятью о дальнем и родном,
Проскачут на лихом коне, на бледном.

Последний лес ошеломит листвою,
Но вот чертёж окончен чистовой
И новый день встаёт почётным пленом.
И, прошумев над ранней мостовой,
Влетает лист, как пыльный вестовой.
Ну вот и ночь отстоена молебном.

1977

* * *

Л. К.

Ты на моё отчаянье похожа.
Стоит звезда над сушей и водой.
Горит душа, и холодеет кожа,
И расцветает лютик золотой.

Дни выпадают, как дожди, и гаснут,
Как только дни, и как одним глотком,
Одним дыханьем говоря: «А вас тут
Забудут всех, не вспомнят ни о ком».

И ты мне скажешь, руки отнимая,
Что счастья нет, есть ветер и вода.

Затмилось сердце, слов не понимая,
И ветка ивы брошена туда.

Есть что-то в даре вечное, как в горе,
Привычное, как верность и тоска,
Как та река, впадающая в море,
Идущее волной на берега.

И это жизнь. Её узор подвижен,
У ней изнанки нету никакой,
А на лице, среди цветов и вишен,
Мы вышиты коснеющей рукой.

Уже темны и тягостны посулы,
Сквозят черты, как ветер из дверей,
Сквозь плутни школы, сквозь глаза и скулы —
Деревьев, лодок, стен монастырей.

О эти дара вечные подарки,
Перерожденья, бденья забытьё!
А всё твои, Олимпия, огарки,
Твои и рисованье, и шитьё...

1978

129

* * *

Купите красных роз на золотой —
Нет ничего прекраснее на свете!
По пряже улиц, солнцем залитой,
Гуляют дамы, господа и дети.

— Мы за гаданье отдали его.
Нет ничего напраснее гаданья.
Есть выше цель, и горше есть страданье,
Но только нет напрасней ничего.

— Купите книг стихов на золотой!
Нет ничего прекраснее на свете.
По нежной коже, кровью налитой,
Гуляют дамы, господа и дети.

— Мы за гитару отдали его.
Нет ничего на свете веселее.
На свете есть занятия милее,
Но веселее нету ничего.

1979

* * *

Мне очень нравятся сыпучие тела.
И вот я в Юрмале, песок пересыпаю.
Для альбатроса здесь могилу я копаю.
Пусть птица мёртвая лежит, где умерла.

Мне скажут в Юрмале: «Я вас любил давно,
Ещё всё больно мне. И я скажу: «Да полно,
Вот птица мёртвая, и музыка, и волны —
Вот что мне дорого, а это — всё равно».

И тут опомнюсь я — такой ли я была?
И вдруг обрадуюсь, что я такую стала,
Что память кончилась и музыка настала,
И птица мёртвая лежит, где умерла.

А в Риге вечером английский пианист
Играет с нежностью застенчивого лорда.
И дуют свежие, сырые струи норда,
И ангел падший кружится, как лист.

1979

130

ГАЛИНА ПОГОЖЕВА

* * *

Всё кончится. Мы встанем в полшестого,
Погасим свет и выйдем в ворота.
Возьмём мы только шара золотого
С холодного и мокрого куста.

В ненастный год от Рождества Христова
Мы в этом доме спали на полу.
О смерти приказание готово.
О Господи, последнюю стрелу
Ты вынул из колчана золотого.

С корзинкой яблок, в ватнике военном,
Старуху-жизнь мы встретим на пути.
Горит в лесу свеча по убиенным.
Ни жизнь прожить, ни поле перейти.

На станции, читая расписание,
Ты скажешь: «Совесть, кажется, чиста».
Подписано о смерти приказанье.
О, вспомните родимые места!

1980

* * *

Серых бабочек лёт утомлённый
Наполняет печалью наш дом.
Весь июнь, голубой и зелёный,
Закипает сиренью и льдом.

Под навесом спасается дачник,
Он дрожит, как плохой ученик.
Но гроза открывает задачник,
Как отличник над стопкою книг.

Вмиг она уравнение решила
И, сверкая семейством кривых,
В небе быстрая молния сшила
Царство мёртвых и царство живых.

Пусть вам скажут, что мы не убиты,
Потому что и не было нас.
А мы веткой весёлой увиты,
И дождём освежённые плиты
В этой зелени радуют глаз.

1981

131

* * *

Оливье, моё дело труба. И как рог затрубит,
Эти горы, равнины и пропасти скажут: убит.
И прокатится жуткое, краткое имя моё,
Фиолетовый отсвет бросая на меч и копье.
Я бы всё рассказал, да забыл я, кем был до сих пор.
Моё имя гремит по ущельям и кратерам гор,
А меня уже нет, только отсвет дрожит на копье.
Юность лёгкая лет, фиолетовый свет, Оливье...

1982

* * *

На бабочек умерших на окне
Я умиляюсь — бедные, оне
Прижали лапки, как бы умоляя.

Сгустилась ночь, настала темнота.
С кривой усмешкой храброю у рта! —
Ужели плакать, землю оставляя?

Уж сколько лет упорною лозой,
Ушедшею корнями в мезозой,
На благо всех душа плодоносила!

Но люб прелюбодей и лиходей,
И только нас не надо средь людей.
И вот поля песком позаносило...

1984

* * *

1

Правительство птиц принимает решение: отлёт.
Возможно ли ждать, окликая? Станицами птиц
Мы ринемся в небо над светом и дымом столиц.
Звезда опрокинется в сердце, и время умрёт.

Над меркнувшим лесом, над тихой и светлой рекой
Там держит нас ветер холодной и властной рукой.
Над петлями улиц — Ты этого хочешь, Отец, —
Где племя людское содержат в борьбе бесполезной,
Там держит нас рыцарь могучий в перчатке железной.

2

Но кто обернётся, мне мил,
И местность родную запомнит.
Из тех, кто ещё не любил,
Но памяти дело исполнит.

Какой-нибудь птичий корнет —
Восторжен и холоден, холост!
Валторна, труба и кларнет
Его перепробуют голос.

Из тех, кто вернётся всегда
В леток из кинжалов и стёкол.
Свиданье, живая вода!
Какой-нибудь юноша-сокол.

1984

* * *

В нас прежние ночи ночуют,
Дни прошлые нас бережат,
И птицы, что мёртвое чуют,
Непрошены в гости летят.

Гонцы к нам с пакетами скачут,
Но пишут не те, не о том.
И девушки первыми плачут,
Но юноши плачут потом.

Кто думал: апрель не нагрывает?
Как вальдшнеп, апрель упадёт.
И юное горе проглянет,
Как тоненький месяц взойдёт.

Он весь в месяцах и подковах,
Он весел и с вестью спешит.
Но в спаленках, в дальних альковах
Он письмами, плача, шуршит.

Как воздуху нам не хватает!
Мы встанем, меняясь в лице.
В нас быстрая птица летает,
Без имени, в жёлтой пылице!

О, юности чистые метки,
О, нитки её, вензеля!
Как в окна качаются ветки,
Беспутных гостей веселя!

Мы гости. Нам надо прощаться.
Мы будем стоять на крыльце,
И быстрые птицы промчатся
Без имени, в жёлтой пылице.

1985

* * *

Вот падает с пальца кольцо, уходя
В железные лезвия вод.
Что ж, память, прощай. Беспощадна ладья,
Которая строилась год.

Так, жизнь на печаль и забвенья деля,
Так, ночь проницая иглой,

Мы ринемся в бездну, где Винланд-земля
Лежит за снегами и мглой.

Пять рек, да три моря, да озеро с плеч —
Прошли же мы, видишь, Иван!
И вот нам осталось с тобой пересечь
Всего лишь один океан.

1986

* * *

Олива, Олива! В твоих переливах и звонах
Семь снов горделивых, семь ангелов чёрно-червонных.

Распахнуты ставни, как доски старинного тома.
Сон дан был нам славный, но больно он давний — мы дома.
Дом с окнами в сад, на цветущую вишню и сливу.
В те годы назад. Там живут, вспоминая Оливу.

А ты молчалива под медленной мезью созвездий.
Все годы, Олива. Уж годы, как нету известий.

Лишь вязнут колёса, и в прошлое рушится дворца.
Там пролиты слёзы и пролиты капли от сердца.

Там спят, как убиты, на вечность имевшие виды.
Олива, мы квиты. На бывшее нету обиды.

Так речка течёт к прихотливым извилам залива.
Покончим все счёты. Прощай же. Счастливо, Олива.

1989

Лариса Морозова



Детство и школьные годы Ларисы Морозовой (Цырлиной) прошли в Коломне. Там же она окончила музыкальное училище. Работала в музыкальной школе, окончила институт им. Гнесиных по специальности «музыковедение».

В 2002 году вышел её первый поэтический сборник «Клавиши», в 2004-м увидела свет детская книга стихов об Иосифо-Волоцком монастыре. В 2008-м издана книга «Ветер времени», в 2012-м — миниатюрный сборник лирических стихов, а в 2014-м — второе, расширенное издание «Ветра времени». Прозу и стихи публиковали журналы «Европейская словесность» (Кёльн), «Апостол», «Добродетель», многочисленные сетевые журналы в России и за рубежом.

С 2004 года её произведения регулярно появляются на страницах «Коломенского альманаха».

Член Союза российских писателей.

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

* * *

Зря день-деньской, коклюшками стуча,
Сновали пальцы мастериц брабантских:
Бесцеремонно руки палача
Срывали кружева в воротах адских,
У гильотин и виселиц... Увы,
Чем дольше убиенные мертвы,
Тем нам они становятся милее —
И вновь готов венец для головы!
И кружева... для шеи.

* * *

Ничто с ничем соединив,
Кто создал всё в одно касанье?
Вложил единственный мотив —
Любовь — в основу мирозданья,
И разделил на жизнь и смерть
Всё сущее во тьме и свете —
Чтоб, в вечность кутаясь, смотреть
В калейдоскоп тысячелетий...
Кружат пылинки и звезда

В едином ритме во Вселенной;
Несёт гармонию вода,
Объединяет — свет нетленный,
Рифмует строгая спираль
Вьюнки, галактики и звуки, —
Но тайна формулы едва ль
Когда-нибудь нам дастся в руки:
Безмерной сложности узор —
Лишь хаос, с нашей точки зренья.
Каков у буквы кругозор?
Она внутри стихотворенья...
Пока же в книге бытия
Не перевернута страница,
Мы все, надежду затая,
Гадаем: долго ль сохранится
Божественное постоянство
Игры во время и пространство?

ОДУВАНЧИКИ

*Хотелось бы всех поимённо назвать,
Да отняли списки, и негде узнать...
Анна Ахматова. Реквием*

Дерзкие, как финки — остролистые,
Пробивая землю и бетон,
Вышли на свободу, неказистые,
И с собой у каждого бутон.
Стёганные справные зипунчики,
Точно телогречки ЗеКа —
Всюду одуванчики-везунчики,
За зиму забытые слегка.
И, пока хозяин не спохватится,
Расцветёт неправильный газон,
Вспыхнут ослепительные платица
Золушек из сумеречных зон.
Гроздья световодов на обочинах,
Берегах и станциях любых,
В сёлах и коттеджах навороченных —
Нет двора, где не было бы их.
И выходят миром — кто с косилкою,
Кто с совком, чтоб корень извести —
Только пух летает над правилкою,
От земли невидимый почти.
Но и там, где выпололи тщательно,
Снова пробиваются ростки.
Дети их заметят обязательно...
Всех не скошишь. Корни глубоки.

Помяни, Господи, Давида царя и всю кротость его
Пс. 131

Грядущее укрыто тьмой времён.
 Но знают тайну каменистый склон
 И тишина, да ветхий полог неба:
 Ждёт город со сладчайшим из имён —
 Там всё сумеет взять от власти он,
 И там придёт к нему его Батшеба.
 Пока же спит пастух в своём шатре,
 Припав щекою к вытертому меху...
 Поёт холодный ветер на горе
 И смотрят звёзды яростные сверху.
 Кто шепчет на забытых языках,
 Что только этот миг в его руках,
 А грешный путь — важнее результата?
 К чему и знать, что жизнь твоя в веках
 Останется, как стёртая цитата...
 Пусть будешь ты удачливее всех,
 Настанет день — оплачешь свой успех,
 И скажет только близкая могила,
 Как жизнь для искупленья коротка;
 Но засияет всем через века
 Звезда, что одному тебе светила:
 Любовь пребудет, совесть устоит,
 И чудо Слова — прочно в этом мире.
 В худом шатре, покуда спит Давид,
 Играет ветер на его псалтири.

ORFEO

Всё не верилось, что исчезнут
 крылья лёгкие за спиной,
 и стоишь, заглянувший в бездну,
 над разверзшейся тишиной:
 там — Аид, где скользят в молчанье
 тени слов, что вчера звучали?
 И живых не найти нигде...
 Там пустыня —
 море печали
 по ушедшей навек воде.

* * *

Нет ничего прочнее слов.
Исчезли и дворцы, и храмы —
Но славят канувших богов
Молитвы и эпиталамы.
Нет ничего сильнее слов:
Стихией пятою природы
Державы лишены основ
И перемешаны народы.
И есть ли что прекрасней слов,
Когда в гармонии случайной
Точнее формул, ярче снов
Всплывёт магическая тайна...
Слова не весят ничего —
Вот только тяжелей всего
Нам чувства выразить словами;
Но промолчите — и тогда
На сердце лягут глыбой льда
Слова, не сказанные вами.
И, как живые существа,
Ещё не бывшие слова
Рожденья ждут из бездн эфира...
Извечно таинство любви:
Сначала было Слово; и
Лишь после — сотворенье мира.

* * *

...и Дух Божий носился над водою
Бытие, кн. I

В начале было вдохновенье,
В нём океан времён творенья
Звучит и властвует с тех пор...
Гигантской раковиной пенье
Вселенной слушает собор —
И рык божественный органа
Смятенным вторит голосам,
Клубясь, дыхание титана
Восходит мощно к небесам,
Ревут поверженные бесы,
Лепечут нимфы в ручейках...
Наш век, увы, не стоит мессы,
Но щедр был дар от Бога — Бах.

КУКОЛЬНОЕ

То ли ветер завывает,
То ли песенку поёт.
У печурки напевает
За работой кукловод.
Старых кукол полон короб,
Мирно тикают часы...
Тем, кому на сцену скоро,
Клеит уши и носы,
Ножку этому подвяжет,
Этой глазки подновит —
Ну, а та ещё попляшет,
Да и тот хорош на вид.
Вот паяц — совсем калека,
Только голову не тронь...
А Пьеро не нужен лекарь —
И летит Пьеро в огонь.
Есть другой Пьеро — не так ли? —
Пусть пока и глуповат.
Поумнеет на спектакле,
Всех лупили... так-то, брат.
Этот неслух... что же, значит,
Попрочней привяжем нить.
Пусть поскачет, пусть поплачет...
Если можно починить —
Жизнь продлится. Всем покуда
Хорошо в его руке...
И лежат безликой грудой
Заготовки в сундуке.

* * *

Тепло родства, любви желанность,
С понятьем «вечность» спутав давность,
Хранят нас, точно скорлупа...
Чтоб одиночество как данность
Осознавать — нужна толпа;
Беда, в которой ты не волен,
Болезнь, что вылечить нельзя —
И смерть, когда глядишь, как воин,
Другому воину в глаза.

ЭПИТАФИЯ

Мы были. Жили-были.
А теперь нас нет.
Осталась горстка пыли
На камне. И сонет.
Земные зоключенья —
Не суета ль сует?
Исполнены значенья
Лишь камень — да сонет.
Но тем ли нам гордиться,
Что вечности крупицы
Мы вырвали у тьмы?
Земное заблужденье —
Что в жизни нет забвенья,
И, значит — были мы.

* * *

Истрёпан парус бытия
Потопом;
Едва-едва Земли ладья
Не стала гробом,
Но сохранила, как ковчег,
Немного
Семян на будущий посев
Для Бога.
И он для выживших с трудом
Лозой и хлебом
Засаеял щедро новый дом
Под старым небом;
Как с чистого листа начать.
Всё заповедал,
Но ничего о прошлом знать
Им не дал.
И тщетно смотрит в тьму веков
Людское племя.
Что мелют мельницы богов?
Должно быть, время...
Скрипят вселенной жернова,
Вращаясь грозно,
А прах на наших головах —
От пыли звёздной.

* * *

Язык мой — враг... И всё же, всё же
Прошу: со мной поговори.
Другого средства нет, похоже,
Согреться сердцу изнутри.
Молчанье — золото? Быть может...
Но только слова серебро
Порою кажется дороже,
Чем всё вселенское добро.
О, правда истин прописная...
Пускай из слов я не узнаю,
Чего ты хочешь, чем живёшь —
Я всё равно по ним тоскую,
Хоть помню истину другую:
Мысль изречённая есть ложь.

* * *

Как проза жизни хороша,
Когда в ней мера есть и стиль,
Когда поэзия — душа,
А не лирический костыль;
Когда сияет между строк
Её таинственная нить,
И мысль, как спущенный курок,
Нельзя ничем остановить.

* * *

Давай уедем в Салтыковку,
Где есть зелёные пруды,
Где разрешается парковка
Велосипедам у воды.
Там лают дачные барбосы,
Бросаясь вплавь за пацаньём,
И нимф пленительные позы
Исправно множит водоём.
Нехитрый полдник на газетке
Заменит завтрак на траве,
А две берёзовые ветки
За нас сплетутся в синеве,
Дрожа от нежности и зноя,
И чуточку — от озорства.
Уедем поздною весною!
Пока не поздно? Чёрта с два...

* * *

*Многие религии мира основаны на ожидании
возвращения Бога...*

Мы все в этой жизни — сироты,
Отцами забытые тут,
Но верящие отчего-то,
Что скоро за нами придут.
Мы знаем, что где-то на свете
Есть тёплый родительский дом;
Другие, счастливые, дети
Сейчас улыбаются в нём.

А кто и твердит, что не верит,
Переча сиротской судьбе —
В той горестной давней потере
Не хочет признаться себе.

Да может ли быть, что планета —
Огромный забытый детдом,
Где мы (не жестоко ли это)
Одни выживаем с трудом?
У всех нас родители плохи,
Но мы продолжаем их ждать,
Теряя последние крохи
Надежды родных увидеть —

С забытыми их голосами
И добрым сиянием глаз...
А может, так плохи мы сами,
Что боги оставили нас?

Андрей Шацков



Андрей Владиславович Шацков родился 1 декабря 1952 года в Москве. Автор двенадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и многих литературных премий. Главный редактор альманаха «День поэзии — XXI век». Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры.

Проживает в Москве и в Рузе.

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

*«Куликовская битва принадлежит...
к символическим событиям русской
истории. Таким событиям суждено
возвращение. Разгадка их ещё впереди...»*

А. А. Блок

ПОСТРИГИ

*Пролог
(Монолог Ивана Красного —
отца Дмитрия Донского)*

Кому и сколько остаётся днесь?
Опять ветра заводят перебранку,
Принёсшие с Востока злую весть
И с запада — гнилую лихоманку.
Я думаю: «Чудны Твои дела,
Господь,
пославший эту завируху».
Но мы дружиной сядем у стола
И ножиком источенным краюху
Развалим,
сыну в детскую ладонь,

Нацедим сытъ, чтоб пил единым махом.
 Расти, сынок, души не охолонь,
 Не опогань её пустяшным страхом.
 Половою не чти отца завет:
 В тиши степей опарой зреет время,
 Когда затмит стрелами белый свет
 И ты с порога вденешь ногу в стремя!
 Когда приходят поры осенин,
 В соитъе губ сладка предзимья горечь...
 Каким ты станешь в эти годы, сын,
 И вспомнишь ли о нашем уговоре?
 Не позабыв о тяжести вериг
 Очелья Мономахова убора...
 Как гулок голос княжеской крови
 В миг пострига, средь суетного хора!

I. ПРЕДСТОЯНИЕ

(Август 1380 года)

Этот август, нарушивший сонный покой,
 Разогнавший ветрами полынными одурь...
 Слышишь, вороны грают за Доном-рекой?
 Видишь, мутят сомы под обрывами воду!

В малахае упрятав и лоб, и глаза,
 Отгоняя докучного слепня камчою,
 Нависает над Русью степная гроза.
 Польшахнет огнём горизонт кумачово...

Но всё ближе гремит путевой бубенец.
 Весь в пыли и дорожной невысохшей грязи
 С волчьих бродов несётся усталый гонец
 Упредить о нашествии Дмитрия-князя.

Этот август тебе, как и осень, к лицу.
 Это чувство тревоги до боли знакомо.
 Слышишь, звёзды стучат, словно дождь, по крыльцу?
 Видишь, тропы уводят до Дона от дома!

Утоли мне печаль и тоску утоли.
 Одари на прощанье узорчатым стягом,
 Чтоб в серебряных росах легли ковыли
 Под размашистым конного воинства шагом.

И пока над Россией звенят стремяна,
 Да пребудет одна у России потреба:
 Чтобы вдосталь хватило на все времена
 Благодатного, вольного, синего неба!

II. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Сорит ветер ольховыми серьгами,
Матерееет на озере гусь.
Вот и хлынула ордами, Сергие,
Беспросветная осень на Русь.

За распахнутой настезь околицей,
За Непрядвой и Красной Мечёй
Азиатская злобная конница
Табунится степной саранчой.

К мудрецу, не покрытому митрою,
На последний отцовский погляд
Благоверного князя Димитрия
Лебединые кони летят.

Где-то там, за болотными хлябями,
Польхает заутрени свет.
Вот и принята схи́ма Ослябею,
Надевает клобук Пересвет.

Звон набата прольётся со звонницы,
Распугав по кустам вороньё.
Князь с игуменом молятся Троице
Во бревенчатом храме Её.

И заветное знание Сергия
Возвещают святые уста:
«Разорвутся ордынские вервии!
Будет Русь от поганых чиста!!!»

Над Москвой, деревьями-калинами
Отражаясь в затонах реки,
Вспыхнут стяги,

молодки за тынами

Закричат, провожая полки.

И пятная дорогу подковою,
За Коломну, за Дон, на рыси
Рать на поле идёт Куликовое,
Вековечное поле Руси!

III. ВОСЬМОЕ СЕНТЯБРЯ¹

В разломе клубящихся туч,
Неистово красен и ярок,
Горит обжигающий луч —
Ушедшего лета огарок.

Опять кулики надо мной
Спешат на заветное поле,
Где, ханской повитый чалмой,
Бодрится Мамай на престоле.

Велением властной руки
Подняты бунчужные стяги,
Гарцуют степные стрелки,
Оружны наёмные фряги...

Но паче врага торжества
И паче столетнего страха —
Священный канон Рождества
И смертная, внапуск, рубаха.

«Во первых семь дней сентября
На Дон собиралися вои...»
Скакали, коней торопя,
Шагали росистой травую.

Во первых семь дней сентября
Мне ночью неладное снится:
Тревожные трубы трубят
И кличут вставать и рубиться.

Встаю, в лихорадке горя.
Упрямо прощаюсь с тобою...
Во первых семь дней сентября
На Дон собираются вои!

Река изовьётся тесьмой,
Омоет кольчужные латы.
Грядёт сентября день восьмой!
Святая нетленная дата.

Проклонется робкий рассвет.
Затихнут лебяжьи клики.
Задумчив стоит Пересвет
В преддверии славы великой.

¹ Битва произошла 8 сентября (21 сентября по новому стилю) в Праздник Рождества Богородицы.

И вздрогну, что днесь предо мной
Кочевник жестокий и хитрый.
И чувствую: Русь за спиной
И сын, окрещённый Дмитрий!

IV. ЗАДОНЩИНА

*Народному художнику России
В. Н. Балабанову*

И будет памятен до боли
Платок, махнувший со стены...
Но тёмной ночью в ратном поле
Мосты хмельные сожжены.

Как будто вызрел в бездне буден
Нарыв, без коего нельзя...
И узок брод, и ханский бубен
Стучит, немилостью грозя.

Набрякло небо. В росах травы...
В Непрядве блик волны свинцов...
На берегу у переправы
Врага скуластое лицо.

Но Богородица простёрла
Незримый оку омофор.
И... чёрной птицей мимо горла
Стрела промчалась на простор!

И каждый, кто дышал — увидел
Коней, летящих в полный мах.
И покатился Медный Идол
С вершины Красного Холма!

И на парящем кровью луге
Осела стая воронья,
И каждый, кто погиб, — «ЗА ДРУГИ
СЛОЖИЛИ ГОЛОВЫ СВОЯ».

И будет сладостно до боли
Из рук сомкнутое кольцо...
И ветер Дона — ветер воли,
Студящий весело лицо.

И в деревнях спасённых — семя
Готовят пахари под плуг...
Встаёт рассвет, бряцает стремя.
Пылает нимбом солнца круг!

V. ДИМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА

Волчий попрыг... Плавает рассвет
В лужах крови загнанного лося.
Утренних лампад неяркий свет
Ветер в Занеглименье уносит.
Ударяют в сполох тут и там,
И крадётся нечистью затынной
По векам, по весям, по пятам
Времени разбоя дух полынный.
И играет где-то во дуду,
Чая встречи, половецкий ворон...
Я Непрядву первым перейду
И стрелой калёною споровю —
В Диком Поле рыщущую смерть,
Колченогой тенью Тамерлана...
А над Русью — дождь и коловерть,
Низкие осенние туманы!
А над Русью в стае облаков
Вспыхнет омофора позолота.
Зазвенит печаль колоколов
Дмитровской родительской субботы.
И взойдут озимые сквозь твердь
Колосом пшеницы и крестами,
Чтобы память попирала смерть
Свода летописного листами!

VI. ВОИНАМ РОССИИ

Вдоль речки дымится порез
Несомкнутых льдов по стремнине.
Никак не кончается лес
На русской бескрайней равнине.

В галопе крещенской пурги,
Под платом рождественской ночи
Таятся в чащобах враги,
Мерцают разбойные очи.

Каким мне ключом запереть
Границу от края до края?
Россия — вселенская твердь,
Отнюдь не преддверие рая.

Какой заповедной строкой
Пришедшей на память молитвы
Хоть на год продлить твой покой,
Чтоб силы достало для битвы!?

Но нет, не расходится мгла,
И рваные тучи теснятся.
На струганых досках стола —
Харлуг и прадедовы святцы.

Застыли в углу образа
Небесным, летучим отрядом,
И сын поднимает глаза
И смотрит внимательным взглядом.

И дланью обнял рукоять,
Расслышав отцовское слово:
«Рождённым в России — опять
Средь поля стоять Куликова!

И падать от стрел и от смут
За ПРАВДУ средь бренного дыма...
А павшие — утром придут,
Ведь мёртвые сраму не имут!

Лишь просят включить в литию
Забывтого воина имя.
И места всё меньше в строю
Осталось

меж нами и ими!»

Р. S. НОЧНАЯ СТОРОЖА

*Памяти старшего сына Дмитрия
(10 марта 1980 — 21 июня 2016)
с горечью посвящает автор*

Нет в этом мире правды,
Да и того ль ты ждёшь?
В пойме реки Непрядвы
Ветер качает рожь.

Лютые оборотни
Чувствуют волчью сыть...
«Отче, позволь полсотни
Прапором осенить?»

Да не поглотит темень
Нами зажжённый трут.
Сёмка, Игнатий Кремень,
Гридя — не подведут!»

«Сыне, тебе не приспело
С воями в пекло лезть.
Скажет Боброк: не дело!
Скажет Бренок: не в честь!»...

Взгляд его светлый — строже
Сделался, и синей.
«В первой пойду стороже!
Лучших возьму коней!»

Ах, как кричали птицы
В смутной поре ночной.
Бьют родники-криницы
В быстрой воде речной.

И опустилось утро
Бликами на пески...
Княжича русы кудри
Вынесло из реки.

Были одним подобьем,
Как две слезы с лица.
Стал он моим надгробьем —
Смертным грехом отца.

Души летят, как кряквы,
На ледяном ветру...
Нет в этом мире правды!
Нет и в ином миру!!!

30 июля 2016 г.
Сороковины



Ксения Нагайцева

Ксения Анатольевна Нагайцева родилась в городе Коломне. Окончила Московский государственный лингвистический университет. В настоящее время — преподаватель кафедры филологии Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, аспирантка кафедры литературы Государственного социально-гуманитарного университета.

Ксения Нагайцева в своих стихах познаёт мир, удивительный и тревожный. Входит в океан жизни всей распахнутой душой. Молодая поэтесса не идёт по проторенному пути, и потому неожиданные образы её стихов открывают читателю всю глубину проникновенных чувств и переживаний автора.

Член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

ЛЮБИ МЕНЯ И НЕ ГРУСТИ...

* * *

за моим кабинетом, распластанным в десять окон,
и за партой того загорелого парня в футболке
утончённый, как сон, просит хода немой рубикон
и клубится, и колет глаза, как большие иголки,

и за этим и каждым студентом, забывшим тетрадь,
за портретом и схемой ненужной английской науки
собирается память, как римская храбрая рать,
мускулистые к небу вздымая красивые руки,

и они там стоят, и за полками книг гордый вождь
смотрит вдаль, далеко за московское серое царство,
и бушует в журнале фамилий бессмысленный дождь,
и вином бродит в войске азартное это коварство,

перейти или нет рубикон, словно сон: где-то здесь
рубикон, как рубин, эта точка в конце коридора,
в кабинете, в который, как в яму, обязан залезть
и дожидаться конца для рабочего дня, как позора,

и плестись, чтобы снова вернуться зачем-то туда,
и коней удержать у черты, у границ, у порога,
и увидеть, как точит копыта речная вода
под навесом столичного и ненавистного смога,

и запутаться в этих примерах возможных сторон,
у колен то ли шлем, то ли блещет под лампой корона,
то ли после уроков случился рубиновый сон,
где клубилась вода переменчивого рубикона.

* * *

Когда-нибудь в трамвае ты уснёшь,
Вздыхнувши: «Увези меня отсюда».
Не важно, что случится: снег ли, дождь,
Многоколёсная поедет эта груда,
И ты уснёшь внутри неё, как винт,
Уставший от бессмысленной работы,
Теперь ты человек, который спит,
И сны твои разбиты, словно соты,
На равные куски резьбой колёс,
Разрезаны и склеенные мёдом,
Не важно, из чего: цветов ли, слёз,
Ты спишь и едешь к тем медовым водам.
Всё потому, что нужно отдохнуть,
И тело полосатое трамвая
Трудягу-человека в этот путь
Везёт, усами провод обрывая,
Искрит и, завалившись на бока,
Подпрыгивает тот трамвай-трудяга.
Не важно, что случится, но пока
Ту пчёлку из железа тянет тяга,
Пока что спит трудяга-пассажир,
Но наконец доехав, скажем, к другу,
Пчелой разбуженной он выйдет в этот мир,
Другой войдёт в трамвай. И так — по кругу.

* * *

Я люблю тебя, дорогой.
Здесь не нужно заумных метафор.
Господа столпились гурьбой
Фонарями светящихся амфор.

Этих амфор на дне Москвы
Или самых глубоких карманов,
А тоска смотрит глазом совы
Со дна перепитых стаканов.

Вам пора бы уйти, фонари,
По дороге петляющей кромки.
Не сжимай так ладонь, не дури,
Собери белых пальцев обломки.

Подожди — нас оставят вдвоём,
Не прощаясь, окажем почтение.
И в историю их поплывём,
Как латинское изречение.

Господа, господа, господа,
Оставляйте нас с ним в одиночестве.
Я тогда соберусь, как вода,
В его трогательном отчестве.

Я омою его острова,
Утопив его беды и трудности,
И тоскливая эта сова
Возвратится в объятия мудрости.

* * *

Что же замолчал ты и исчез?
Точки две расставлены над веком,
Между ними хмурый зреет лес,
Выращенный тусклым человеком.

Ты теперь в молитвах и беде.
Завтра всё изменится, но всё же
Эта ночь, как лес, и... Боже! Боже!
Как мне перейти его и где?

Если испугался, то молись
Посреди зверей больших и диких.
Прошепчу протяжно: «Появись!»,
И кора сойдёт с дубов великих.

Если вдруг обижен — онемей.
Пролечу не близко и сурово,
И совьётся из земных корней
Дар тобой утерянного слова.

Если же заставлю — вновь придёшь,
Лес шумит и гнёт густые кроны.
Приманю на золочёный грош
И воображаемые стоны.

С этого момента — будь в пути,
Завтра приползёшь больным и грустным
Из лесу, посаженным расти,
Хмурым человеком, злым и тусклым.

* * *

Так пусто не бывало никогда.
Душа моя тоскует, словно рвётся,
И ждёт, что утешения вода
В неё с ладоней Господа прольётся,

Хотя и незаслуженно. Вдали,
За сотни городов от смертной скуки
Морские принимают корабли
Всех пристаней протянутые руки.

Небесная склонённая доска
Ломает много лет Твои предплечья —
И оттого опять весной тоска
Оплакивает холодом увечья.

Но сможет ли Твоя рука принять?
Достаточно тверда для этой ноши?
Ведь если ей печали не объять,
Она меня задушит и раскрошит.

Так что же делать с этой пустотой?
И кто теперь, Господь, в печали вспомнит,
Пока душа моя грустит с надеждой той,
Что всё Твоя любовь собой восполнит?

* * *

Да, есть неполнота и белый плёс,
и я стою за ним и тру глаза от слёз;
вода бесшумно плещется, искрясь,
и я не прячусь, влаги не боюсь —
во сне боюсь открытых берегов
и осознания своих широких снов,
а тут стою, раскрыта в первый раз:
песок лежит, лежит на плёсе глаз,

раскрыты волны, ноги раскидав;
глаза болят — теперь я белый столб.
Мой сон ползёт, как медленный удав,
и жалит, бросившись в нагретый солнцем лоб;
натёртые глаза — до красноты —
ослепшие, границ не различают:
куда, позволь спросить, белеешь ты?
И плёс мне белым светом отвечает.
Здесь есть ли я? И свет сильнее горит,
простор опять — и жуткий, и опасный —
никто в воде солёной не стоит,
со мною здесь никто не говорит:
тот сон пустой, песчаный и прекрасный.
Я снюсь себе — на самом деле, да —
на одинокий плёс ложатся брызги,
и нет на нём меня, но есть неполнота:
в широком сне и неширокой этой жизни.

* * *

Прокатились бы мы на катере,
по бескрайнему морю плывя —
как по синей с оборками скатерти,
перекрёстки льняные кровя,
мы катались бы до отупения,
и скакал катер вверх, как дельфин,
и тогда ты сказал бы мне: «Ксения,
выходи — я поеду один!».

Эти волны — почти что съедобные,
эту скатерть — расстеливал бог.
Макароны ракушек огромные
присосались на щупальцах ног
к белым стенкам, обитым фанерою,
с непридуманной надписью. Здесь
я сойду, и вот так стану первой
и последней, которой не счесть.

На песке встану крепко. На лодочке,
на плоту и корабликах: там,
где резвятся, как дети, селёдки
и медузы хрипят по углам —
есть вода, непогода и мания
очень крепких больших якорей,
иллюзорная жажда познания,
очевидная дурь дочерей.

Подождём, это место знакомое:
покатаешься — я закричу...
Ты — окошко, в котором бездомное
солнце в вечер затеплит свечу,
то, что будет к утру занавешено,
и не всякий сумеет войти,
но пока что все мидии бешено
пролагают к тебе пути.

Но потом катер вдруг остановится,
и отправится с мокрым зрачком
рыбья стая — гремя, словно конница,
утончённым своим плавником,
и под ноги вверх брюшками бросится:

Ты сойдёшь по ним, как по мосту,
спросишь: «Что это было? Нам кажется?».
Я кивну... На закатном свету
катер вновь удлинится, разляжется
и примкнёт к золотому хвосту.

ХРОНИКА

156

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЛАЖЕЧНИКОВА

**Редколлегия «Коломенского альманаха» учреждает
новый литературный конкурс на соискание
Премии им. И. И. Лажечникова.**

Премия будет вручаться раз в год лучшему автору альманаха, независимо от того, в каком жанре создано произведение. Иван Иванович Лажечников был одарён многими талантами. Он известен и как исторический романист, и как поэт, и как историк-краевед. Поэтому право быть удостоенными нашей награды имеют представители всех направлений.

В жюри входят члены редколлегии альманаха: они не могут претендовать на звание победителя.

Премия вручается только единожды.

Желаем успеха всем авторам «Коломенского альманаха»!

В 2016 году премия присуждена Владиславу Леонову за повесть «О войне, о родне, обо мне».

В 2017 году премия присуждена Евгению Ломако за исторический очерк «Один год града Коломны».

В 2018 году премия присуждена Владимиру Викторовичу за книгу «Коломенский текст: Сюжеты и портреты».

Редколлегия



Надежда Лисогорская

Надежда Константиновна Лисогорская родилась и живёт в городе Москве. В 1972 году окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Более двадцати лет проработала геофизиком в Экспедиции № 1 Центрального геофизического треста. После её ликвидации перешла на преподавательскую работу в Современную гуманитарную академию. Стихи пишет с детства. Печаталась в «Коломенском альманахе», журналах «Молодая гвардия», «Арина», «Белая скала». В 2018 году вышел первый сборник её стихов «Переживай, волнуйся и твори...».

Член Союза писателей России.

ЗЕМНОЕ БОГАТСТВО

* * *

Земля распахнулась навстречу весне,
Сиреневый май на пороге.
Берёзовой нежностью танец в окне —
Посмотришь — и сложатся строки.

В ложбинках снежок затаился... Но вот
Туманные дали ожили.
Под снегом незримая сила живёт —
Зелёные травы России...

Весенняя ясьень, небесная синь,
Прозрачность апрельского света...
Наш край берегов, наш край берегинь
Так ждёт многоцветного лета!

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

А мне, знаешь, приснились сегодня снега...
Те, что землю укрыли собой до весны.
И белее снегов облака... облака...
Там, в пути за сиянием северным, — мы.

А упряжки уже и не видно следа:
Тот возница о нас почему-то забыл...
Только рядом засветятся чьи-то глаза,
И почувствуешь: кто-то тебя подхватил.

Как в Сахаре не выжить без капли воды,
Так на севере диком — без чаши тепла.
У какой-то неведомой людям черты
За сиянием жизни любовь позвала...

Семикрылой волшебницы радужный свет
На границе, где небо с землёю слились,
Там смешались в едино закат и рассвет,
И как будто бы заново мы родились...

* * *

Да ты, конечно, всё поймёшь:
И этот дол... И этот дождь...
И эта мокрая скамья
Тебе расскажут — за меня...

Тепло — туманом за лесок,
Весёлый жёлтенький цветок,
Осенних паутинок сеть,
И в дождь — желание согреть...

Но мокнут травы и кусты,
Грустят старинные мосты,
И лишь мелькает белизна
Статуино-гипсового сна...

А там, среди пустых аллей,
Как будто в радуге дождей,
Всё чудится твой силуэт...
Бегу, бегу, бегу на свет...

ЗЕМНОЕ БОГАТСТВО

Совсем недавно провожали лето,
Грустили, что прощаемся с теплом.
И отгорали листьев самоцветы
В осеннем дне за городским окном.

И падал снег, стеной росли сугробы,
Не виделось конца пунктиру зим,
Но вновь апрель прокладывает тропы,
И ветер мая следует за ним.

И вот уже деревья, как атлеты —
Зелёным флагом машут на ветрах.
А взгляд мой ловит чудо первоцветов
С теплом опушки в нежных лепестках.

И листья, и цветы — «глазастый» праздник —
Светло и чисто поглядеть на мир!
А свежий воздух и дорога дразнят,
Зовут на волю выйти из квартир.

А там поля, пролески, косогоры...
Вдохнуть всей грудью запахи земли!
И вдруг застыть, увидеть, что на взгорье
Сады невестой белой расцвели...

Открылись вдруг такие горизонты!
Ну кто сказал, что наша жизнь бедна,
Когда на свете есть портрет Джоконды
И каждый год приходит к нам весна!

* * *

Бабочка — в волосы, ветер — в лицо,
Августа велодорожка!
Светится озера берег-крыльцо,
Воды — чёрная ложка.

Сосен зелёных просвет золотой,
Клёнов деревья-подростки,
В глади — осенний — затишье-покой,
И загляденьем — берёзки.

Солнце серебряной рыбкой скользнёт
В озеро перед закатом.
Чуть зазеваешься — и уплывёт
С тенью вечернею рядом.

Всё замирает — травинка, цветок
В скромном своём ореоле...
Вечер прошепчет: «Укроет вас Бог, —
Озеро, дерево, поле...».

* * *

Тепло приносит бабье лето.
Прозрачна неба синева.
С прощальным ласковым приветом
Зелёная спешит трава.

Чирикнет птица, каркнет ворон —
Откликнется осенний день,
И свежестью, и грустью полон,
Встречая солнечную звень.

И обнимать пойдёт берёзы —
Их белоствольную красу,
Златую нить вплетая в косы
И солнца блик лова в лесу.

И встрепенётся на опушке
Последней бабочки крыло,
А по земле листы-полушки
Рассыплет дерева чело.

В МОРСКИХ ВОЛНАХ

Горы беспокойных волн
Понеслись, шумя!
И качается в них чёлн
В серебре огня.

Зонтик — колокол медуз —
Спрятался на дне.
Заиграло море блюз
На морской струне.

Солнца блики-мотыльки
Вьются над волной,
И рождает родники
Пенистый прибой.

Сколько брызг на берегу —
Солнечный фонтан!
Но крепчает на бегу
Ветер дальних стран.

Ты, высокая трава,
Берег не топи!
Золотого лучше дня
Перстень подари!

Укачает на волне
На краю земли,
И пролётся тихий свет —
Долгий свет любви...

* * *

В безветрии танцует лёгкий снег,
Деревья наряжая к зимней сказке.
И хочется в зиме услышать смех
И улыбнуться снежной синеглазке.

Как быстро санки катятся с горы,
Лыжня зовёт: «Вставай скорей на лыжи!»
И полон склон окрестной детворы,
И мчится вниз бесстрашный горнолыжник.

А вечером мерцают фонари,
Преображая зимние чертоги,
И в синий снег закутались дворы,
И выросли сугробы у дороги.

Увидишь свечи в дивном хрустале,
Ветвей застывших кружевную песню,
Костёр снегов в морозном феврале
И голубые блёстки в поднебесье.

Теплеют окна, зажигая свет,
И сердце согревает чувство крова,
Где будет чай, и ужин, и обед,
И тёплый взгляд, чтобы обнять родного...

ЭТО БОГ МНЕ, НАВЕРНО, ТЕБЯ ПОДАРИЛ

Это Бог мне, наверно, тебя подарил —
Вечер ожил, и ночь не страшна.
В небо выпорхнет птицей рассвет белокрыл,
И куда-то уйдёт тишина.

Улыбнётся окно озорному лучу,
Разыграется ветреный май.
Я на крыльях рассвета к тебе прилечу,
Только имя шепни невзначай.

* * *

В снежный день тепло принёс циклон,
И сугробы мокнут под дождями.
Птицы перепутали сезон —
В городе грачи зимуют с нами!

Осень ли не хочет уходить
Иль весне велели торопиться? —
Но зиме приходится белить
Заново декабрьские страницы.

Спрятан кружевной её наряд
В сундуках морозного рассвета.
А секунды в Новый год спешат,
Добавляя в ночь минутку света,

Чтобы час прибавить январю —
Рождество отметить и Крещение.
Ну а мы порадуемся дню,
Где любовь есть, вера и терпенье.

* * *

Всё сплелось — дни рожденья, утраты,
Снежный ком, потепленье, мороз.
Ждём весны, как сердечной отрады
В русском танце берёзовых кос.

Ты играй, гармонист, и насвистывай —
Русь-лебёдушки царственна стать!
Будут ветры скандалить неистово,
Ей — душою — ветра усмирять.

А как грянет листвы плясовая,
Да умоет весенней грозой —
Снова сила земли вековая
Богатырскою станет стеной.

ВЕСНОЙ САЖАЕМ СЕМЕНА

Весной сажаем семена,
А летом — охраняем.
И вот уж осени пора:
Свой урожай снимаем.

А сохранится ли зимой
До новых вёсен радость?
И дождь, и снег... туман и зной...
Любви бы всем досталось!

Евгений Захарченко



Евгений Владимирович Захарченко родился в городе Курске в 1960 году. В 1982 году окончил военный инженерный вуз в Ленинграде. Первые поэтические пробы состоялись именно в это время. Затем, на протяжении многих лет, он периодически брался за перо, повинаясь неосознанному внутреннему голосу.

Сейчас Евгений Захарченко живёт в подмосковной Коломне. Именно здесь, в «Коломенском альманахе», состоялась его первая публикация в 2006 году. Позже печатался в журнале «Молодая гвардия». В 2016 году вышел первый сборник — «Рубеж атаки».

Награждён литературной медалью им. И. И. Лажечникова. Лауреат и номинант литературных конкурсов.

Член Союза писателей России.

РУКОПИСНЫЕ СТРАНИЦЫ

АРБАТСКИЕ ТЕНИ

Босые ноги на асфальте,
И шёпот летнего дождя,
Как будто отзвуки на альте
Вокруг тебя, вокруг меня.

Струится вечер серой прядью,
Мерцают тени, уходя,
И веет воздух благодатью
Вокруг меня, вокруг тебя.

Сердца влюблённых на Арбате
Идут с танцующим дождём,
И счастье плещет на асфальте,
И мы опять чего-то ждём.

...Два одиноких силуэта
Под шёпоты ушедших дней
Дождям Арбата шлют приветы
Среди теней, среди теней...

КОЛОМЕНСКИЙ СОНЕТ

Ушедшим поэтам

Рукописные страницы
Осыпаются в руке...
Образ Прошлого приснится,
Растревожит сердце мне.

Взгляд с грустинкой исподлобья
В бездну Вечности уходит...

Памятью клубится вечер...
С растревоженных страниц
Буквы вьются, словно ветер,
Точно стая хищных птиц.

Взгляд ночного небосвода
Ослепил огонь комет.
Шар земной вращают снова
Вера, Слово и Поэт.

164

ЕВГЕНИЙ ЗАХАРЧЕНКО

КРЕЩЕНИЕ В КОЛОМНЕ

Бронёю ледяной скрывается река,
Бойницей пойман луч алеющего солнца...
Соборы помнят мощь былинного полка
И воинских кольчуг закованные кольца.

Зарёй вечернею багрянятся дома,
И кремль туманами укутала зима...

Вновь колокол литой с народом говорит,
Его могучий звон Христовым зовом полон.
И голубь очертил мерцание зари,
И кажется — с небес нисходит Голос.

Крещенский мир дарует радость нам!
Приемлет иордань молитвенные рати,
И струйки ладана восходят к образам,
И сердце полнится морозной благодатью!

НАС ГОРЫ ЗОВУТ...

*Горам моей юности,
друзьям-альпинистам*

Нас горы зовут неизвестно зачем
Дыханьем снегов и ветров.
От вещей планиды мы ждём перемен,
Вращаясь в спирали времён.

И горное эхо зовёт нас к себе
Пройти по скалистой Судьбе.

По склону подъём отдаётся в висках,
Над бездной встаём в полный рост.
Крюки мы вбиваем и стынем в витках,
А ветер несёт под откос.

Звенит ледоруб, и шумит камнепад,
Вгрызаются в гору сердца.
От прошлой утраты застонет душа,
Но с другом страховка крепка.

Мы в связке с тобой, зубы стиснув, идём
Тропою крутой в небеса.
В заоблачном мире себя обретём,
Где снежные спят паруса!

Ослепнув от солнца, под мощью ветров,
Вдыхая морозный угар,
Мы рвёмся вперёд на вершины миров
Принять завершающий дар!

И горное эхо зовёт нас к себе
Пройти по скалистой Судьбе.

О ЧЁМ МЕЧТАТЬ?

Моей супруге Ольге

О чём мечтать? Что нынче греет душу?
Ночей огни, малиновый закат?
Далёкий гром, что слышится всё глуше,
Луной облитый яблоневый сад?

И мира бесконечные приметы
Скрывают в сердце тайны и ответы...

Разверзлось небо ливнями прохлады,
Играет ветер шапками лесов,
Сверчок в ночи стрекочет серенады,
И мир окутан омотами снов.

Река парит, разбужена зарёю,
Озоном надыхался гулкий бор...
— Судьба ведёт нехоженой тропею...
...И мы с тобою рядом до сих пор.

ПОМИНОВЕНИЕ

*Час мужества пробил на наших часах...
Ахматова*

Вновь Россия скорбит у стола,
Поминает сынов своих славных.
На крестах выступает смола
У погостов великой державы...

И уходят в небесный предел
Те, кто встали навстречу беде.

Сколько их полегло с давних пор
На защите Отчизны и мира —
От афганских отрогов и гор
До песков раскалённой Пальмиры!

И стоит поминальный стакан
Вместе с коркой подсохшего хлеба,
И молитвы вечерний туман
Струйкой ладана тянется в небо.

СНИМКИ

Пожелтевшие снимки в руках,
Голос прошлого в них притаился...
Шелест Времени слышен слегка —
Словно сполохи вещей зарницы...

Вот мальчишкой седлаю коня,
Воздух пьян сенокосным угаром;
Тёплый хлеб и кувшин молока,
Рожь кольшется спелым пожаром...

Снимки — ответ далёкой поры:
Снова с мамой грибы собираем;

Это осени щедрой дары,
Это ветер вихры мне ласкает.

Вновь лапта и футбол во дворе,
И «казноба» лукаво смеётся,
И багрянится лист в октябре,
Жизнь кружит за высоким оконцем.

Точно речки нежданная рябь,
Вспыхнет юность — простыми листками.
Кто вернёт мне тот милый октябрь?
Только память моя... Только память.

ГОЛОС

Грозный Голос исходит из Вечности,
Говор звёзд размечает пути:
Шлейф кометы поймай в бесконечности,
Наваждения Зла отврати.

Расскажи о поруганной совести,
О тоске казематных потех
И поведай в неведомой повести
О распятых, растерзанных тех.

Заступи за пределы познания,
Раскрути у Судьбы колесо.
Ведь не будет тебе оправдания,
Если смерть вдруг заглянет в лицо.

Засмеётся белёсою маскою,
Груды скорби подарит, губя.
Притаится за звёздными связками
И окутает сетью тебя.

Охвати своим взглядом вселенную,
Распахнётся её Высота.
И спасёт твою душу нетленную
Нерушимое солнце Христа...

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Удивительное событие совершилось в Доме Озерова 6 марта! За всю многовековую историю Коломны в её культурном пространстве не происходило ничего подобного. Роман Славацкий вдохновился композициями московского эмалиера Андрея Авдеева, и в итоге получилась новая книга стихов — «Эмаль». В двадцати четырёх сонетах неожиданно раскрылись смыслы, о которых, может быть, не догадывался и сам художник. В любом настоящем вдохновении, которое дарует Господь, есть некоторые скрытые духовные слои, подчас неведомые самому автору.

Вот и Роман Славацкий, создавая свои стихи, не задумывался о том, какие музыкальные ассоциации могут они породить. И нашёлся в Коломне музыкант — Герман Иванов, который не только уговорил Славацкого начитать стихи. Он поместил это чтение в пространство музыки и звуковых эффектов. Зазвучало эхо, шум дождя, отзвуки грома... Так появилась настоящая аудио-книга, которая стала самостоятельным художественным произведением.

Свидетели удивительного действия в Доме Озерова увидели, таким образом, явление синтеза искусств, когда в таинственной полутьме возникали на большом экране эмали Авдеева и звучали строки Славацкого, многократно усиленные музыкой.

Ещё большему впечатлению способствовали несколько реальных эмалей, выставленных Андреем Авдеевым. И, кроме того, было очень важно, что аудиокнигу сопроводила реальная книга, представленная зрителям. Издательский дом «Лига» подготовил замечательную публикацию, блестяще передавая драгоценное многоцветие авдеевских эмалей, сопровождаемое стихами коломенского «гроссмейстера сонета». Книга была ярко представлена директором культурного центра «Лига» Ольгой Милославской.

Особую благодарность надо высказать Наталье Яриновской, которая искусно создала макет издания, органично соединив картины и стихи.

Нужно сказать тёплые слова и в адрес Дома Озерова и особенно — в отношении звукорежиссёра Антона Матвеева. Он проделал огромную многочасовую работу, ставя звук. Благодаря ему, великолепный выставочный зал зазвучал, подобно сказочной морской раковине. И ведь он же работал над видеорядом! Дело в том, что типографский материал, сделанный с небольших композиций, терялся на просторном экране. Антон сумел так «растянуть» картины, что они нисколько не потеряли ни в рисунке, ни в цвете.

Эмаль — очень древнее искусство, берущее начало несколько тысяч лет назад, в Междуречье. И разве не удивительно, что оно сегодня обретает новые формы в России! Если конкретно говорить о творчестве Авдеева, то оно чрезвычайно многообразно! Здесь есть и чисто декоративные композиции, но встречаются и библейские сюжеты, и даже иконы, продолжающие старинную русскую традицию эмалевых образов.

Как не поблагодарить Германа Иванова, который свёл в одно действие совершенно разные искусства!

Будем надеяться, что это благодатное начало получит продолжение, и мы ещё увидим новые замечательные действия, исполненные торжественности и красоты!



Владимир Валерьевич Семенюк родился в 1972 году в городе Коломне, в Щурове, на месте слияния двух рек — Москвы и Оки, где и провёл детство и юность. Тогда же начал писать стихи.

Учился на историческом факультете КГПИ. Затем — армия, жизнь и работа в Москве. В 2001 году вернулся в Коломну. За время сознательной деятельности, в силу своей любознательности, сменил множество профессий — от бармена, менеджера и коммерческого директора до куратора группы милосердия при Троицком храме в Щурове.

В 2016 году стал одним из основателей в городе Коломне благотворительного фонда «Забота и Жизнь», в котором и работает директором по связям с общественностью.

НЕ ПОТРЕВОЖЬТЕ СНА ЛЮБИМОЙ!

* * *

Не просите меня подождать.
Я страшусь пустоты ожидания.
Я не верю уже в обещанья —
Не просите меня подождать!

Не зовите меня убежать
От тоски в край беспечного детства.
От себя не спастись глупым бегством, —
Не зовите меня убежать!

Не учите меня побеждать.
Я постиг глубину поражений.
Не взлететь к небесам без падений, —
Не учите меня побеждать!

Не пытайтесь меня убеждать.
Я безумствую слепых убеждений
Предпочту благородство сомнений, —
Не пытайтесь меня убеждать!

Не спешите меня осуждать.
Не питайте души сей отравой:
Бог — он сам разберётся, кто правый, —
Не трудитесь других осуждать!

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Хочет ветер сумасшедший,
Неистов, дерзок и ретив,
Насвистывая нам мотив
О той зиме, давно ушедшей.
О том, как мы издалека
Брели с тобой дорогой белой,
И я ладонь твою несмело
Сжимал в руке своей слегка.

Наш след давно уж затерялся.
Забилось рук твоих тепло.
Уж столько в бездну утекло! —
И лишь теперь я догадался,
Зачем коварная судьба
Чувств неизведанных стремленье
И наше робкое влечение
Нетронутыми сберегла...

Чтоб зимним вечером когда-то
С тобою встретились мы вновь
Уже познавшими любовь,
И боль измены, и утрату.
Из нас чтоб каждый — от скитаний —
Хотя б на миг вернуться мог
На безмятежный островок
О юности воспоминаний

И напоить на этой суше
Глотком невинной чистоты
В пустыне вечной суеты
Слегка иссохшую нам душу.
Чтоб время, повернувши вспять,
Влюблённостью воскресло чудной,
Чтоб побрели тропой безлюдной
Мы, взявшись за руки, опять.

* * *

Я кого-то любил... я чего-то искал...
Или это был сон?.. или бред оголтелый?
О, сомненья мои! — я чертовски устал.
Не терзайте ночами души омертвелой.

Я пытался до звёзд дотянуться рукой,
Но вершин не постиг, не довольствуясь малым,
И теперь я хочу обрести лишь покой
И укрыться пуховым его одеялом.

И забыться под ним, и не ведать тоску,
И вдали от раздумий бесплодных услышать,
Как неведомый кто-то строгаёт доску,
Что послужит моею последнею крышей.

И когда я под ней в заколоченном сне
От печалей навек схорониться сумею,
Не грустите напрасно, друзья, обо мне!.. —
Это я вас, отставших, ещё пожалею...

* * *

И. Ф.

171

Горела между облаками
Луна неоновым пятном.
Стелилась ровно перед нами
Дорога серым полотном.

Нам было не до остановки,
Не близко и не далеко,
Порой нечаянно-неловко,
Но и... нечаянно-легко.

Мир задремал... не Бог, не ветры —
В ту ночь лишь только мы с тобой
Неспешным шагом, метр за метром,
Вращали целый шар земной!

Что позади?.. не так уж много!
Влеченье, дерзкие мечты.
Но вижу: серая дорога,
Ночь, тишина, луна и ты...

ДОЧКЕ

Вернувшись как-то
Поздним вечером домой,
Прокрался тихо я
К своей подушке:
Уж ты сопела мирно
Рядышком со мной,
Лишь грёзы были
До утра твои подружки.

Минувший серый день,
Я проклинал его!
Но, лишь рукой тебя
Коснулся еле-еле —
Душа оттаяла:
Ведь в мире ничего
Ещё не видел я
Прекраснее доселе!

Котёнок ласковый!
Когда-нибудь и ты
В ночи познаешь
Это дивное блаженство —
В чертах чистейшего,
Святого совершенства
Искать, искать и
Находить свои черты!..

Спи безмятежно.
Невесом ночной покой.
Мечты и грёзы —
До утра твои подружки...
Ещё немного
Полуюсь я тобой,
Прелестный ангел мой,
Сопящий на подушке.

БРОДЯЧАЯ СОБАКА

С битым сердцем иль мордою в драке
Взгляд поднимем на образа.
А бродячей, бездомной собаке
Вы хоть раз заглянули в глаза?

Так, однажды с опаской, несмело
В лютый холод потрёпанный пёс

Прислонился ко мне тощим телом
И засунул в рукав мокрый нос.

Колотила торчащие рёбра
Неуёмная, частая дрожь,
И на рыжих его дохлых бёдрах
Шерсть тряслась, как колосится рожь.

Лапы в вечных скитаньях устали,
Блохи грызли худые бока,
Что недавно опять испытали
Тяжесть кованого каблука.

Обожгло душу злостию пылкой:
Видел я, как, довольный собой,
Тот, ударивший, с дикой ухмылкой
Удалялся от нас стороной.

Этот пёс мог поведать бы много,
Жаль, ему говорить не дано.
Но имей этот дар он от Бога —
Знаю: больше б молчал всё равно.

Где-то рядом вдруг скрипнула дверца,
И глазами с ним встретились мы,
Непохожие, — два разных сердца,
Два чужих существа средь зимы.

Что-то мне показалось знакомым,
И в меня зыбкий трепет проник...
С этих глаз нам писать бы иконы,
А не метиться камнями в них.

Я нахмурился... были причины...
И промолвил бродячему псу:
«Хочешь, в дом тебя, дурачина,
Я сейчас на руках отнесу?»

Накормлю, хоть живу и не густо,
И пущу тебя спать в свой покой.
Только, знаешь, так зябко и пусто
В тех покоях бывает порой!

И тогда не к родным иль знакомым —
Под неистовый хохот невежд
Выхожу побродить я из дома
По помойкам разбитых надежд.

Я брожу с тобой, пёс, по соседству:
Знать, ещё повстречаемся мы —
Два чужих, неприкаянных сердца,
Два родных существа средь зимы.

Не стесняйся же, пёс, и за муку,
За былую бессильную злость —
До крови укуси мою руку
Ты за всё, что стерпеть привелось...».

Долго так просидели мы рядом.
Растопил, что во льду полынью,
Тем печальным, доверчивым взглядом
Пёс озябшую душу мою.

И хотелось тогда мне во мраке
На луну в чистом поле завывать.
И хотелось, подобно собаке,
Разучиться совсем говорить.

* * *

Ко сну клонится день над тихой рекой.
Туманной пеленой подёрнуты сомненья,
А неба глубина и полумрак весенний
Вливают в твою суть божественный покой...

Когда ж взрывается несметных звёзд салют
И на поля луна роняет луч небрежно —
В душе, как океан холодной и безбрежной,
Иные берега из мрака восстают,

Куда при свете дня нам всем заказан путь,
Где всё — не как всегда и будто по-другому.
Скажи, мой друг: тебе такая грусть знакома,
Где тихая печаль объёмлет нежно грудь?

Туда, где вновь свежи далёкие века,
Не ведома ль тебе полночная дорога?
Где трепетно живут и радость, и тревога,
И первая любовь, и счастье, и тоска...

* * *

Не потревожьте сна любимой,
Когда в объятиях твоих,
Вином иль негою томима,
Она заснёт в единый миг.

Что видит та, что всех дороже,
Во сне, прильнув к моей груди?
Как мы близки, хоть непохожи,
Что ждёт нас в жизни впереди?

А видишь просто ты, быть может,
Цветов бескрайние поля...
То, что души не потревожит.
Не разбужу тебя и я.

Пусть ноет согнутая шея
И затекла давно рука, —
Боюсь неловким я движеньем
Спугнуть Морфея-мотылька.

Ведь он венцом очарованья
Облюбовал моё плечо.
Полуоткрытых губ дыханье
Так несказанно горячо!

Блаженство, что со мною рядом,
В сей миг — все грёзы и мечты.
Готов я вечно нежным взглядом
Ласкать любимые черты.

Благословите те мгновенья,
Замрите и в тиши ночной
Познайте искру вдохновенья,
Любовь, и счастье, и покой...
Не потревожьте сна любимой!

ЗИМНИЙ ВАЛЬС

Я зимней ночью любовался,
Как в одеянье неземном
Под звуки северного вальса
Метель кружила за окном.

Взмахнувши шалью белоснежной,
Она творила дивный бал.
В порыве дерзком и мятежном
Ей ветер скрипкой подпевал,

Ветвей дерев во тьме касаясь,
Как струн, невидимым смычком.
В сугробах вихрем кувыркаясь,
Он припадал к земле ничком.

Бесились тысячи снежинок,
А вихрь их на руках носил,
Покуда, танцем одержимы,
Не выбились они из сил.

И ветер, с неуёмной спесью
Неутомимый дирижёр,
Вновь уносил их к поднебесью
И снова гнал во весь опор.

Нарочито галантно-грубы,
Лихого озорства полны,
Мороза пламенные губы
Лобзали бледный лик луны.

Та, смущена, по небосводу
Меж тесных облаков плыла,
Взирая вниз, на ту природу,
Что в снежном танце ожила!

БЕЗВОЗВРАТНО УШЕДШЕЕ

Расплескало прощальное солнце над кручей
Золотисто-багровое марево вновь.
Беззастенчиво лижут свинцовые тучи
Уходящего лета остывшую кровь.

Покоробились ржавчиной падшие листья,
Посерела вода в обмелевшей реке.
Где-то ветер холодный над берегом скалистым
Заунывную песню поёт вдалеке.

Нагло ломится в двери и в душу без стука,
Отгоняя покой и счастливые сны,
Непосильно гнетущая, мёртвая скука
И боязнь не дожить до грядущей весны.

ОПУСТОШЕНЬЕ

С похмелья, как я, пробудившись однажды,
Безоблачным утром, в четвёртом часу,
Рассвет молодой от мучительной жажды
Лакал с упоением степную росу.

За глупость ночную мы платим жестоко:
От чьей-то любви не осталось следа.
По воле глухого к страданию рока
Из крана на кухне сбежала вода.

Восходу полегче: чтоб вспомнить былое,
Не нужно копать в больной голове.
Ему и туман, и распутство ночное
Вернулись спасительной влагой в траве.

Я жив... но ничто не случается дважды, —
Тоска и смятенье... И грезится мне,
Как, облаком белым проснувшись однажды,
Я буду беспечно парить в тишине,

Как в жизнь с новой силой безумно влюблённый,
Проснусь я травинкой в тенистом лесу,
С покоем обручен и всеми прощённый,
Глоток чистоты в новый день принесу.

МНЕ ПРИСНИЛОСЬ

Мне приснилась жизнь без тягот,
Без источника вода.
Мне приснился сад без ягод
И тропинка без следа.

Мне приснилась кровь без боли,
Расставание без слёз.
Мне приснилась рожь без поля
И телега без колёс.

Мне приснился год без лета,
Без цветов и трав луга.
Мне приснилась тень без света
И без моря берега.

Мне приснился стог без сена,
Без страдания любовь.
Мне приснилась смерть без тлена...
И приснилась ночь без снов.

* * *

Лучей худые ноги свесив,
Прильнув к теплу печной трубы,
Заночевал рогатый месяц
На крыше старенькой избы.

И видел сон, как он весною,
Цветеньем опьянён слегка,
Бодал седые облака,
Что ветер с юга гнал гурьбою.

И как, запутавшись в ветвях
И притаившись, словно вор,
В саду подслушал разговор
О чьих-то пламенных страстях...

В плену беспечных юных снов
Он не проспал едва рассвет
И, соскользнув за частокол,
За звёздами умчался вслед.

* * *

Я сегодня совсем уж не тот, что вчера,
Хоть надеюсь: ещё далеко до причала.
Всё скучней и грустней для меня вечера,
И тоскует душа, и так сделано мало.

Я не сплю и смотрю в законную даль,
Там мне вторят, согнувшись под ветром, берёзы
И роняют на камня немую печаль
Золотую листву, как надежд несвершившихся слёзы.

* * *

Прошу прощения у всех,
Кому, пусть даже и невольно,
Я в этой жизни сделал больно,
Взвалив на душу тяжкий грех.
Простите все, кому солгал,
Хоть думал: это во спасенье,
А не нашедши сожаленья,
Был робок и душою мал.
У тех, кого не понимал,
Кого обидел равнодушьем,
Совет чей добрый счёл ненужным
И чьих надежд не оправдал.
По жизни чей нелепый бег
Я меркою не тою мерил,
За то, что я не отпер двери
Всем, кто просился на ночлег.
За то, что не свершил, хоть мог,
Растратив силы на пустое...
Но коль меня за всё бывшее
Простите вы — простит и Бог!



Анна Владимировна Лексина родилась в Москве, росла в деревне Бакунино Коломенского района. Там она с ранних лет видела красоту подмосковной природы. Училась на историческом факультете Коломенского педагогического института, по окончании которого поступила в аспирантуру при кафедре литературы. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Историческая проза Всеволода Соловьёва: генезис и поэтика» под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры литературы Александра Петровича Ауэра

В 2009 году у Лексиной вышла первая книжка стихов «Дом дружбы поэтов».

Живёт в деревне Бакунино Коломенского района.

ДОРОГИ СОЛНЕЧНЫХ МИРОВ

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

... а помнишь, дождливым летом
С тобою сушили небо:
Любовью и ярким смехом,
Касанием тёплых рук.
Шептала тебе: «Запомни
Тот день, когда милым не был.
Запомни меня — красивой,
А после — совсем забудь».

... а помнишь, ловили солнце
В зеркальных ловушках-лужах,
Плескали его друг в друга,
Крещенья обряд свершив.
Просила тебя: «Запомни,
Что солнечным детям нужно
Увидеть весь мир красивым,
А после — легко забыть».

* * *

... не помню, что было дальше:
Какие века и люди?
Ночами мне что-то снится.

Проснусь — не припомню, что.
Звала я кого — не знаю.
Теперь только мне и нужно
Пойти по дороге к солнцу
С распахнутым в мир лицом.

С ЧИСТОГО ЛИСТА...

Очищает зима
Удивлённые души,
Осыпая дома
Из бездонных хлопушек.

Хорошо, что мы дышим
Этим утром морозным,
Хорошо, что мы пишем
О простом и серьёзном.

Засыпает следы.
Снова в мире пустынно.
И полярной звезды
Ожиданье безвинно.

ПОДОРОЖНАЯ

Солнечным знаменем светлым
Манит в далёкую жизнь,
Ты не печалься, мы вместе,
Крепче за сердце держись.

Будем всегда улыбаться,
Что бы ни встретилось нам,
Надо терпеть и стараться,
Будем читать по губам.

Линия правильной жизни
Станет намёткой пути,
Только над пропастью — свистни,
Нам от неё не уйти.

Яркие зёрнышки правды
Снова в земле прорастут.
Будет в мелодии главным
Шелест бегущих минут.

БАБУШКИН РАЙ

Моей бабушке — Анне Семёновне Куличевой

В уютном мире
бабушкиных снов
пить чай,
смотреть на
рук её творенья,
жалеть, любить,
чесать её котов,
тихонько сочинять
стихотворенья.
У бабушки
в теплушечке легко.
Её заботы греют,
защищают,
и лечат
разочарованья чаем,
и рек зовёт
парное молоко...

СКАЗКА НА НОЧЬ

*Моим дорогим и любимым Ульяне и Сашуле —
каждой и всегда*

Спи, малышка, это только книжка.
Плачь — не плачь, но ставит автор точку.
Вот тебе пушистый белый мишка,
Самая внимательная дочка.

У тебя всё будет по-другому:
Добрый друг всегда плечо подставит.
Все твои дороги будут к Дому,
В Доме ждёт Любовь, что всё исправит.

Для тебя поют все птицы песню:
Там сияет солнце, море плещет,
Добрый мир, прекрасный и чудесный,
Над твоей кроваткою трепещет.

Милая, ты будешь жить счастливой
От рассветов чудных и закатов,
Радуйся истории красивой,
Что в ладошке у тебя зажата.

Каждый миг тебе несёт подарок —
Жизнь сама собой всегда приятна.
Пусть твой голос будет свеж и ярок
На путях Вселенной необъятной.

СКАЗКА

Золотые дни любви
Теребит июльский ливень —
Стало небо шаловливей,
За околицу зови.

Приготовили постель
На лугу чабрец и клевер,
Вам — направо, нам — налево,
С нами — чудо-журавель.

Земляникою — уста,
Руки — ветром нежным, смелым,
И сияет день наш белый,
Жизнь — прекрасна и проста.

ВЫХОДНОЙ

Попрошу выходной у судьбы,
 Попляшу у мечты на углях.
 Подниму все слова на дыбы,
 Побегу вместе с ними на шлях.

Будем шляться по дебрям страниц,
 Бурелом убирая с пути.
 Будем рады приветам синиц,
 Благодарно сидящих в горсти.

Привечая входящих лучом,
 Посияем для них серебром.
 Бесконечности крикнем: «Ура!».
 Бой часов. Возвращаться пора.

ОТРАЖЕНИЕ

Когда среди красот природы
 Не можешь слова проронить,
 Обняв закаты и восходы,
 Клянёшься мир всегда любить,
 Вдруг, невзначай, родится Слово,

И музыка ему вторит,
И понимаешь, что природа
Тебе о том же говорит.

Когда-то человек немел
Перед величием природы.
Он был смешон и неумел,
Не зная прелести свободы —
Свободы творческой любви
К любому проявлению жизни.
Кричал весь мир вокруг: «Живи
И радуйся! Не будь капризным
Рабом потребностей своих!».
И человек придумал стих.

И Слово стало талисманом,
И лекарем, и маяком,
Спасающим культуры дом
Труда и красоты романом.

ПРОГНОЗЫ БЫТИЯ

Завтра без осадков, минус девять,
Без томлений и переживаний,
Ждёт нормализация давлений,
Если никакой судьбе не верить.

Ждёт преображение природы,
Снежно-меховое восхищенье,
Больше не потребуют леченья
Смирные седые небосводы.

Всё спокойно, в меру веет ветер,
Через провода снега роняя,
И любовь случайно замерзает,
Двери в жизнь привычно не заметив.

Кто-нибудь найдёт и отогреет,
Запряжёт в оглобли мироздания,
А луна — полнощная такая! —
Над прогнозом тихо-тихо дремлет.

ФАКЕЛ ВО ТЬМЕ

В танце иных времён
Факел летит — вверх!
Будешь всегда спасён,
Если в глазах — свет.

Если в душе тьма,
Новый зажги костёр —
Будет судьба сама
Твой поправлять топор.

Крепче держи — жизнь,
Тех, кто замёрз, — грей,
И про тебя споют:
«Он — капитан Грэй!»

АЛЫЙ РОСЧЕРК

Звёздные ворота —
в снежной пелене.
Если есть дорога —
вспомни обо мне.
Будем петь и плакать,
танцевать и жить,
главное — до завтра
чуда не забыть.
В облаках смеяться,
слушать смех небес, —
добрым постояльцам
радуется лес,
на лугах, укрытых
свадебной парчой,
подождём разбитых
не параличом, —
разочарованьем,
чтобы — поддержать,
и туманным утром
встретиться опять...

СОЛНЫШКУ

Только тебе
Звонкую песнь петь,
Славить твои
Яркие письмена.
Знать о себе,
Ждать и пока терпеть,
Пламя любви
Выжжет все имена.
Петь и гореть,
Чтобы восстать золой,
Новым росткам
Путь облегчить к мечте.

Мир обогреть
Радостью золотой.
Славным делам —
Новый почин затей!

САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ

Грейтесь лучше самой длинной ночью,
Бегайте, играйте и пляшите.
Вновь приходит время многоточию:
В свете звёзд желания ловите.
Подружитесь с воздухом морозным,
Искрами костра его украсьте.
Пусть всё будет лёгким, несерьёзным,
До утра в снегах природу славьте!
На рассвете поднимите парус
Облаков — пурпурно-золотистых.
Петь хвалу земле — такая малость
С ветром ввысь вздымающихся истин.

ПОСТЭЛЕГИЧЕСКОЕ

В сердце есть такие уголки,
что сияют ярко, согревая
тех, кто утомился от тоски,
в жизни бесконечно застревая.

Глядя на закат и на восход,
терпеливый ход природы мирной,
вспоминать, что есть всего семь нот,
радующих лёгкостью эфирной.

Слушать ветра песни поутру,
вечером смотреть на листьев танец...
Ни за что на свете не умру —
солнце тянет мне протуберанец!

ОКТЯБРИНКА

Серебряные нити
Зашнуровали свет...
Я знаю, солнце выйдет.
А может быть, и нет.

Усядутся вороны
Рядочком у ворот,
Приветливые клёны
Меня зовут в поход.

А я весь день валяюсь
В бессмысленных мечтах,
Нисколько не раскаюсь,
Очнусь на облаках

И буду спорить с ветром,
Кому будить луну,
А солнце мягким светом
Укроет всю страну.

ПЕРЕДЫШКА

Когда тебе захочется устать,
Приляг в укромном уголке планеты.
Там будут мир, покой, тепло и лето, —
Заботам никогда не отыскать.

С тобой споёт о будущем сверчок,
Пошепчутся берёзки и рябинки.
Небесной манны звёздные крупинки
Уют чудес опустят в твой сачок.

Тогда забудется твоя усталость
И грусть-печаль: какая это малость!

В ДРУГОЙ РАЗ

В другой раз всё будет по-другому:
Убегут мои часы из дому,
На дорогах будет очень тихо,
Потому что не проснулось лихо.

Будем мы смеяться, словно дети,
На большой и радостной планете.
Будем звёзды дёргать за косички,
Слово «мы» не будем брать в кавычки.

Ты же знаешь — это всё случится,
Будет перевёрнута страница.
В мире добром, в мире незнакомом:
В другой раз всё будет по-другому.

Владимир Куликов



Владимир Вячеславович Куликов родился в Коломне. Окончил Рязанский радиотехнический институт. Служил в зенитно-ракетных войсках.

Стихи начал писать довольно поздно. В его строках обычное кажется необычным: на стенах городских домов, словно деревца, проросли антенны; луна не просто гуляет по небу, а движется космической колеей. Автор умеет тонко и точно подметить незнакомое в известном, по-своему показать читателю красоту окружающего мира.

МНЕ СЕГОДНЯ НЕ ДО СНА

* * *

Туман стоит над городом,
Туман по крышам стелется.
Антенны, словно деревца,
На мокрых крышах кренятся.
Кто только выдумал туман,
Зачем повесил дымку эту?
Реки молочной кран открыв,
Пустил гулять по белу свету.
И очертания домов
Теряют стройность в белой дымке,
Как будто кто-то растянул
Их стены в ласковой улыбке.

* * *

Бабье лето, бабье лето
В середине осени.
Как прощальные приветы
Нам от лета бросили.
Вдруг внезапно, как в испуге,
Чуть подует тёплый ветер,

Подогреет всё в округе
И напомнит нам о лете.
Побалует так немного,
Даст понежиться теплом,
А потом, как прежде, строго
Осень к нам приходит в дом.

* * *

А ты сегодня так грустна.
Я тонко чувствую всё это.
И мне сегодня не до сна,
Я вспоминаю наше лето.
Пройдут дожди, пройдёт зима,
Придёт зима. Наступит лето,
И ты почувствуешь сама
Всю радость песни недопетой.
Хоть ты сегодня и грустишь,
Я тоже мог бы, но не надо,
Быть может, ты меня простишь
За то, что я сейчас не рядом.

* * *

Стоит на базаре невзрачная тётка.
Торгует, чем есть, и ещё добротой.
А той доброты осталась лишь горстка,
«Бери, сколько есть... Человек я простой.
Ну, хочешь — отдам просто так я, задаром,
Не жалко. Ещё мне пришлют.
Но только бери уж в ладони, без тары,
И сразу домой, где тепло и уют.
А там из ладоней рассыплешь, где нужно,
Посеешь везде доброты семена,
И если согреешь — взойдут они дружно,
И будет в семье доброта лишь одна».

МАСЛЕНИЦА

Издrevле этот праздник
На Руси справляют.
Гласит о том предание
И верить заставляет.
Масленица, Масленица —
Проводы Зимы.

Чучело нарядится,
Кругом пекут блины.
Шумное веселье —
Праздник для души.
Хочешь, не хочешь, —
А ну, давай пляши!
Катание на розвальнях
По улицам заснеженным,
По поводу такому
Веселье неизбежно.
А удалцы упорно
На столб залезть стараются,
Скользят на нём задорно,
Хоть что-то снять пытаются.
Народ наш веселится,
Снежки вокруг кидают
И, чтоб с Зимой проститься, —
Чучело сжигают.

* * *

Мороз и солнце.
Закат на небосклоне.
Дымок над крышей вьётся,
В вечернем небе тонет.
Лишь вечер наступает —
Огни зажгутся в окнах.
Деревня затихает,
Собаки брешут только.
Течёт неспешным шагом
Зимую жизнь в глубинке,
Лишь только до сельмага
Протоптана тропинка.
А звёзды светят ярко,
Чуть месяц оттеняют.
Чтоб в доме было жарко —
Огонь в печи пылает.
Мороз всю ночь крепчает,
Трещит и в щели лазит,
Своё он дело знает —
Узором окна красит.
Ночная тишина
Деревню обнимает,
Красой своей полна,
Навстречу мне шагает.
Кругом лишь звёзды только,
Луна на небе тает,
Висит лимонной долькой
И утра ожидает.



Марта Сергеевна Маркова родилась в Москве в 1999 году, но всю свою сознательную жизнь провела в Воскресенске.

Пишет стихи и прозу с семи лет. Её произведения печатались в московском детском журнале, в других литературных сборниках. Лауреат премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» по итогам 2017 года. В настоящее время учится в Колонне на втором курсе филологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ).

ЗАПАХ ДЫМА

ТУМАН

Мотылёк вокруг лампадки крутится,
Копошатся ивовые прутьяца...
Мне в туман бы, в белое и чистое,
Что живёт, нетрепетное, исстари.

Там, в глубинах, выбеленных дочиста,
Может, ткутся судьбы и пророчества.
Может, там, за белыми болотами,
Смерть и жизнь подёрнуты дремотою;

Может, там младенцем с бледной кожицей
Истина рождается и множится?
Я спущусь к туманам — расспросить-понять,
Платою туманы заберут меня.

ВОЗМОЖНО

Возможно, что каждый,
Поэт или не поэт,
Взглянувши однажды
На струйки от сигарет,

Сравниет их с небом
Белёсым, как этот дым,
И сгинет волшебник,
Надеждам не дав плоды.

Он в этих головках
Настраивал камертон,
Чтоб бегло и ловко
Улыбки подать на стол,

Чтоб радостным духом
Парил в переулке ты,
Чтоб мир твой не рухнул
Под тяжестью пустоты.

Эфиров изящных
Исчезнет тугая вязь,
И мир настоящий
Откроется для тебя.

Увидишь рассветы
Без красок и без огня...
Ты взглянешь на это —
И станешь таким, как я.

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ ОБЫДЕННОСТИ

И Адам соберётся — работа с утра допоздна,
Докурив сигарету, уйдёт; опустеет квартира,
И опять тишина размышленья достанет со дна —
Только Ева и кот, на руках её дремлющий мирно.

Только Ева и кот в полутёплом слезливом дыму,
Только ветер с балкона устало бросает окурки,
Что остались от страсти и скоро угаснут во тьму,
Превратившись лишь в пепел, что встретится нам в переулке.

Только Ева и кот, и дыханье холодных дворов
Из окна, одиноко смотрящего в утренний город,
Что по прежним привычкам не ищет заботливых слов
И не верит в любовь, и давно уж, к несчастью, не молод.

ТЫ

Ты — немислимое создание,
Зеленоглазое, глубокоокоое...
От твоего ледяного дыхания
У меня раскололись лёгкие.

Холоднее, чем в дальней Арктике,
В этой комнате, в серых сумерках,
Потому что в твоей галактике
Не привыкли болтать без умолку.

Я могу пребывать в отчаянье,
Хлопать дверью, взрываться, каяться —
Ты сидишь в ледяном молчании,
Недвижимо храня дистанцию.

Лишь когда, повстречавшись с пулею,
Я покончу навеки с узами,
Улыбнёшься плодам безумия,
Растворишься, как плод иллюзии.

ЗАПАХ ДЫМА В НОЧИ ОСТЁР...

Запах дыма в ночи остёр...
Лето — прочь. Запасайся лодкой:
Как Высоцкий, угас костёр,
Потянулись вода и водка.

По стеклу замурыжил дождь,
Заиграла обида-стерва.
А о ком да о чём — не поймёшь,
А узнаешь — так будешь первый.

Где ж вы — сталью литые сердца?
Полегли за болотом-хандрою...
Позабыли про мать и отца
Новички, не готовые к бою...

Чёрный хлеб разломи теперь
И себе, и врагу, и другу,
И со всеми, кто помнит — верь,
Пой свой гимн, да в чужой округе.

САЛЮТ

Майские листья неведомо как легки.
Ветер пригладил потоки и дум, и слов.
В праздничном небе рождаются огоньки,
Смех мимолётом доносится со дворов.

Я убываю, как стан восковой свечи,
Пламени духи отходят в былую даль.
Только не будем о грустном. Взгляни: зачин
Сказки весенней бежит по людским следам.

Надо учиться, неверию вопреки,
Этой науке из сотен других наук,
Просто смотреть, как рождаются огоньки
В небе, бросающем ветер на пальцы рук.

ГОД ЗА ГОДОМ...

Год за годом камня сея,
Не вставая с худых колен,
Я, вздыхая, хрипел суховеем,
Понимая, что жизнь — тлен.

Месяц к месяцу в бездну глядя,
Чья блестит чешуя, как смоль,
Я висел в ядовитых прядях,
Понимая, что жизнь — боль.

День за днём, задыхаясь пылью,
Что в песочных часах — смерть,
Я в спасенье взрезал крылья,
Понимая, что жизнь — плеть...

... Час за часом бродя в ковыли,
Без камней, без оков, без вех,
Я целую тебя за крылья,
За веселье и юный смех.

И в минуты на солнце плавясь,
Как свечи восковой вельвет,
Я люблю... Я люблю и каюсь,
Понимая, что жизнь — свет.



Беседы
о литературе





Графика Василины Королёвой



Алексей Афанасьевич Яшин — главный редактор Всероссийского литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори» (Тула), член Союза писателей России и Белорусского литсоюза «Полоцкая ветвь», член Правления Академии российской литературы, лауреат ряда литературных и научных премий, Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, доктор биологических наук, профессор.

Автор ряда книг прозы и многих художественных публикаций в российских литературных журналах: «Уральский следопыт» (Екатеринбург), «Московский Парнас», «Истоки» (Красноярск), «Ясная Поляна» (Тула), «Подъём» (Воронеж), «Приокские зори», «Голос эпохи» (Москва) и др.

Живёт в Туле.

ГОСУДАРСТВЕННИК

2019 год — год 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Думается, что эта дата вполне заслуживает присутствия на страницах отечественной литературной периодики. А поскольку сейчас тема государственности и патриотизма не сходит со страниц литературной и иной публицистики, то сам Бог велел отметить этот юбилей, рассмотрев в ретроспективе идеологии творчества гения русской литературы.

Поэт-государственник (произведение, которое не изучают в школе)

Казалось бы, что в школе — за нынешнюю не ручаюсь, но в советской самоочевидно — творчество Пушкина изучали основательно во все времена и эпохи, за исключением коротких лет управления образованием А. В. Луначарского с его РАП-Пом (то есть во времена Троцкого), когда Пушкина «сбросили с корабля истории». Стихи, поэмы, проза, художественная публицистика — всё это нам давали в школе в достаточной степени полноты; даже шутейно-антиклерикальную «Гавриилиаду» любознательные старшеклассники читали. Не в школьной хрестоматии, конечно. Понятно, определённая тенденциозность наблюдалась, точнее — соблюдалась. Памятуя партийно-педагогические методики преподавания литературы, учителя-словесники как-то невнятно объясняли смысл патриотических стихов Александра Сергеевича:

Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?

Упор всё более делался на интернационализм, а по Пушкину выходило, как назло, что врагами России, русской государственной идеи в XIX веке являлись нации и народности, ныне (речь идёт, понятно, о советском периоде истории) образующие государства соцлагеря и братскую семью советских народов...

Не дай бог, осуждать ранее и сейчас наших добрых учителей за их следование партийно-педагогическим методикам. Сами эти методики были выверены и соотнесены с гибкой политикой руководства СССР, требовавшей сочетания в воспитании советских людей традиций государственности и идеи интернационализма. Правда, последняя трактовалась по троцкистскому образу, ибо в своей многотрудной деятельности И. В. Сталин так и не успел, точнее — ему не дали успеть, привести эту идею в соподчинение и соответствие базовой, стержневой идеи доминирующей государственности. И хотя не это явилось основной причиной разрушения русско-советской империи, но очень и очень способствовало трагедии страны, превращению её в краткий срок в... понятно, что. Но вернёмся к А. С. Пушкину.

Единственным произведением Пушкина, если не замалчиваемым, то уж во всяком случае «умалчиваемым» и ранее, и ныне, и присно, является «Путешествие из Москвы в Петербург» с приложением очерка «Александр Радищев», написанное им незадолго (в апреле 1836 года) до гибели. Написанный как художественно-публицистическая антитеза радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву», очерк Пушкина представляет отображение гражданской позиции поэта. Но почему эта небольшая по размеру прозаическая вещь, повествующая о поездке некоего путешественника, живущего безвыездно в Москве, не бывавшего в Петербурге лет пятнадцать и решившего-таки навестить северную столицу, стоит как бы особняком в официальном пушкиноведении? Более того, при не столь частой публикации «Путешествия», например, в книге «Избранное» А. Пушкина в серии «Библиотека русской художественной публицистики» (М., «Советская Россия», 1980), в «идеологическом» предисловии обязательно развивается мотив, что-де «социальные и нравственные идеи в «Путешествии из Москвы в Петербург» значительны и во многих случаях близки радищевским»; «...эта мистификация понадобилась для того, чтобы ввести нелестные для Радищева замечания, без которых нельзя было рассчитывать на публикацию очерка, и в то же время дать понять читателю, что подлинный автор так не думает» и пр.

Что здесь правда, а что есть идеологическое лукавство и литературный эвфемизм? Попробуем ответить.

В соответствии всё с той же гибкой политикой идеологии в СССР, отображение последней в литературе, равно как в искусстве и культуре вообще, выражалось в некоторой достаточно строго выдерживаемой «табели о рангах». Опять же, подчеркнём это, при некоторой искусственности, прямолинейности и исторической неправомерности такой подход был объективно полезен и гармонировал с государственной сверхзадачей.

Согласно этой табели, фигура А. Н. Радищева трактовалась как прогрессивная, предтеча декабристов, которые разбудили... далее хорошо известно. А его «Путешествие из Петербурга в Москву» однозначно признавалось произведением великим, литературно высококачественным, идейно опередившим своё время на многие десятилетия вперёд. Понятно, что все эти оценки были ориентированы на либерализм и революционный демократизм как прогрессирующую доминанту в историческом развитии России, начиная едва ли не со времён Золотой Орды... Поэтому пушкинское «Путешествие» в обратную по отношению к радищевскому (и по направлению пути следования, и по оценкам российского бытия) сторону никак не вписывалось в уложения табеля. Более того, щекотливость ситуации усугублялась и положением самого Пушкина в этой табели: как величайшего русского поэта, известного вольнодумца, почти декабриста и пр. Поэтому диалектический подход — отрицание отрицания — здесь явно не подходил. Соломоново же решение — сделать вид, что «Путешествие» Пушкина, конечно, произведение прогрессивное, но популяризировать его ни к чему — устраивало всех. На том точка над «i» и была поставлена.

В чём же публицистическая, идеологическая разница между двумя «Путешествиями»? Полагаем, что основной контингент наших читателей учился в советской школе и содержание книги А. Н. Радищева помнит если не текстуально, то по нравственно-этической и политической направленности. Дабы не превращать эссе в литературоведческий трактат, ограничимся несколькими наиболее сопоставительными тезисами (А. Н. Радищев) и антитезисами (А. С. Пушкин).

С самого начала очерка Пушкин отмечает, что некогда нашумевшая книга «потеряла свою заманчивость», прошумела скоро и была забыта; говоря современным языком, уподобилась диссидентскому бестселлеру...

Сопоставляя две российские столицы, Пушкин отмечает те значительные изменения, что произошли с ними со времен радищевских. Памятуя о том, что Радищев как прочитал в юные годы рассудочную философию Гельвеция, так и остался на всю жизнь её поклонником-неофитом, Пушкин пишет в данном контексте: *«Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее, влияние её было благотворно: она спасла нашу молодёжь от холодного скептицизма французской философии и удалила её от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения!»* (Здесь явная указка на декабристов — А. Я.).

Радищев заканчивает свою книгу словом о Ломоносове. Пушкин отмечает, что слово это по намерениям не совсем похвально: *«Оно писано слогом надутым и тяжёлым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе русского Пиндара. Достоинно замечания и то, что*

Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошёлся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостью». Радищев всё внимание (а это 30 страниц текста!) сосредоточил на Ломоносове-поэте, риторике и грамматике, то есть на тех сферах деятельности русского гения, где, говоря словами Пушкина, «его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается...» и т.п. А Пушкин, проводя в тексте очерка пространственные выписки из рапорта Ломоносова графу Шувалову за 1751–56 годы, доказывает, что Ломоносов есть, прежде всего, естественник, подвижник науки и государственник в области отечественного просвещения. Этого-то «не заметил» Радищев.

Особенно резко возражает поэт Радищеву в части пресловутого и ныне питающего отечественных и зарубежных ненавистников России вопроса о «рабском начале» русского характера, о «невыносимых» условиях жизни и труда русского простолюдина — вечно живая тема диссидентствующих! Пушкин сравнивает положение русского крестьянина и ремесленника с землепашцами французскими и рабочими английских мануфактур далеко не в пользу последних. А что касается «рабского начала», то: *«Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его сметливости и смыслённости и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны... В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища... Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности». И так далее.*

Серьёзные возражения Пушкин обосновывает и в главах «Слепой», «Рекрутство», «О цензуре», «Этикет» и «Шлюзы». Заканчивая очерк кратким описанием жизни Радищева, поэт резюмирует свое мнение: *«Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли её, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».*

Такими проникновенными и гениальными в своей краткости словами заканчивает Пушкин свой очерк. Сказать, что Радищев — западник, а Пушкин более тяготеет к отстаиванию самобытности пути России в сонме европейских народов и государств, значит мало чего сказать. Символично, что «путешествия» их антипараллельны; Радищев едет в истинную, историческую русскую столицу из столицы-призрака, олицетворяющей западническое начало в новейшей жизни государства. Это не подходит под само определение путешествия; путешествуют — это когда из дома на время уезжают в чужие края... А вот Пушкин истинно путешествует: из «домашней» столицы во временную.

И так во всём у них разнится. Радищева с полным правом можно уподобить иному диссидентствующему советских времён, который (как Радищев в Германии со чтением случайного Гельвеция) побывал в «евро-

пах», упал в обморок при виде 3000 сортов колбасы — теперь мы знаем, что она синтетическая, — а вернувшись в «эту страну», начал хулить её с надеждой получить выездную визу... Радищев, представленный своим «Путешествием», есть духовный предтеча и прообраз масонов-западников-декабристов.

Конечно, молодой Пушкин — на то и молодость, чтобы следовать порыву сердца, но не ума! — мог произнести приписываемые ему слова ответа на вопрос Николая I о его возможном участии в мятеже. Но мудрый царь уже тогда видел в поэте государственника и не ошибся в нём, как и вообще редко ошибался в людях и делах (лишь подлости Европы не оценил).

И напрасно наше каноническое литературоведение винит Николая Павловича в гибели поэта, годовщину которого мы отмечаем каждый год. Пушкина, поэта-государственника, для которого не было истины без любви, погубили те, для которых Россия была очередной страной пребывания (где лучше, там и родина!). Не существенно, что погиб поэт от руки этнического чужестранца — «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!» Не он, так другой, из своих, числом всегда многих, прилепившихся к трону... Главное — кто и за что наводил казнящую неправую руку. Казнили подло, не открытым судом, но спровоцированной дуэлью величайшего русского поэта, который своей музой служил государству, служил и царю, но не как персонафицированной личности, а именно как воплощению государственной национальной идеи.

Вот и получается, что небольшой очерк, который не изучают в школе, относимый литературоведами-пушкинистами к второстепенным упражнениям поэта в публицистическом жанре, не так-то и прост. Это серьёзная полемика, как ни в каких других, намного более известных произведениях Пушкина, открывающая в нём человека государственного мышления и души патриота.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

А. С. Пушкин

...Будем всегда помнить Радищева. Но ещё более — Пушкина.

Ваш покорный слуга и ранее писал об «антитезе» Пушкина — Радищева. Даже появлялись неодобрительные отзывы на сей счёт. Но вот что самое интересное: антитеза-то здесь вовсе и не требовалась, ибо авторы откликов и нашего очерка практически с одинаковых позиций трактуют роль Радищева в русской литературной и политической истории, одинаково подчёркивают повышенное и постоянное внимание нашего великого поэта к великому же свободолобцу. Замечания автора, что-де в очерке ругаются советские школьные методики преподавания литературы

и вовсе не выдерживают критики: в очерке как раз утверждается, что эти методики были совершенны для своего времени и своей страны, то есть СССР.

Может быть, поэтому, чувствуя, что пресловутая антитеза как-то вяло гаснет, опытные в своём деле журналисты сразу же после вступления переходят, анализируя дилемму Пушкин — Радищев, к более общим категориям, вовсе и не имеющим отношения к содержанию нашего очерка, то есть рассматривают современный «бандитизм в литературе», заказную — от власть имущих — критику и литературоведение и дают прочие, очень правильные, определения нынешнему развалу в литературе, синхронному общему развалу страны, государственности, этики и пр.

На этом примирительном тоне реплику «постфактум» можно было бы и закончить, но позвольте и мне ещё раз коснуться темы Пушкина и Радищева, вскрыв некоторые лейтмотивы, побудившие авторов очерка и статей всё же с несколько различных позиций — не идейных, конечно, но профессиональных, так сказать — подойти к столь важному для истории русской литературы вопросу.

Вот здесь и выступают на первый план эти самые профессиональные позиции авторов: журналиста и писателя. Ведь не зря же, при некоторой внешней схожести занятий, им и названия дали разные, общаются с собратьями по профессии в разных творческих союзах, даже квалификацию они получают (хотя дело это очень условное) в разных вузах: на журфаках университетов и в Литинституте, соответственно. Но это все внешняя сторона, антураж. Различны же их творческие подходы. Журналист экспрессивен, профчутьём находит интересную для масс-медиа тему и ёмко, выразительными средствами (аргументом и фактом, так сказать) отображает и развивает её для органа оперативной информации. А от торопливости повседневной спешки анализ зачастую уступает место эмоциям. Это нравится широкой читательской среде. Писатель же всё больше «бьёт» на анализ, сводит тезы с антитезами, идёт от частного к общему, формулирует в художественной форме выводы (не оргвыводы!). То есть, различия между ними укладываются в написанные десяток строк, но они почти что фундаментальны.

Вот и в образовавшейся дискуссии об отношении Пушкина к Радищеву чётко это вырисовывается. Не только в науке, но и в литературном творчестве любой объект или процесс можно рассматривать как в статике, так и в динамике. Первое есть срез события в какой-то временной момент; динамика же предполагает учёт связи времен, в частности, отображение давно имевшего место на текущее время. «Журналистский» способ мышления — описание в статике; писательский же анализ заключается в учёте многофакторной динамики. И этим всё сказано.

Наши уважаемые оппоненты совершенно правильно для своего метода исследования пишут о роли Радищева для своего, то есть конкретного времени; роль его, как провозвестника антикрепостничества, трибуна свободы человека личной, исключительно велика. Благие намерения всегда похвальны. Это и привлекало Пушкина, самого свободолюбца; отсюда и его восторженное отношение к автору «Путешествия», однако... с одним, но всё решающим уточнением, которое обходит в рамках своего метода наш журналист: это отношение характерно для молодого

Пушкина, хотя в наше время как-то непривычно выделять период молодости в отношении человека, не прожившего и сорока лет... Зрелый же Пушкин, прошедший путь от либерального стихотворца, за злые эпиграммы и байронические, вольнолюбивые стихи ссылавшийся в Новороссию, до поэта-государственника («Клеветникам России»), оценивает роль Радищева именно с позиций наличия или отсутствия факторов гражданственности, патриотизма. Поэтому и появляется его «Путешествие», которое, учитывая сказанное выше, всё же следует рассматривать уже как антитезу радищевской книге. То есть, он не то чтобы поменял своё личное отношение, нет, до конца дней своих чтит первого русского бунтаря духа — нельзя не уважать человека безудержного риска! — но, и в этом отличие гения и провидца, он понимал, что любая свобода есть осознанная необходимость. По той же причине Пушкин столь быстро отошёл от масонства, осознав его угрожающую миру опасность.

И Екатериной, сурово наказавшей вольнодумца, владели не столько оскорблённые чувства «первой помещицы России», но более государственные соображения. Она чётко осознавала, что Радищев опасен не как критик крепостничества, но как вольный или невольный апологет масонства. Она тоже прошла путь от либеральной переписки с Вольтером до осознания грядущей из Франции опасности и де-факто запрещения масонских лож в России. Резюме: государственные умы, в отличие от остальных, пусть даже прекрасных душой людей, видят и оценивают последствия того или иного явления.

Более того, Пушкин в русской литературе далеко не одинок в эволюции от бунтаря до охранителя государственных устоев. Стоит только назвать имена Достоевского, Некрасова, Тургенева, и всё станет ясно. Ведь именно приговорённый к повешению молодой петрашевец Достоевский в своих «Дневниках писателя», которые — также — не «проходили» в школе ранее, а теперь и вовсе замалчивают, впервые обосновал геополитическую имперскую стратегию России и за сто двадцать лет наперёд объяснил причину и движущие мотивы наблюдаемой ныне гибели империи. Поэтому не зря в литературном мире упорно ходят слухи о том, что названные выше три писателя в зрелом — творчески и политически — возрасте имели полковничьи чины по линии внешней (не внутренней!) разведки... «И вы, мундиры голубые». Вот вам и мундиры; кстати, а где хранил Фёдор Михайлович свой голубой мундир полковника жандармерии? — Ведь тогда разведка шла по её линии. И платил ли Тургенев долги мужа посредственной певички-француженки из личных или казённых денег? — Вот где настоящее золотое дно для журналистских расследований!

Так виноват ли Радищев в реальном наступлении эры Мирового правительства сил зла, сил Антихриста, виноват ли, говоря языком обывательским, в уже давней бомбардировке нашего последнего и естественного союзника — героической Сербии? Лично, как человек, чья жизнь отдалена от этих событий двумя веками, конечно, нет: это абсурд. Но как некоторая абстрактная единица, в совокупности со многими другими подрывавшая в литературной форме борьбу устои империи — безусловно, да! Я уже зримо ощущаю трепетное перо уважаемого журналиста, который пишет очередную статью в развитие дискуссии под

заголовком: «Радищев развязал войну на Балканах!..». Ибо империя, страна, этнос есть динамически развивающийся, самоорганизующийся механизм, который либо существует, либо не существует. А существует он положенные столетия или тысячелетия независимо от того, кто олицетворяет организующую государственность: поставленные ли ханским ярлыком князья, цари и императоры, красные вожди, генсеки или президенты. Основной же целью мирового масонства являлось, теперь уже сбылось, разрушение основных империй, тем более самодостаточных, автаркических, какой была Русская империя в зените её могущества, то есть в период сталинского и послесталинского СССР. А бесконечные бомбёжки Ирака и европейского государства, не говоря уже о нынешней Сирии, означают одно: дело, которому, не осознавая этого в исторической перспективе, служил Радищев и другие — имя им легион — победило, наступил час торжества Антихриста. Поэтому-то вслед за империями пришла горестная очередь и последней твердыни христианства — православия. Но не надо плохо думать о Радищеве-человеке, ибо не знал и не мог знать, что творил. Не дано было ему обрести ум государственника. Таких людей жалко: жизнь не сложилась, и хлопоты-то были по неpravому делу. Как Радищев не понадобился уже либеральному (опять-таки поначалу) Александру I, так и наш современник, протестант духа и разрушитель на литературном фронте, тоже человек искренний, не понадобился в наши дни людям и идее, которым он невольно служил, помогая ломать хребет советской империи. Понятно о ком речь идёт... Бедные они, бедные,— беднее нас всех, нищих — но только кошельком.

Поэтому, дорогой мой оппонент-журналист, мы всегда будем помнить прекрасного душой человека, сердце которого сжималось от боли за ближнего своего, отчего в слепой благородной ярости начинал он грызть своё государство, но ещё более мы помним Пушкина, рано повзрослевший ум которого осознал диалектическую категорию свободы как осознанной необходимости.— По Гегелю.

Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам...

«Евгений Онегин», гл. 1

Журналистская муза поэта

«Цель художества есть идеал, а не нравочение»,— незадолго до своей смерти написал Пушкин, имея в виду художественное творчество, не очерченное только строгими рамками поэзии, драматургии и художественной прозы. Такое расширительное толкование, его справедливость и правомочность поэт подтвердил всей своей творческой жизнью, начиная от чистой поэтической лирики, продолжая её прозой, драматургией, публицистикой и журналистской деятельностью, восходя в «Маленьких трагедиях» до философских обобщений, в публицисти-

ке — до исторических умозаключений и глубокого, но художественного осознания глобальных закономерностей нравственности, этики, социальной морали.

Талантливый человек талантлив во всём, а в приложении к художнику слова это ассоциируется с полижанровостью его творчества. Пушкин здесь не то чтобы исключение, но наоборот — ярчайший пример. Конечно, определённую роль здесь играет основной, изначальный жанр, в котором работает художник; это уже особенности как самого психологического типа творца, так и проявление некоторых общих закономерностей. В отношении последнего можно с определённой утвердительностью сказать, что лучшую прозу пишут поэты, но худшие стихи, или, по крайней мере, посредственные, сочиняют прозаики...

Столь же закономерен и тот реально наблюдаемый и подтверждаемый всей историей литературы факт, что редкий поэт в самом творческом своём расцвете не обращает своё перо к иным, «более прозаическим» формам художественного самовыражения. Так и Пушкин, в нашем понятии ещё человек молодого возраста, то ли шуточно, но, скорее, и серьёзно замечал, что-де стареет, к прозе тянет...

Был он в этом замечании искренен и последователен. Не чета многим и многим другим, явно рисуящимся, посредственным талантам, но на многое претендующим... У всех нас ещё на памяти былой кумир «шестидесятников», что, явно подражая Пушкину, повсеградно и повсеэкранно скандировал: «До тридцати поэтом быть почётно, но срам крошечный после тридцати!» Увы, и стихи он как-то скоро писать перестал, а к прозе (несколько посредственных киносценариев не в счёт) так и не приступал; внося посильный, но весомый вклад в разрушение вскормившей его страны и литературы, убыл на «ПМЖ» в «свободные страны», где гарантирован ему честно заработанный кусок хлеба... то бишь гамбургер с чизбургером за 5 USD штука; а цена самому бывшему волнителю умов всего лишь в 6 с небольшим раз больше. Но — то другое, по Сеньке и шапка.

Вернёмся к Пушкину... Не отстраняясь от высокой, но становящейся всё более гражданской философской лирики, поэт создаёт свой цикл трагедий от «Бориса Годунова» до «Сцен из рыцарских времён». Почти одновременно появляются образцы и поныне лучшей русской прозы, среди которых драгоценным соцветием выделяются «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Как бы предчувствуя конец малых отпущенных ему лет, рука его торопится означить хотя бы начало многого задуманного: история, публицистика, жизнеописание, дневники... И именно в эти последние годы жизни поэта появляется и ещё одна сторона энергичного его творчества: да, поэта посетила и журналистская муза, причём явилась она к нему не как нечто дополняющая, но как развивающая талант и гражданские устремления Александра Сергеевича.

«Мы все учились понемногу», а потому можем составить для себя мнение о роли журналистской работы для талантливого и разностороннего художника-гражданина. С позиций всеобщей испорченности нашего времени, однако, можно сходу насчитать с десятков прагматических «обоснований» такой роли, главные из которых суть самореклама, политическая или денежная выгода. Действительно, посмотрите на 99%

нынешних газет, еженедельников, пресловутых «толстух», журналов? — Оптовый торговец подчинил себе лавочную сеть города, прошёл в местную думу, так как же ему не основать свой орган печати — «Голос среднего класса»; конечно, патриотический и независимый... Группа, а может и единоличная пишущая сущность, берут под свой контроль журнал или газету и так далее. Глядишь и телевизионный бандит Вован откроет свою «Новую патриотическую». Но, повторимся, это наши времена и люди... тем более, бесталанные.

История же русской журналистики наглядно повествует об ином подходе наших великих писателей, поэтов, гуманистов и учёных, встававших во главе учреждённых ими изданий. Пожалуй, это чисто русская литературная традиция, когда известный и талантливый писатель в пору своей художественной зрелости начинал издавать журнал, и, как правило, издания эти становились для своего времени событием литературной жизни и преследовали цель именно художественного, гражданского идеала, но не нравочения, вновь возвращаясь к словам Пушкина. Здесь и «Почта духов» с произведениями Крылова, журналы Достоевского и Некрасова, «Голоса из России» и другие лондонские издания А. И. Герцена и Н. П. Огарёва; многое другое. Да и «Библиотека для чтения» Осипа Сенковского, как бы её ни третировали радикалы разных времён и толков, кроме пользы, ничего не привнесла в отечественную литературную жизнь, действительно став общедоступной библиотекой России. И, конечно же, «Современник» Пушкина, ставший первым истинным литературным журналом в стране.

Роль Пушкина в становлении русской литературной периодики отмечена и символами последней: как в русском флоте существует традиция преемственности названий боевых кораблей, так и основанные Пушкиным «Литературная газета» и «Современник» имели и ныне имеют свои продолжения; другое дело, что позиции «ЛГ» и «Нашего современника» столь резко разошлись по самым животрепещущим вопросам как литературного процесса, так и по гражданским позициям... но это уже не вина светоча русской поэзии.

Ещё в 1825 году в письме к П. А. Вяземскому Пушкин писал: «Когда-то мы возьмёмся за журнал! Мочи нет хочется...» Только через пять лет он вместе с А. А. Дельвигом начал издавать «Литературную газету», которая незамедлительно стала, как сейчас говорят, писательским рупором литераторов пушкинского круга. Выходила она чуть больше года и прекратилась со смертью Дельвига, основного организатора столь хлопотного дела, как регулярная газета.

Последующие пять лет Пушкина не оставляла мысль, что «литература не может не согреться» (из письма П. А. Плетнёву), если начать издание альманаха, журнала или газеты с выраженной литературно-нравственной и гражданской позицией. В беседах и переписке с П. А. Плетнёвым и В. Ф. Одоевским Пушкин отработывал структуру и направление грядущего издания, которые предугадывались в различных вариантах названия: «Арион», «Летописец», «Современный летописец политики, наук и литературы».

В самом начале 1836 года по отношению Бенкендорфа на письмо Пушкина журнал «Современник» был разрешён к изданию, но — как

чисто литературный, то есть отвечал только литературно-критической установке пушкинской программы журнала.

Пушкин успел издать четыре тома журнала; остались материалы, которые он готовил для последующего тома уже в январе 1837 года. Какими же именами представлены изданные тома? — Это Гоголь с его знаменитой статьёй «О движении журнальной литературы» с критикой «торгово-промышленного» направления в литературе и журналистике; с критическими статьями печатались Одоевский и Вяземский; этот же раздел «Современника» во многом поддерживал подготовкой критического материала сам Пушкин.

В поэтическом разделе журнала наиболее полно представлен пушкинский круг: Жуковский, Языков, Вяземский, Тютчев, Баратынский, Денис Давыдов. Самим Пушкиным впервые опубликованы его «Пир Петра Первого», «Скупой рыцарь», «Полководец» и пр. Художественная проза вышедших томов «Современника» по преимуществу принадлежала Гоголю и Пушкину; так, здесь была опубликована «Капитанская дочка». Листая страницы «Современника», находим «Записки» кавалерист-девицы Н. А. Дуровой, очерки о войне 1812-го года Дениса Давыдова, этнографические очерки М. П. Погодина и Султана Казы-Гирея.

Вот почему, архивы роя,
Я разбирал в досужий час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ,—

этим строками из опубликованной в третьем томе «Родословной моего героя» можно охарактеризовать ту атмосферу, публицистическую направленность, которую с первого тома поддерживал в журнале Пушкин, используя много и охотно документальные материалы; это же позволяло ему оттенять гражданскую позицию журнала, его общественно-политическую, патриотическую направленность. «Я думаю пуститься в политическую прозу» (из письма Вяземскому). Выше мы уже писали о Пушкине-публицисте в сопоставлении его с Радищевым. Так вот, статья «Александр Радищев» также была опубликована в «Современнике».

В организации и поддержании присущей «Современнику» позиции Пушкин сочетал, казалось бы, несовместимые вещи: своего рода «литературный аристократизм» (в чём его упрекали современные ему радикалы), глубокий патриотизм и подлинный демократизм. Тем не менее, это так, если учесть реалии эпохи, а ещё в большей степени учесть, что это был Пушкин последнего периода своей жизни и творчества. Реалии же эпохи таковы, что на подходе были сороковые годы, то есть годы раннего наступления капитализма на Россию. В литературе предвестником его явилось ложное «одемокрачивание», сопровождаемое натиском чуждых русскому самосознанию веяний прагматичного Запада. На пороге стояли и отечественные разночинцы. То есть, в литературу хлынула толпа, принося неуют, характерный для любого «перестроечного» времени. А куда от того деваться, но зрелый Пушкин был аристократ — в смысле аристократ духа, но ещё более был он патриотическим государственным человеком (это не тавтология, но наиболее верное определение сути его мироощущения

и мировоззрения). Надо постараться это понять, скорее — не умом, но душой прочувствовать, и тогда ясной станет позиция его «Современника». И совсем уж ясно, что дай Бог Пушкину ещё десять-двадцать лет жизни, как пить дать, литературоведы радикального толка уже полтора столетия обличали бы «Современник» как верноподданническое, черносотенное, антидемократическое и пр., и пр. издание...

В этом смысле можно провести прямую параллель между пушкинским «Современником» в его эпоху и правнуком его — «Нашим современником» в эпоху нынешнюю, когда в литературу вновь хлынула толпа: чужеродная, голодная, всепродажная, безлика и бесталанная. В очередной раз раздался клич сбросить Пушкина с парохода истории...

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнее блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей,
Что в нашем тереме забытом
Растёт пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осёл:
Дух века вот куда зашёл!»
«Родословная моего героя»
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

А. С. Пушкин. «Воспоминание».



Валерий Альбертович Ярхо родился в Коломне в 1964 году. Окончил среднюю школу № 4. Его юмористические и детективные рассказы печатались в газетах «Российские вести», «Московский комсомолец», «Коломенская правда». В творчестве Ярхо удачно сочетаются художественная проза, научный поиск, «архивный детектив». Широко известен блестящими историко-краеведческими очерками.

В 2008 году опубликована его монография «Три времени Шурова».

Награждён литературной медалью И. И. Лажечникова.

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Жизненные коллизии Александра
Сергеевича Пушкина

Коллекция разнообразных фактов и самой жизни семейства Пушкиных и самом достойном его представителе собиралась довольно долго, но совершенно бессистемно. Можно даже сказать, что процесс этот происходил помимо моей воли. При регулярном просмотре российской периодики XIX — начала XX века, чему мне пришлось посвятить не один год своей быстротекущей жизни, сведения о Пушкиных, их знакомых и тех современниках, которые о них что-либо слышали, то и дело попадались сами по себе. Оставалось только делать выписки и копировать. Большинство этих историй составители хрестоматий и учебников по литературе, не иначе как исходя из неких «высших соображений», предпочитают упоминать.

Не имея чести принадлежать к почётной когорте составителей хрестоматий или учебников литературы, я ни в коей мере не отягощён веригами обязательств в отношении загадочных для меня «высших соображений». Соображая же по мере собственных возможностей и не имея никаких моральных преград на пути к задуманному, рискну предложить вниманию любезных моему сердцу читателей несколько историй о славном нашем Александре Сергеевиче, а равно его родственниках, друзьях, недругах и даже отдельных прототипах созданных им персонажей.

Сведения о них почерпнуты из таких надёжных источников, как журналы «Русский Архив», «Русская старина» и консервативной газеты «Московские

ведомости». Заподозрить столь солидные издания в легкомысленности или, наоборот, в злокозненности измышлений нет решительно никаких предположений. Также в ход были пущены фрагменты писем самого Пушкина и его знакомых, что лишь подкрепляет достоверность повествования.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЯТОЙ ГЛАВЫ

Рискованная игра издателя

Популярная петербургская газета «Северная пчела» 4 апреля¹ 1833 года опубликовала рекламное объявление следующего содержания: «*Поспешаем известить любителей отечественной словесности, что “Евгений Онегин”, коего главы изданы были отдельными книжками, нынче отпечатаны особо, вполне. Радуетесь за всех читателей.*» И было же чему радоваться! К тому моменту публика уже задалась полной версии романа, публиковавшегося отдельными главами с февраля 1825 года. По согласию с автором, издатель Александр Филиппович Смирдин затеял раздельный выпуск, рассчитывая игрой на ажиотажном интересе читателей заработать побольше денег. Однако этот «бизнес-проект» несколько раз едва не потерпел крах.

Для начала не оправдались расчёты издателя. Никакого ажиотажа у читающей публики первые главы романа не вызвали. Их приняли с холодноватой настороженностью и долей некоторого недоумения. Эти тревожные симптомы обнаружили, когда Пушкин, до того на несколько лет не по собственной воле лишённый общения с читателями, вновь получил возможность ознакомиться с их мнением о прочитанном.

Относительную свободу поэт получил после того, как в ночь с 3-го на 4-е сентября 1926 года в принадлежавшее семейству Пушкиных поместье Михайловское, где Александр Сергеевич отбывал ссылку, явился нарочный от псковского губернатора. Посыльный привёз г-ну Пушкину строгое приказание срочно явиться во Псков. Прибывший на зов ссыльный Пушкин был передан губернской властью на попечение фельдъегеря, имевшего высочайшее предписание доставить его в Москву, где, по случаю коронационных торжеств, пребывали августейшая фамилия и двор.

Уже 8 сентября Пушкин был в Москве (да мало того, в Кремле!), где ему была дана личная аудиенция императора Николая Павловича, только 22 августа венчавшегося на царство. Государь был милостив к поэту, посулил ему личное покровительство и освобождение от мелочной опеки общей цензуры. Прощённому литератору дозволено было проживание в Москве и иных губернских городах, однако же в столицу въезд ему до поры не разрешался.

* * *

Прямо из Кремля Александр Сергеевич отправился в гостиницу «Европа» на Тверской улице, где снял двухкомнатный номер, но в последующие

¹ 17 апреля по новому стилю.

дни появлялся там нечасто. В гостиницу он заезжал разве что для того, чтобы переодеться. Ему было некогда!

Через день после приезда в Москву — 10 сентября 1826 года — Пушкин появился на публике, придя на спектакль в Большой театр, чем произвёл настоящий фурор. На сцену в тот вечер почти никто не смотрел. Всё внимание было направлено на поэта, вернувшегося из сельского заточения.

Его тут же завалили приглашениями, и Александр Сергеевич буквально погряз в знаменитом гостеприимстве москвичей. Кочуя по Москве, из собрания в собрание, от застолья к застолью, поэт повидался со множеством людей, большей частью причислявших себя к почитателям его таланта. Неизбежно все разговоры рано или поздно касались литературных новинок, и вот тут-то любимца муз и публики поджидал неприятный сюрприз. Оказалось, что «Евгений Онегин», мягко говоря, восторгов у читателя не вызывал. Даже близкие друзья задавали автору роковой вопрос: о чём, собственно, «Евгений Онегин»? Для кого он «это» пишет? Одних смущала необычность литературной формы — роман в стихах. Другим казалась странной поэтическая строфа, которая впоследствии так и назвалась «онегинской». Третьи находили ещё какой-нибудь изъян. (Этой публике дай только волю!)

Однако прохладный приём первых глав «Онегина» был сущим пустяком по сравнению с тем, что случилось позже. Настоящие трудности никак не были связаны с творческим процессом. Легкомыслие поэта, его миленькие привычки светского повесы едва не привели к непоправимой беде, сулившей убытки Смирдину, срам и разорение самому Пушкину, а русской литературе такие потери, что сейчас даже и подумать-то о такой вероятности жутковато. Впрочем, давайте-ка обо всём по порядку.

211

Азарта пламень

В начале ноября 1826 года Пушкин выехал из Москвы в Псков, а оттуда в Михайловское, которое ему пришлось покинуть столь поспешно. Вернувшись в свои сельские владения, он сел за оставленную работу. К 22-му ноября ему удалось полностью закончить пятую главу «Евгения Онегина», которую начал в январе. Шестая глава романа была полностью готова ещё в августе.

Покончив со всеми делами в Михайловском, пользуясь дарованным ему разрешением покинуть место ссылки, поэт вновь выехал в Москву, куда и прибыл 19 декабря, поспев как раз к началу бального сезона. В этот свой приезд Пушкин остался в родном городе на полгода. Опять чередой пошли застолья, приёмы, рауты и балы, обеды, ужины и маскарады. Кружась в вихре событий московского зимнего сезона высшего света, он едва не спалил все планы своего издателя в пламени азарта. И вышло-то у него всё как-то нечаянно, что ли... Как обычно совершаются людьми все крупные ошибки и самые большие глупости.

Карточная игра в те поры была неотъемлемой частью жизни светского человека. Найти неиграющего человека в той касте российского общества, которое называлась «высшим светом», было чрезвычайно затруднительно. Даже тот, кто и не особенно любил игру, принуждён был играть, чтобы не прослыть чудаком и мизантропом. Уж так был устроен свет.

Насидевшийся в деревне Пушкин вовсе и не собирался «плыть против течения», тем более что и притворяться для этого ему не было никакой нужды. Ещё с лицейских времён Александр Сергеевич слыл записным игроком и всем другим играм предпочитал азартный штосс, за которым проводил ночи напролёт. Такое усердие к запрещённой законом азартной игре² привело даже к тому, что Пушкин был тайно взят московской полицией «на особую заметку, как известный банкомёт». Но подозрение в нечистой игре была совершеннейшая напраслина! Играл Александр Сергеевич хоть и азартно, но честно, чему свидетельство — его частые проигрыши. Он так и умер, оставшись должен более двадцати тысяч рублей знаменитому игроку, смоленскому помещику Огонь-Догановскому, а с шулерами подобных историй не происходит.

Среди прочих соперников Александра Сергеевича по картам зимой 1827 года оказался коллежский советник Александр Михайлович Загряжский, служивший в московском Сенате. Этот господин был связан с компанией известных московских игроков, добывавших средства к жизни игрой, и соперником «за зелёным сукном» он был весьма опасным. Сев играть с Пушкиным, Александр Михайлович основательно «поддел» поэта, выиграв у него все наличные. Продолжить игру, записывая проигрыши в долги, Загряжский не пожелал, и тогда, охваченный желанием непременно отыграться, Александр Сергеевич поставил на кон рукопись пятой главы «Евгения Онегина», которая, помимо несомненных художественных достоинств, имела и вполне серьёзную денежную стоимость.

Издатель Смирдин платил поэту по червонцу за строку, что в пересчёте на ассигнации выходило по 25 рублей. Зная это, Загряжский ставку принял, они стали метать снова, и Пушкин опять проиграл! Тогда на кон был поставлен ящик с дуэльными пистолетами, и вот эта ставка принесла поэту удачу — ему, как говорится, «пошла карта». Вскоре Александр Сергеевич не только вернул рукопись и полностью отыгрался, но ещё тысячи на полторы «пощипал» своего соперника.

Первый опыт

Ставить свои стихи на кон в картёжной игре Александру Сергеевичу доводилось уже не впервой, и не всегда дело оборачивалось столь же счастливо, как в случае с Загряжским. История, связанная с проигрышем стихов

² Законом Российской империи карточные игры разделялись на «азартные» и «коммерческие». К азартным относились те, которые основывались «на игре случая, а не на искусстве игрока», т.е. когда всё решала сдача карт. Яркий пример современной игры такого типа — это «двадцать одно» или «блэк-джек». К коммерческим играм из нынешних можно отнести преферанс и даже «подкидного дурака». В Российской империи дозволялись только «коммерческие» игры, а азартные запрещались. Но строгость закона уравновешивалась его неисполнением. Лазейкой служило то, что в своём доме можно было заниматься тем, чем пожелают хозяева и их гости. Поэтому компании желающих пощекотать себе нервы азартом собирались как гости в домах одного из игроков, недоступных полицейскому надзору. Один из таких домов держал Чекалинский — ключевой персонаж пушкинской «Пиковой дамы».

Всеволожскому, растянулась на долгие шесть лет, из-за чего возникла целая переписка между несколькими заинтересованными лицами, позволяющая нам теперь проникнуть в самую суть того давнего приключения.

В своём письме от 29 ноября 1824 года, отправленном из Михайловского в Москву князю Вяземскому, Пушкин сам излагал завязку сюжета, с милой непринуждённостью сообщая следующие подробности: *«Предложение твоё касательно моих элегий несбыточно и вот почему: в 1820 году переписал я своё враньё и намерен был издать его по подписке; напечатал билеты и роздал около сорока. Я проиграл потом рукопись мою Никите Всеволожскому (разумеется, с известным условием). Между тем принуждён был бежать из Мекки в Медину, мой Коран пошёл по рукам — и донныне правоверные ожидают его³. Теперь поручил я брату отыскать и перекупить мою рукопись, и тогда приступим к изданию элегий, посланий и смеси. Должно будет объявить в газетах, что так как розданные билеты могли затеряться по причине долговременной остановки издания, то довольно будет, для получения экземпляра, одного имени с адресом, ибо (солжём на всякий страх) имена всех гг. подписавшихся находятся у издателя. Если понесу убыток и потерю несколько экземпляров, пенять не на кого, сам виноват (это остаётся между нами)»⁴.*

* * *

История с проигрышем Всеволожскому относилась к временам, когда незадолго перед тем покинувший стены Лицея в Царском Селе Александр Пушкин стал известен всей столице своими «мелкими стихами и крупными шалостями», по его собственному выражению. Тому в немалой степени способствовала компания, сложившаяся ещё в Царском Селе из учеников Лицея и Благородного пансиона⁵.

Сами себя они причисляли к «денди», копируя стиль жизни, возникший на исходе XVIII столетия в Великобритании. Их кумирами были лорд Байрон и Джордж Браммел, задававшие тон в высшем свете Туманного Альбиона.

Сторонники «дендизма» противопоставляли себя культуре богатых буржуа, считая их нуворишами и выскочками. Культивируя подчёркнутый

³ Текст письма в иносказательной форме свидетельствует об отправке Пушкина в ссылку и утрате им контроля за ситуацией.

⁴ Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 9. Письма 1815–1830 годов. М.: ГИХЛ, 1962.— Письмо № 100.

⁵ Это учебное заведение, открывшееся 27 января 1814 года, было задумано как трёхклассное подготовительное отделение Лицея. Каждые три года лучшие ученики двух классов переходили в Лицей, а не удостоившиеся такой чести оставались в Пансионе. Окончившие третий класс Пансиона пользовались теми же правами, что и лицеисты, при поступлении на военную службу, но в гражданской службе они могли претендовать лишь на чин коллежского советника, соответствовавший 10-му классу Табели о рангах, и то только при условии получения высших баллов на экзаменах. Главное отличие Лицея и Пансиона заключалось в том, что в Лицее обучали бесплатно, а за учёбу в Пансионе приходилось платить порядочные деньги.

аристократизм манер и поведения, денди использовали моду для выражения своего превосходства над остальными. Подлинный денди одевался тщательно и на первый взгляд выглядел скромно, но очень элегантно. Этот эффект «кажущейся простоты» являлся результатом многочисленных и тщательно продуманных ухищрений лучших портных, шляпников и сапожников, чьи услуги обходились чрезвычайно недёшево.

Не желая ни в чём отставать от товарищей, молодой Пушкин отчаянно франтил, выделяясь даже среди записных модников Санкт-Петербурга. Его чёрный широкий фрак «à l'americaine» и плащ-«альмавива», который он нашивал, забрасывая одну полу на плечо, вызывали толки в столичном свете. Модная шляпа «à la Bolivar»⁶ имела такие широкие поля, что Александр Сергеевич принуждён был снимать её, коли надо было войти в двери. Как и полагалось истинному денди, Пушкин отпускал длинные ногти, за которыми тщательно ухаживал. Для сохранения особо длинного ногтя на правом мизинце он носил золотой футлярчик наподобие напёрстка.

Склонностью к франтовству Александр Сергеевич пошёл в своего дядюшку Василия Львовича Пушкина, известного экстремиста в вопросах моды. Тот всегда опережал остальных, но, облачаясь в модное платье, не учитывал, подходит ли оно ему. Из европейского вояжа Василий Львович вернулся в Москву одетый по последней парижской моде, с причёской à la Titus⁷, умащённой древним маслом *huile antique*⁸. Явившись в московском свете, Василий Львович страшно гордился парижским обликом и ароматом, снисходительно позволяя дамам обнюхивать свою голову. Наивность и бесхитрость поступков Василия Львовича частенько становились объектами насмешек, шуточек и розыгрышей, но мало кто рискнул бы подобным образом повести себя с его племянником! Острый язык и бойкое перо Александра Сергеевича разили больше шпаги. Он сам был склонен атаковать любого насмешливыми эпиграммами и рискованными шутками, провоцируя на ответные действия. Следуя негласному кодексу петербургских денди, Пушкин постоянно «искал случая постоять за честь», или, как тогда говорили, «напрашивался на историю», имея в виду дуэльный поединок.

Агрессивная задиристость считалась признаком хорошей породы и чистокровного происхождения. У каждого светского юноши имелся заветный плоский ящик с дуэльными пистолетами. Готовя себя «к случаю», они неустанно тренировали руку, упражняясь в стрельбе. Вообще же физические упражнения играли не последнюю роль в жизни петербургских денди.

⁶ «Боливар» отличался от остальных разновидностей шляпы-цилиндра широкими полями. «Боливары» изготавливали из чёрного атласа. Они вышли из моды весной 1825 года.

⁷ Мужская причёска, названная по имени римского императора Тита. Вошла в обиход во время Французской революции, когда отказались от мужских кос и париков. Коротко остриженные волосы «по античному образцу» завивались в кудри и зачёсывались на лоб. Из-за «революционного происхождения» этот фасон «убора волос» при Павле I был строжайше запрещён. Оказавшись в Париже, Василий Львович не упустил возможности уложиться «под Тита».

⁸ *Huile antique* — цветочная эссенция, полученная путём настаивания.

бургских денди. Этим они подражали английским «основоположникам», для которых спорт был частью образа жизни⁹.

Вслед за Джорджем Браммелом сторонники дендизма много внимания уделяли личной гигиене. Они массировали себя щётками из конского волоса, ежедневно принимали ванны, утром погружаясь в холодную воду, вечером — в горячую. Несколько раз за день переодевались. Умачивали тела маслами и благоухали изысканными ароматами.

И уж, конечно, большая часть этих манипуляций производилась для того, чтобы производить должное впечатление на женщин, успех у которых для настоящих денди много значил. Это было тоже что-то вроде спортивного состязания. В их кругу ценилось как количество побед, так и то, над кем и при каких обстоятельствах они были одержаны. Рано вкусивший «запретных плодов», и Александр Пушкин напропалую волочился за женщинами.

Среди друзей он слыл гурманом. Знал толк в хороших винах, в ту пору отдавая предпочтение шампанскому¹⁰.

Его увлекал мир театра, а так как с театральной галёрки наблюдать представления для столичного денди было невозможно, Пушкину приходилось покупать места в ложах или в первых рядах партера, имея дело с перекупщиками, дравшими три шкуры.

Визиты в театр имели особое значение. Молодой человек частенько давал своё собственное представление в антракте, а то и прямо во время спектакля, эпатажуя публику своими выходками. Случая «напроситься на историю» он искал везде! Иной раз дело кончалось полицейским протоколом. Один из них повествует о скандале, разразившемся в Каменном театре 20 декабря 1818 года, зачинщиком которого был *«коллежский советник Александр Пушкин»*, который *«в антракте представления выйдя из ложи бенуара, пошёл в ряды кресел партера и задержался возле мест, занимаемых коллежским советником Перевощиковым с супругой. Оный коллежский советник Пушкин остановился и стал рассматривать эту пару, а когда господин Перевощиков попросил его пройти далее, тот, приняв сию просьбу за обиду, наговорил в ответ грубостей и выбранился неприличными словами»*.

По просьбе Перевощикова в зал кликнули полицию, которая, уняв буйна словесно, вывела *«оного коллежского советника»* вон из театра, о чём был составлен протокол, переданный по команде. Спустя три дня полицмейстер Иван Горголи известил о происшествии в театре управ-

⁹ Кумир российских денди лорд Байрон брал уроки бокса у знаменитого чемпиона Джексона. Не без влияния примера Байрона увлекался боксом и Пушкин.

¹⁰ Цена на шампанское колебалась от 1,5 рубля до 25 рублей ассигнациями за флакон, вмещавший кварту — 946 грамм напитка. Во времена походов молодого Пушкина в столице Российской империи самой популярной и престижной считалась марка фирмы «Вдова Клико», называвшаяся «Вино кометы». Названо по урожаю винограда, собранному в 1811 году, когда на небе явилась комета. Бутылка «Клико» 1811 года в России по преysкуранту фирмы стоила 12 рублей. Для сравнения — очень качественное цимлянское вино обходилось по 40 копеек за бутылку. Но столичные денди, если и пили «Цимлянское», то не на людях. Положение в свете, пресловутый «Noblesse oblige», понуждал их требовать «Клико», «Мозт», «Сен-Пре» или другие произведения провинции Шампань, хоть и обходилось это недёшево.

ляющего делами Иностранной Коллегии господина Убри, и Александра Сергеевича «вызвали на ковёр». Начальник устроил ему «головомойку» за недостойное поведение в публичном месте, но скандал замял, известив полицмейстера Горголи, что подчинённый ему Пушкин свою вину осознал и обещал, что *«впредь он так поступать не станет»*.

* * *

Дань моде, пирушки, флирт, увлечение театром, азартная игра — всё это требовало денег. И немалых денег! Не располагавшему личным состоянием и не имевшему достаточных доходов Пушкину приходилось выкручиваться самыми разными способами, чтобы оставаться «комильфо»¹¹ в среде своих товарищей.

Собственно, чем он тогда располагал? Выпускникам Лицея от казны полагалось денежное пособие, выдававшееся «на первое время», пока они не определятся на службу. Лучшие ученики получали право на чин титулярного советника и 800 рублей «на обустройство». Но Александр Сергеевич — ученик был весьма посредственный, по успешности занимавший места в конце второго десятка лицеистов¹². По нескольким предметам он аттестован и вовсе не был, не справившись с экзаменами при выпуске. По совокупности этих прискорбных для его родителей фактов Александр Пушкин по выпуске из Лицея был увенчан лишь чином коллежского секретаря, и «на обустройство» таким «посредственно успевающим» полагалось только 700 рублей.

Намерению Александра по окончании Лицея поступить в конную гвардию решительно воспротивился отец его, Сергей Львович, заявивший, что у семьи «на гвардию нет средств»¹³. Против этого аргумента возразить было нечего. Денег у семейства и правда было маловато. В армию же Александр идти сам не пожелал.

Понуждаемый к тому отцом, свежееиспечённый коллежский секретарь Александр Пушкин в июне 1817 года поступил на службу в Коллегию Иностранных дел, где ему положили жалованье в 700 рублей. Надолго ли могло хватить тех денег молодому повесе?! Всё, что удавалось добыть Александру Сергеевичу, разлеталось прахом в вихре увлечений, как возмещение долгов, взятых «под векселя», за которые молодому человеку крепко попадало от отца, когда приходило время платить.

Разговоры о деньгах тяжко ранили душу Сергея Львовича, и с просьбами о вспомоществовании сын обращался к нему только в самом

¹¹ Комильфо — правила хорошего тона, в переводе с французского означает буквально «так надо».

¹² В первом выпуске Лицея было 30 человек.

¹³ Гвардейские офицеры экипировались на свой счёт, сами оплачивали содержание денщиков, лошадей, обязаны были вносить деньги в полковую казну «на котёл». Полковые правила понуждали тех, кто не имел своих домов, нанимать только достойные квартиры; в театрах, не имея своей ложи, брать места не далее третьего ряда партера. Отец Пушкина и его дядя Василий Львович сами служили в Измайловском полку, но для следующего поколения семьи это было уже невозможно: состояние дел было уже не то, что прежде.

крайнем случае, когда больше уже взять было неоткуда. На такой шаг молодой человек решился, когда ему понадобились бальные башмаки с пряжками¹⁴. Он попросил отца купить их, объяснив, что такие башмаки «в моде» и иметь их не прихоть, а необходимость. Услыхав цену, которую следовало уплатить, Сергей Львович только руками замахал. Для него 80 копеек, отданные Александром извозчику, уже казались веским поводом для выговора. Когда же сын в качестве аргумента привёл необходимость поддержания *renommée*¹⁵ благородного семейства, Пушкин-старший с ним согласился и предложил ему свои туфли, которые он нашивал на балах во времена оны, когда при императоре Павле I служил в гвардии. Тут уж пришёл черёд махать руками сыну. Башмаки с пряжками Александр Сергеевич себе у отца всё же выпросил... Но не сразу... Далеко не сразу...

Иногда Александра Сергеевича выручали карточные выигрыши, но этот род дохода слишком зависел то от капризов Фортуны, то от ловкости рук банкомёта, чтобы на него можно было всерьёз полагаться.

Стеснённые финансовые обстоятельства и натолкнули проигравшего тысячу рублей Пушкина на мысль расплатиться, предложив своему приятелю Никите Всеволожскому, также служившему в Коллегии Иностранных дел, тетрадь собственных стихов, дерзко оценив её в сумму проигрыша.

* * *

Вскоре после произведения этого расчёта Санкт-Петербургское градоначальство сочло, что шалости Пушкина перешли все допустимые пределы, и призвало господина шалуна к ответу.

В списках по Петербургу ходила ода «Вольность», принадлежавшая перу Пушкина, двух строк которой

...Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок...

было достаточно для того, чтобы прослыть бунтовщиком-якобинцем. Но до поры такая вольность поведения сошла Пушкину с рук.

В марте 1819-го им написано стихотворение «Кинжал», посвящённое Карлу Людвигу Занду, приговорённому к смертной казни за убийство Августа Коцебу, известного немецкого драматурга и русского агента в германских землях, выступавшего против академических вольностей германских университетов. Простили и это.

Тучи стали сгущаться над головой поэта, когда его дерзкая лира весьма фривольно спела о любимце императора графе Аракчееве, близком

¹⁴ Бальный внешний вид строго регламентировался. Согласно бальному канону, кавалер должен был явиться в чёрном фраке, белом жилете, при галстукке белого или чёрного цвета, обутым непременно в башмаки. В сапогах на бал допускались только уланы! Поставленный перед такой необходимостью Пушкин и пошёл на крайнюю меру, обратившись к отцу, заранее зная, что разговор будет непростым.

¹⁵ Реноме — в переводе с французского означает «репутация», т.е. установившееся о ком-либо мнение.

к фигуре императора архимандрите Фотии, и даже самом самодержце Александре Благословенном!

Последней каплей, переполнившей чашу начальственного терпения, стало посвящение стихов ветерану наполеоновской армии шорнику Лувелю, в феврале 1820 года зарезавшему герцога Баррийского, считавшегося наследником французского престола.

Бывая в доме столичного почт-директора К. Я. Булгакова, Пушкин «позимствовал» у него литографический портрет Лувеля, полученный на почтамте с последней парижской почтой. Сделав на этом портрете приписку «Урок царям», Александр Сергеевич вечером 20 апреля 1820 года отправился в театр и в антракте, сидя в креслах партера, показывал своим соседям литографию с собственноручной надписью. Это уже был практически призыв к террору! Таковой, во всяком случае, эта выходка показала начальству. Поэта призвали к военному генерал-губернатору графу Милорадовичу и потребовали от него объяснений, сообщив заодно, что подобное поведение несовместимо с пребыванием на службе, а нанесённые оскорбления достойны наказания высылкой.

Изначально предполагалось заточить проказника-денди в Соловецком монастыре или определить на поселение в один из сибирских городов, но потом милостиво решили ограничиться ссылкой в Молдавию, которая, впрочем, тогда из Санкт-Петербурга казалась краем света. Но это был хотя бы тёплый край света!

В ссылке поэт провёл не один год, а тем временем друг его весёлых денёчков Никитушка Всеволожский остепенился и к 1824-му году успел выслужить чин титулярного советника.

О том, как за это время Никита Всеволодович распорядился стихами Пушкина, ни самому автору, ни кому бы то ни было из его знакомых известно не было. Когда появилась возможность издать стихи особым сборником, возникла насущная потребность вернуть проигранную тетрадь. Однако легко сказать «вернуть», если поэт, сосланный в Молдавию, находился за тысячи вёрст от того, у кого осталась рукопись.

* * *

В главные «сыщики» пропавшей тетради волей Александра Сергеевича был отряжён его младший братец Лев Сергеевич¹⁶, которому он писал ещё 4 сентября 1822 года из Кишинёва в Петербург: *«Теперь, моя радость, поговорю о себе. Явись от меня к Никите Всеволожскому — и скажи ему, чтоб он ради Христа погодил продавать мои стихотворенья до будущего года — если же они проданы, явись с той же просьбой к покупщику. Ветреность моя и ветреность моих товарищей наделала мне беды. Около 40 билетов розданы — само по себе разумеется, что за них я буду должен заплатить»*¹⁷.

По какой-то причине исполнить это поручение Льву Сергеевичу не удалось, и двумя годами позже к поиску тетради Пушкин решил подключить

¹⁶ Лев Сергеевич родился 17 (29) апреля 1805 года. На момент, когда брат дал ему поручение отыскать тетрадь стихов, проигранную Всеволожскому, Льву Пушкину было 17 лет.

¹⁷ Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 9.— Письмо № 34.

аж самого управителя канцелярии «Российско-американской компании» и издателя литературного журнала «Полярная звезда» Кондратия Рылеева, а в помощь ему призвать Александра Бестужева¹⁸.

В письме от 29 июня 1824 года, отправленном из Одессы в Москву, Александр Сергеевич просил Рылеева о следующем: *«Кончу дружеской комиссией — постарайся увидеть Никиту Всеволожского, лучшего из минутных друзей моей минутной младости. Напомни этому милому, беспамятному эгоисту, что существует некто А. Пушкин, такой же эгоист и приятный стихотворец. Оный Пушкин продал ему когда-то собрание своих стихотворений за 1000 р. ассигнациями. Ныне за ту же цену хочет у него их купить. Согласится ли Аристипп Всеволодович? Я бы в придачу предложил ему мою дружбу mais il l'a depuis longtemps, d'ailleurs ça ne fait que 1000 rouble s¹⁹. Покажи ему моё письмо. Мужайся — дай ответ скорей, как говорит бог Иова или Ломоносова»*²⁰.

В конце октября того же года Пушкин уже из Михайловского отправил в Санкт-Петербург самому Всеволожскому этакую хитро составленную эпистола, полную напоминаний и намёков: *«Не могу поверить, чтоб ты забыл меня, милый Всеволожский! Ты помнишь Пушкина, прошедшего с тобою столько весёлых часов! Пушкина, которого ты видал и пьяного и влюблённого, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей. Того Пушкина, который отрезвил тебя в страстную пятницу и привёл тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься господу Богу и насмотришься на госпожу Овошникову.*

*Сей самый Пушкин честь имеет напомнить тебе ныне о своём существовании и приступает к некоторому делу, близко до него касающемуся... Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? Ибо знаешь: игра несчастливая родит задор. Я раскаялся, но поздно — ныне решился я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов, большая часть оных ниже посредственности и годится только на совершенное уничтожение, некоторых хочется мне спасти. Всеволожский милый, царь не даёт мне свободы! Продай мне назад мою рукопись, — за ту же цену 1000 (я знаю, что ты со мной спорить не станешь; даром же взять не захочу). Деньги тебе доставлю с благодарностью, как скоро выручу — надеюсь, что мои стихи у Слёнина не залежатся. Передумай и дай ответ. Обнимаю тебя, моя радость, обнимаю и крошку Всеволодчика. Когда-то свидимся... когда-то.»*²¹

Но и прямое обращение к другу, как кажется, не сразу помогло, а потому в конце ноября 1824 года в письме брату Льву Сергеевичу Пушкин

¹⁸ Оба эти «агента» Пушкина будут осуждены по делу «декабристов». Оба они исчезнут. Рылеев будет казнён в числе пятерых главных обвиняемых заговорщиков, место захоронения которых неизвестно. Бестужева сошлют в Якутск, откуда через четыре года переведут на Кавказ солдатом. В боях он выслужит крест и звание прапорщика. Бестужев пережил Пушкина на полгода — считается, что погиб он во время стычки с горцами в лесу, на месте нынешнего Адлера. Но тело его на месте боя не обнаружили.

¹⁹ Но он располагает ею (дружбой) уже давно, вообще же дело идёт только о 1000 рублях (фр.).

²⁰ Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 9.— Письмо № 79.

²¹ Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 9.— Письмо № 91.

уже настойчиво вопрошал: «Жду твоих писем. Что Всеволожский? Что моя рукопись?».

Когда же дельце наконец-то выгорело, строки Александра Сергеевича, писавшего 14 марта 1825 года из Тригорского от соседей по имени Осиповых-Вульф, адресуясь брату в Петербург, снова наполнились оптимизмом, близким к восторженности: «Брат, обнимаю тебя и падам до ног²². Обнимаю также и алжирца Всеволожского. Перешли же мне проклятую мою рукопись — и давай уничтожать, переписывать и издавать. Как жаль, что тебя со мною не будет! Дело бы пошло скорее и лучше — Дельвига жду, хоть он и не поможет. У него твой вкус, да не твой почерк. Элегии мои переписаны — потом послания, потом смесь, потом благословясь и в цензуру»²³.

На другой день уже из Михайловского в Петербург было послано новое письмо Льву Сергеевичу и Плетнёву, старому знакомому, литератору и преподавателю словесности, взявшему на себя труды вести все издательские дела Александра Сергеевича, ограниченного в своих возможностях запретом покидать место ссылки. Это письмо было написано в состоянии, которое принято называть «подшофе», а потому оно и вышло несколько беспорядочным, но весьма и весьма оживлённым: «Брат Лев и брат Плетнёв! Третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал чёрное бельё наскоро, а новое сшил на живую нитку. Но с вашей помощью надеюсь, что барыня публика меня по щечкам не прибьёт, как непотребную прачку.

Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить — у меня на то глаз не достанет. В порядке пиес держитесь также вашего благоусмотрения. Только не подражайте изданию Батюшкова — исключайте, марайте с плеча. Позволяю, прошу даже. Но для сего труда возъмните себе в помощники Жуковского, не во гнев Булгарину, и Гнедича, не во гнев Грибоедову. Эпиграфа или не надо, или из А. Chénier. Виньетку бы не худо; даже можно, даже нужно — даже ради Христа сделайте, именно: Психея, которая задумалась над цветком. (Кстати: что прелестнее строфы Жуковского. Он мнил, что вы с ним однородные и следующей. Конца не люблю.)

Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого...

Нет! Слишком дорога!
А ужась, как мила!²⁴.

К тому же, кроме Уткина, ничей резец не достоин его карандаша.— Впрочем, это всё наружность. Иною прелестью пленяется...²⁵

Пересчитав посылаемые вам стихотворения, нахожу 60 или около (ибо часть подземным богам непредвидима). Бируков, человек просвещённый; кроме его, я ни с кем дела иметь не хочу. Он и в грозное время был милостив и жалостлив. Ныне повинуюсь его приговорам безусловно.

²² Имитация польского наречия.

²³ Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 9.— Письмо № 116.

²⁴ Цитата из сказки И. И. Дмитриева «Модная жена».

²⁵ Фрагмент стихотворения В. А. Жуковского «Мотылёк и цветы».

Что сказать вам об издании? Печатайте каждую пиесу на особенном листочке, исправно, чисто, как последнее издание Жуковского. Но каждую штуку особенно — хоть бы из четырёх стихов состоящую — (разве из двух, так можно à la ligne и другую).

60 пиес! Довольно ли будет для одного тома? Не прислать ли вам для наполнения «Царя Никиту и 40 его дочерей»?²⁶ Брат Лев! Не сердитесь журналистов! дурная политика! Брат Плетнёв! не пиши добрых критик! Будь зубаст и бойся приторности! Простите, дети! Я пьян».

Через две недели брату Льву Сергеевичу из Михайловского было отправлено новое письмо, датированное 27-м марта: «Об Вяземском получил известие. Перешли ему, душа моя, всё, что ты имеешь на бумаге и в памяти из моих новых сочинений. Этим очень обяжешь меня и загладишь пакости твоего чтенъебесия²⁷. Получил ли ты мои стихотворенья? Вот в чём должно состоять предисловие: “Многие из сих стихотворений — дрянь и недостойны внимания российской публики — но как они часто бывали печатаны бог весть кем, чёрт знает под какими заглавиями, с поправками наборщика и с ошибками издателя — так вот они, извольте-с кушать-с, хоть это-с [говно-с] (сказать это помягче). 2) Мы (сиречь издатели) должны были из полного собрания выбросить многие штуки, которые могли бы показаться тёмными, будучи написаны в обстоятельствах неизвестных или малозанимательных для почтеннейшей публики (россейской) или могущие быть занимательными единственно некоторым частным лицам, или слишком незрелые, ибо г. Пшк. изволил печатать свои стишки в 1814 году (то есть 14-ти лет) или как угодно”. 3) Пожалуйста, без малейшей похвалы мне. Это непристойность, и в “Бахчисарайском фонтане” я забыл заметить это Вяземскому. 4) Всё это должно быть выражено романтически, без буфонства. Напротив. Во всём этом полагаюсь на Плетнёва. Если я скажу, что проза его лучше моей, ведь он не поверит — ну по крайней мере столь же хороша. Доволен ли он? Да перешли на всякий случай это предисловие в Михайловское, а я пришлю вам замечанья свои. Когда пошлешь стихи мои Вяземскому, напиши ему, чтоб он никому не давал, потому что эдак меня опять обокрадут — у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями. Прощай. Сестру поцелуй».

* * *

В конечном итоге все волнения оказались позади, труды и хлопоты увенчались выходом книги 30 декабря 1825 года, называвшейся «Стихотворения Александра Пушкина», на титуле которой значился 1826-й год, а в качестве эпиграфа использована строфа римского поэта Пропорция «Юность поёт о любви — муж воспекает тревоги» на латыни. Использованное в эпиграфе слово tumultus — «шум» — имело несколько значений, среди которых «тревога», «мятеж», «бунт» и «восстание». Цензурное разрешение на книгу было получено в начале октября 1825-го, а вышла

²⁶ Это шуточка. «Царь Никита и сорок его дочерей» — произведение хотя и очень остроумное, но совершенно неподцензурное, с категорическим диагнозом «не для печати».

²⁷ Так Пушкин называл повсеместное чтение Львом Сергеевичем неизданных стихов.

она через две недели после выступления «декабристов», отчего эпитафия приобрёл весьма двусмысленное звучание. Да и содержание было весьма смело, а потому выход книги произвёл фурор. Уже через пару месяцев у издателя Плетнёва не осталось ни одного экземпляра книги, и он писал в феврале 1826 года о том, что между книгопродавцами, узнавшими, что книг больше не будет, началась настоящая война за пушкинский сборник.

Пропажа пятой главы

Повторный опыт использования рукописей в качестве ставки при игре в штосс увенчался гораздо большим успехом, нежели сражение за карточным столом 1820 года со Всеволожским. Однако словно злой рок преследовал эту самую столь счастливо отыгранную у Загряжского пятую главу романа «Евгений Онегин»! Автор умудрился её потерять, да так и не нашёл, и куда подевался оригинал рукописи, никому по сию пору неизвестно. А произошло это при следующих обстоятельствах.

Получив разрешение императора вернуться в столицу, спешно завершив все дела в Москве, 19 мая 1827 года Пушкин выехал в Петербург, взяв с собой рукопись готовых глав «Онегина». По приезде же оказалось, что дорогой бесследно пропал основной вариант пятой главы! Той самой, где так ярко повествуется, как крестьянин на дровнях обновляет зимний путь, а дворовой мальчик, катая в санках Жучку, отморозил пальчик... Вообразите себе, что стихи эти, непременно «задаваемые наизусть» многим поколениям российских школьников младших классов, могли и не дойти до нас!

Прискорбность ситуации многократно усугублялась тем, что в декабре, ещё перед отъездом из Михайловского, автор уничтожил черновики, а на память и в точности своих стихов он не помнил. Деньги за эту главу, авансом выплаченные Смирдиным, были потрачены, и вместе с возможной неустойкой составляли сумму, которую Пушкину взять было решительно неоткуда.

Оценив всю печаль открывавшихся ему перспектив, Александр Сергеевич спешно написал брату, Льву Сергеевичу, прапорщику Нижегородского драгунского полка, входившего в состав Кавказского корпуса, прося немедленной помощи.

Это письмо вовсе не было жестом безумного отчаяния, как могло бы показаться. На тот момент именно Лев Сергеевич был действительно единственным на свете человеком, который мог бы помочь поэту, попавшему в переплёт прискорбных житейских обстоятельств.

* * *

Младший брат Александра Сергеевича не мог похвастаться ни выдающимся литературным даром, ни даже достойным образованием, что, впрочем, в те времена не считалось существенным изъяном. Большой частью дворянская молодежь вполне ограничивалась «домашним образованием», благо что для поступления в военную или гражданскую службу дипломов предъявлять не требовалось. Если же некто не претендовал ни

на что особенное в жизни, то в своём имении мог «жить баринoм» и вовсе ничему не учась.

Младший брат Пушкина пробовал учиться, но ни рвения, ни способностей не проявил. В таких случаях говорят: «не в коня корм». Строки, написанные поэтом о своём поколении: «*Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь*» — Льву Сергеевичу подходили как нельзя лучше. После необременительных домашних занятий с учителями и гувернёрами Пушкин-младший сменил подряд несколько учебных заведений, и всё без особого проку. Изначально вкусил он горьких корней познания мудрости в стенах главного немецкого училища при лютеранской церкви св. Петра, но там дело у него не пошло. Перейдя в Благородный пансион при Царскосельском лицее, Лев и там не задержался. Третью попытку получить хоть какое-нибудь регулярное образование Лев Сергеевич предпринял в 1817 году, поступив в Благородный Пансион при Главном Педагогическом институте. В этом последнем заведении, несмотря на его пышное название, учили кое-как, но даже и этого курса Лев Пушкин не осилил. В 1821 году за участие в протесте против увольнения Вильгельма Кюхельбекера, лицейского приятеля старшего брата, преподававшего словесность, Льва Пушкина из пансиона исключили.

На этом этапе с учением Лев Сергеевич покончил, зажив в доме своего отца, нигде не служа и не занимаясь никаким делом. Но безмятежной такую жизнь назвать было никак нельзя. Бесконечные попреки прижимистого папаша, полная от него зависимость в финансовых делах заставили Льва Пушкина в ноябре 1824 года поступить на службу в Департамент Духовных дел иностранных исповеданий. Это была явно не его стезя. Прослужив без особого усердия и каких-либо успехов только до октября 1826 года, Лев Сергеевич вышел в отставку, объявив родственникам, что желает стать военным.

На другой год он определился юнкером в Нижегородский драгунский полк, входивший в состав Кавказского корпуса, с которым младший Пушкин принял участие в сражениях Персидской кампании. Он был отмечен начальством за храбрость, а товарищам по полку полюбился за широту души и добрый нрав.

Но чем же этот замечательный драгунский субалтерн²⁸, служа на Кавказе, мог бы помочь своему знаменитому брату-поэту, потерявшему драгоценную рукопись где-то на дороге между Москвой и Петербургом? О, Александр Сергеевич знал, что делал, написав именно ему! Братец Лев обладал странным, но весьма полезным в данном случае талантом — у Пушкина-младшего была феноменальная память! Пользуясь этим даром, Лев Сергеевич неоднократно выигрывал крупные пари, по условию которых он, лишь раз прочитав страницу произвольно выбранного оппонентом текста, тут же повторял прочитанное наизусть без единой ошибки.

Пятую главу «Онегина» Лев Пушкин раз прочёл сам и ещё раз прослушал её в исполнении брата. Несмотря на то, что с той поры прошло порядочно времени, этого оказалось достаточно. Пока в Петербурге брат всячески оттягивал момент передачи рукописи Смирдину, Лев Серге-

²⁸ Так в российской армии называли младших офицеров, находившихся в подчинении командиров рот, батареи или эскадронов.

евич, воспроизведя по памяти текст утраченной рукописи, записал стихи мельчайшим почерком на трёх небольших листках бумаги и отправил их брату из Тифлиса с почтой. Получив драгоценную эпистола, Александр Сергеевич живо переписал стихи набело и отдал их издателю, сняв, наконец-то, камень со своей души. В начале февраля 1828 года пятая глава «Евгения Онегина» была опубликована, а история её злоключений ещё долго оставалась никому не известной.

* * *

Все эти сведения выплыли наружу лишь после смерти Александра Сергеевича. Так, выручивший поэта брат Лев в 1843 году женился на Екатерине Александровне Загряжской, отец которой когда-то выиграл у его старшего брата пятую главу в штосс. Услышав от тестя рассказ о том давнем картёжном сражении, Лев Сергеевич в свою очередь поведал ему о продолжении приключений сочинения брата. Годы спустя, когда уже не было нужды сохранять в тайне это давнее происшествие, Загряжский рассказал слышанное от зятя журналисту Николаю Петровичу Кичееву, а тот в мартовской книжке журнала «Русская старина» за 1874 год опубликовал заметку, в которой изложил всю эту историю так, как он её запомнил.

ПОКАЗАНИЯ ТАЙНОГО СВИДЕТЕЛЯ

224

Скандальное происшествие на панихиде

ВАЛЕРИЙ ЯРХО

Начала 1887 года вся культурная общественность России ждала с особым нетерпением. Той зимой исполнялось 50 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина и терялось право частной собственности на издание его произведений. Откупивший эти права знаменитый книгоиздатель Александр Филиппович Смирдин ещё в 40-х годах совершенно разорился, и «по расстройству в денежных делах не находил возможности издавать сочинения господина Пушкина». Казна же, не желая выкупить у него права, предпочитала дожидаться момента, когда пройдёт установленное время.

Хотя в это трудно поверить, но произведения Пушкина за полвека, минувшие со дня смерти поэта, стали в России библиографической редкостью. За прижизненные издания Пушкина приходилось платить тройную цену букинистам. Стихи Александра Сергеевича переписывали от руки. Пушкинские книги и списки с них передавали по наследству, указывая в завещании отдельно! И вот приблизилась роковая дата, когда все законные ограничения утрачивали свою силу. Все ждали выхода первого посмертного собрания сочинений великого поэта России.

Также ожидалось, что именно в день пятидесятилетия со дня смерти поэта будет точно названо место, где произошла дуэль, приведшая к смертельной ране Александра Сергеевича. Предполагалось, что это совершится после панихиды, которую служили на Чёрной речке.

Туда к четырём часам дня через заснеженные поля сошлись и съехались до полутора тысяч человек. Прибыло всё губернское земство во главе с председателем губернской земской управы господином А. И. Гор-

чаковым, директор Александровского лицея Гартмана со старшими воспитанниками и, наконец, как самый почётный гость, приехал сын поэта, генерал-майор свиты Его Величества Александр Александрович Пушкин.

Панихиду служило духовенство окрестных церквей. Пели три хора: Исаакиевского собора, Ново-деревенской церкви и женский хор земской школы. Всё было очень чинно, прилично-торжественно, искренне и трогательно. Лишь одно каверзное обстоятельство портило дело: никто так и не смог точно сказать — на том ли месте служат панихиду?

По окончании всех траурных служб вопрос о месте дуэли отца в своём разговоре с земскими начальниками поднял сын покойного поэта. Прежде ему было обещано, что к полувековой годовщине непременно место дуэли будет указано в точности. Земцы же признали, что, производя розыски, они обнаружили два мнения. По указанию крестьян деревни Коломяги, поединок произошёл за Комендантской дачей, по левой стороне дороги. Член же земской управы Шакеев, основываясь на свидетельстве секунданта Пушкина, Данзаса, утверждал, что дуэль произошла по правой стороне дороги. Но где именно был смертельно ранен Пушкин, установить не было никакой возможности, ибо в 40-х годах эта местность сильно изменилась из-за строительства Ново-Коломяжской дороги. Предполагали только, что место дуэли находилось где-то тут, между Старо-Коломяжской и Ново-Коломяжской дорогами. Земцы клялись, что не пожалеют сил, чтобы установить точно, где же всё-таки находится место дуэли, добьются отчуждения этого участка и воздвигнут на нём памятный монумент. Этим ответом его превосходительство Александр Александрович остался крайне неудовлетворён, что и выразил в достаточно резкой форме.

Заявление господина барона

Попытки поиска места знаменитой дуэли к моменту служения панихиды на полувековой юбилей предпринимались уже не впервой. Ещё в 1880 году, при открытии памятника Пушкину в Москве, планировали и на месте дуэли воздвигнуть бюст поэта, но тогда было лишь установлено, что «место дуэли заброшено и даже точно не обозначено». Единственной зацепкой к его определению служил столбик, появившийся будто бы спустя несколько лет после смерти поэта, на котором была прикреплена чёрная доска с надписью белыми буквами: «27 января против сего места упал смертельно раненный на поединке А. С. Пушкин». Кто установил этот знак, никому не было известно — он довольно скоро обветшал, и ему на смену появился другой, потом ещё, но всё это, можно сказать, была частная инициатива неизвестных лиц, которые и сами вряд ли располагали точными сведениями о месте дуэли.

В самый разгар обсуждения российскими газетами различных версий событий полувековой давности в № 31 «Московских ведомостей» за 1887 год появилась статья, написанная бароном Эммануилом Штейнгелем, в которой он попытался внести ясность в вопрос о месте дуэли Пушкина. Барон указывал на прямого свидетеля этих событий, который так и остался не известен ни следствию, ни исследователям, ни родственникам поэта.





Фотография Татьяны Печениной

Господин барон писал, что отец его зимой 1852 года купил у иностранного подданного Гольца только что отстроенную Чернореченскую ферму, стоявшую на самом берегу Чёрной речки, за Старокомендантской дачей, по Коломяжской дороге. Самому Эммануилу Штейнгелю было тогда только десять лет, и он учился в пансионе. Через несколько месяцев, когда стало теплее, приехав из пансиона на отцовскую ферму, мальчик стал совершать вылазки в окрестные леса, ища приключений.

Однажды он пожелал осмотреть Комендантскую дачу, к высоченному забору которой случайно вышел. Ворота были заперты, но для ловкого мальчика не составило труда перелезть через ограду и спрыгнуть во двор. На его счастье, собак на даче не держали, и он, чувствуя себя настоящим разведчиком, обошёл двор и попытался пробраться в дом. Обнаружив, что двери и окна дачи были заперты, юный Эммануил пошёл в комендантский сад. Вволю набегавшись, он присел на лавочку. На солнышке его разморило, и он заснул. Таким, спящим в саду, его и застал дворник Иван, который разбудил мальчика и стал укорять за то, что тот забрался в чужой сад без спросу.

Вполне высказавшись, Иван увенчал свою речь назидательным вопросом:

— И что же это из вас, барин, выйдет, ежели вы уже такой маленький, а законов не уважаете?

На это Эммануил Штейнгель бойко ответил, что он уважает законы, ибо его как раз готовят к поступлению в Училище правоведения, где этим самым законом учат. Также он сообщил, что по окончании Училища непременно станет судьёй, достигнет чина, уж по крайней мере не меньшего, чем у его дяди — коменданта крепости, а увенчает свою карьеру сенаторством.

Выслушав ответ столь целеустремлённого ребёнка, дворник лишь закричал, а потом совсем неожиданно задал довольно-таки крамольный вопрос:

— А вот скажи мне, молодой барин, коли ты людей собираешься судить: отчего царь позволяет господам убийство, а чёрный народ за то же самое шлёт в каторгу?

«Как ни мал я был,— писал барон,— а всё же уже знал, что всякое убийство наказывается, и это объяснил дворнику Ивану».

Но тот позволил себе усомниться:

— Я, барин, сам видал убийство, произошедшее вот возле этой самой дачи, и не слыхал, чтобы убийцу за него судили и наказали!

Теперь пришёл черёд не верить Эммануилу Штейнгелю. Но Иван божился и рассказал ему, как уже порядочно лет тому назад однажды зимой, под вечер, он сидел в своей дворницкой и глядел в окошко. Темнело, и он уж собирался зажечь сальную свечу, когда заметил на Коломяжской дороге господские сани, остановившиеся неподалёку от дачи. Вышедшие из саней люди пошли влево, мимо окон его дворницкой, к лесу.

Подивившись и не понимая, что в эту пору да в такую холодную погоду эти господа собирались делать в лесу на ночь-то глядя, Иван через окно смотрел им вслед, сколько было можно. Не успели странные господа скрыться из виду, как подоспели другие сани, и из них высадились

другая компания, поспешившая по той же дороге, по которой пошли те, что приехали первыми.

Поразмыслив, Иван решил посмотреть сам, что происходит. Надев шубу и шапку, он пошёл вслед за странными господами и подобрался к тому месту, где был слышен их разговор, довольно близко. Дворник тихо встал за кустами и смотрел, вглядываясь сквозь сгущавшиеся сумерки в то, что происходило на поляне.

Там приезжие господа стояли двумя кучками, «саженях в восьми друг от друга», и о чём-то говорили, но о чём именно, он не понял. Потом двое из них почти одновременно выстрелили друг в друга, причём один из стрелявших, тот, что стоял у дорожной насыпи, упал. К нему подбежали, стали спрашивать, он отвечал, но слов Иван по-прежнему не разбирал. Один из подходивших вернулся к стоявшему отдельно человеку, по словам Ивана, «кажется, офицеру», что-то ему сказал, и оба они пошли прямо на него, но, не заметив притаившегося в кустах дворника, вышли на дорогу, сели в свои сани и уехали.

Бедолага Иван был страшно напуган! Сообразив, что стал свидетелем убийства, он, как всякий русский человек, опасался, что теперь его непременно «затаскают» как свидетеля судебные власти, а как с лица должностного взыщет начальство: «Зачем, каналья, допустил смертоубийство возле порученной тебе дачи!?»

Так, стоя за кустами ни жив ни мёртв, Иван увидел, как раненого полусидя прислонили к насыпи, надели ему на голову свалившуюся шапку. Потом его подняли на руки, понесли. Иван бросился к себе в дворницкую и заперся там. Он всё боялся, что раненого принесут прямо к нему в дом, и тогда уж ему точно не отвертеться. Но он опасался напрасно — своего подстреленного товарища господа отнесли в сани и скоро проехали мимо окон дворницкой.

* * *

Всю ночь Иван проворочался, а утром, как стало совсем светло, хватил со двора лопату, какой чистил на дворе снег, и пошёл к тому месту, где давеча произошло «смертоубийство». Придя туда, Иван увидел комки окровавленного снега. Самой крови на снегу было немного набрызгано, но комки снега, видимо, прикладывали к ране и, напитанные кровью, отбрасывали. Собрав окровавленный снег в выемку насыпи, дворник утрамбовал его, натаскав свежего снега в полах шубы и раструсив его на месте. Он срыл лопатой следы на поляне, наносил ещё снегу, ровняя его лопатой, и тогда только успокоился, когда не осталось никаких следов вчерашнего происшествия.

Ни господ, ни того, что между ними произошло, Иван не знал. Только спустя три недели вызванный по какому-то делу к коменданту крепости, сидя в кухне его питерского дома, он услышал о том, что на дуэли стрелялись двое господ, и один из них, «учёный писатель», был ранен и умер, а другой куда-то скрылся. К радости Ивана оказалось, что следствие по этому делу уже закончено и суда не будет, а стало быть, свидетели не нужны, и «таскать» его никто не станет.

Дворник отвёл молодого барона к тому месту, где произошла дуэль, и в подробностях показал где кто стоял, где упал раненый, куда его отне-

сли. *«В то время,— писал далее Штейнгель,— я ещё не читал произведений Пушкина, а просто хотел увидеть место дуэли».*

Дома мальчик рассказал обо всём услышанном своему отцу. Тот тоже счёл рассказ Ивана интересным и попросил сына отвести его на место, чтобы успеть его осмотреть. На другой день Эммануил отвёл отца к тому месту, которое давеча ему показал дворник Комендантской дачи. Барон Штейнгель-старший, выслушав ещё раз пересказ сына, предположил, что, скорее всего, Иван видел, как смертельно ранили Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы пометить место, барон, выворотив кол из ближайшей изгороди, воткнул его там, где возле насыпи, по его мнению, лежал Пушкин, а сам мальчик связал из двух сучьев крест и положил его возле того кола. Место, где предположительно стоял Дантес, они пометили, положив булыжник.

* * *

Уже учась в Училище правоведения, Эммануил, приезжая на каникулы на ферму отца со своими товарищами, непременно водил их к тому месту возле Комендантской дачи и пересказывал слышанное от дворника Ивана, показывая, где кто стоял и как что было.

По окончании Крымской войны старший барон Штейнгель продал свою ферму на Чёрной речке, пожелав вместо неё купить имение в чернозёмной полосе. В последнее лето перед выездом с фермы к Штейнгелям приехали погостить кузен Эммануила Василий Николаевич Белавин-Ланской и его товарищ по училищу Виктор Яковлевич Кронеvский. К тому времени юноши уже зачитывались Пушкиным, находя к тому большую возможность, хотя, как мы помним, это было совсем даже непросто. Придя в очередной раз к месту своего поклонения памяти поэта, они, сидя под насыпью Коломяжской дороги, решили установить более заметный знак, нежели кол, воткнутый бароном Штейнгелем в мае 1852 года.

С этой целью они принесли с фермы отёсанный с четырёх сторон столбик — в сажень высоты и трёх вершков толщины. Его они врыли на том месте, где прежде был вбит кол, и с каждой из четырёх сторон написали строки из произведений Пушкина. Как припомнил Эммануил Штейнгель, сам он написал:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастёт народная тропа...

По словам барона, эти строки ему пришли на ум, поскольку именно они — он и его товарищи — были первыми россиянами, которые воздвигли подобие «рукотворного памятника» любимому поэту, в то время когда, как им казалось, всё русское образованное общество совсем забыло Александра Сергеевича Пушкина. По крайней мере, до того не было предпринято никаких попыток оградить землю и отметить знаком место, где пролилась кровь поэта, прославившего Россию своими сочинениями.

«Нам, трoим юношам, только что вышедшим из отроческого возраста, прoститeльно было считать себя воздвигателями памятника незабвенному поэту,— писал барон Штейнгель,— и то, что мы гордились нашим сооружеvием в виде простого столба, тоже извинительно — достойный памятник должен быть поставлен на этом месте от всей России, а не тремя мальчишками».

Далее господин барон предлагал свои услуги всякому, кто захотел бы принять на себя труд по установлению памятника, уверяя, что он как никто другой может точно указать место.

Что было потом

Предложения барона не были услышаны, а его претензии на первенство в установке памятного знака и вовсе проигнорировали. До сих пор о столбике, установленном Эммануилом Штейнгелем и его товарищами, пишут, непременно прибавляя: «Кто установил этот столбик, по сей день является загадкой».

Несмотря на клятвы и уверения, земство не выполнило обещания, данного сыну Пушкина после панихиды в январе 1887 года. Ещё через несколько лет, уже в начале 1890-х годов, занятую огородами местность на Чёрной речке передали в ведомство императорского Скакового общества, которое немедленно приступило к постройке ипподрома со всеми необходимыми службами: трибунами, конюшнями, кузницами и санными сараями.

Собственно говоря, именно то, что там, где стрелялся Пушкин, решили строить конюшни, взбудоражило общественное мнение, которое принудило Скаковое общество заняться благоустройством места дуэли. На деньги этого общества возвели кирпичный постамент, который оштукатурили и увенчали гипсовым бюстом Пушкина. Недолго простояв, бюст рассыпался, но его заменили новым. Выглядело это всё жалко и нелепо — маленький памятник помещался на скаковом дворе, между забором и изгородями, рядом с конюшнями. Подле него красовались горы навоза.

В 1908 году, с началом эры воздушных полётов, ипподром превратили в Комендантский аэродром, и новым хозяевам, устремлённым помыслами в небо, также было не до памятника — к 1921 году он опять развалился. Эпопея с монументом имела продолжение, изобилующее разного рода поворотами сюжетов, вплоть до арестов и посадок авторов проектов в ходе репрессий 1930-х годов, но оставим эту тему, поскольку речь идёт не о самом памятнике, а о месте, где он установлен.

О чём писал Штейнгель?

Итак, после заявления барона Штейнгеля можно утверждать, что памятный столбик, по которому наконец-таки была совершена «привязка к месту», изначально был установлен им и его товарищами. По крайней мере, никаких других претендентов на связное и аргументированное изложение версии с возникновением этого знака не имеется. Но стоит ли кричать «виват» по этому поводу? Кто поручится, что юные Штейнгель, Белавин-Ланской и Кроневский поставили этот столбик именно на месте дуэли Пушкина с Дантесом, а не какого-нибудь другого поединка?

Рассказ дворника Ивана десятилетнему мальчику ничегошеньки не удостоверяет. Даже если решить, что никакому на свете дворнику так

ловко не придумать подобную историю, чтобы рассказать её спустя пятнадцать лет какому-то мальчишке, а посему допустить, что он видел чей-то поединок, то кто возьмётся утверждать, что это была та самая историческая дуэль? Ни точной даты, ни даже года Иван не называл. Ни описания наружности дуэлянтов, ни даже уверенности в том, что один из стрелявшихся был офицером, в его рассказе нет. Это не принимая уж в расчёт всяческих мелочей, которые литературоведы-пушкинисты в момент найдут и объявят «несоответствием».

Бог с ним, с тем Иваном,— он рассказал, как умел, ни разу не назвав имени Пушкина,— самое большое, на что он сподобился, так это упомянуть про «учёного писателя», как называли умершего после дуэли человека, которого, опять же по предположению Ивана, ранили у него на глазах недалеко от Комендантской дачи.

О том, что дворник ему рассказывал о дуэли Пушкина, Эммануил решил, поскольку *«тогда знал о Пушкине, но его произведений не читал, а место дуэли хотел видеть»*. Дворник показал ему место, где однажды зимним вечером стрелялись господа, а вывод о том, что это в 1837 году стрелялся Пушкин, сделал барон Штейнгель-старший, которому так хотелось думать. Мнение папеньки было для Эммануила главенствующим, да и, наверное, ощущение причастности к тайне, связанной с Пушкиным, очень возбуждало юношеское воображение. По малолетству он не знал, что местность эта в 1840-х годах изменилась и проложили новую дорогу!

232

Земцы в 1887 году утверждали, что «место» находится меж двух дорог: старой Коломяжской и новой. Штейнгель же уверенно показывал под откос насыпи дороги, не говоря, старая она или новая. Кто даст гарантию, что Иван рассказывал ему о событиях, относящихся именно к 1837 году, а не о более поздних, случившихся уже после строительства новой дороги? Впрочем, и опровергнуть рассказ Штейнгеля также некому!

Памятный знак в виде столбика, врытого некогда бароном, указывал место, а другого никто назвать не мог. По нашему извечному обычаю решили, что тот, кто «застолбил», «поди, лучше нашего знает», и установили там памятник. Последовала череда возведения и разрушения монументов, но получается, что до сегодняшнего дня так никто точно и не смог сказать: «Вот именно здесь произошла дуэль Пушкина». Ткнув пальцем в землю, незатейливый дворник Иван указал для него место — и только. В качестве утешительного рассуждения можно лишь привести латинское изречение, утверждающее, что глас народа — это глас Божий.

ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ

(Интервью с Романом Славацким)



Галина Константиновна Горчакова родилась в Ленинграде. В девятилетнем возрасте с родителями переехала в Горький. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Лобачевского. Свой профессиональный путь начала на Горьковской областной студии телевидения. В Коломне работала в газете «Коломенская правда» — заведовала отделом культуры, была заместителем директора-главного редактора Коломенского информационного агентства. Автор книги «Вы не забыты, пока живы мы», как редактор подготовила к изданию несколько книг, в содружестве с известной коломенской журналисткой Г. Н. Матвеевой работала над изданием ряда книг о Коломне.

Заслуженный работник печати Московской области. Награждена памятной медалью и дипломом Московской городской организации Союза писателей России.

— **Д**есять лет назад в издательском доме «Лига» увидела свет ваша поэма «Мемориал». Недавно я перечитала этот фантастический детектив на мистико-философской основе, и снова с удовольствием. Увлекает переплетение реального, материального и фантастического, магического. «Вывихнутое пространство», создающее грандиозные мистические картины в «Мемориале», скажем, видение долины Иосафата на рязанском лугу: «Едва лишь Фома произнёс это, как лежащие на поле костяки поднялись. И два войска восстали, но не для битвы. В полном безмолвии они стояли, смешанные, азиаты рядом с нашими воинами. Они стояли, озаряемые отблесками, и смотрели вверх, где наливалась кровью Луна, и в вышине, над полем, стояло другое поле, заполненное бронзовыми латниками, а выше парил грозный каменный Город». Этакая параллель Древней Руси и Трои. ...Некая энергетическая воронка, в которую затягивает персонажей. «Пространство было расколото, и оттуда вытекал ветер времени, от которого сознание мутилось». Трещина во времени, из которой «сквозило, и поэтому можно было одновременно схватить прошлое и угадать будущее». Отражение временных пластов в зеркале дракона: время дробится и бесконечно повторяется... Как родился замысел?

— Дело в том, что «Мемориал» создавался долго, двадцать три года. И если в начале его автор был практикующим язычником, то в конце уже

вступил в бодрые ряды «обновленцев» и подумывал: не пора ли принять классическое Православие?

В юном возрасте «орфизм» до добра не доводит; как, впрочем, и в зрелом тоже. И когда тебе у Воздвиженского храма, на перекрёстке Успенской и Бобрёвской, является Гермес — тут уже не до шуток: только успевай записывать.

Ну, конечно, и без Сведенборга не обошлось, и русской мистики Серебряного века (Соловьёв, Андрей Белый и т.д.) Отсюда, из гностической практики, и яркость «видений». Допрактиковался до «Мемориала»...

Конечно, «угли уже остыли», и греческих богов я воспринимаю не как светлую силу, а как демонов, всё же отношение к этим демонам как реальным личностям осталось. С ортодоксальной точки зрения, может быть, и стоило бы повыкидывать всю эту античность и околосамоуническую мистику. Но в этом были бы невыносимое лукавство и фальшь. Пусть уж всё остаётся, как было.

— *Гёте, помнится, говорил, что в точности изображённый мопс — это ещё один мопс, а не новое произведение искусства. Ближе всего ваш «Мемориал» к так называемому магическому реализму — жанру, очень популярному в современной литературе. (Понятно, что все подобные отнесения весьма условны, да другими быть и не могут.) Почему именно этот жанр вы выбрали?*

— Пожалуй, было бы правильнее сказать, что это жанр выбрал меня, а не наоборот. Пока работал, не оставляло ощущение «надиктованности». Как будто некто заставлял меня записывать. Это встречается и у других поэтов. У Алины Чадаевой, например, есть цикл, который так и называется — «Из надиктованного».

Понять, как создавался «Мемориал Виолы Скавронской», можно из другого сочинения: «Записок музейщика». «Мемориал» — ведь это часть «Коломенской трилогии», которая построена по принципу «обратного времени». Сначала идут «Записки музейщика» (середина 1990-х годов). Тут заключается своего рода комментарий к следующим книгам. Эта часть, к сожалению, пока не напечатана, но она выложена в Интернете, например — на Прозе.ру. Далее расположен «Мемориал» (начало 80-х) и поэтическая книга — «Чёрные корабли» (40-е — 50-е годы), написанная одним из героев поэмы — Дмитрием Озеровым.

Хотелось бы, конечно, увидеть все три книги под одной обложкой, но не знаю, доживу ли до этого времени.

— *Некоторых авторов, подвизающихся на ниве фантастики, вводит в соблазн кажущаяся простота: сочиняй, насколько хватит воображения. Тем более что иная фантастическая реальность не требует даже логики; помните, у Гофмана в «Золотом горшке» важный маленький человечек в сером плаще оказывается просто серым попугаем; при этом никто не удивляется данному обстоятельству, все принимают его как должное. А на самом деле, в чём трудность этого излюбленного читателями жанра?*

— На мой взгляд, дело не в «лёгкости» или «трудности». Те, кто считает, что фантастику писать легче, находятся, вероятнее всего, в плену иллюзии. Всё зависит, в конечном счёте, от писательского таланта. У нас

в Коломне есть литератор, давно и плодотворно работающий в стиле фэнтези — Сергей Малицкий. Его перу принадлежат не только превосходные новеллы, опубликованные на страницах «Коломенского альманаха» («Палыч», «Каждый охотник желает знать...» и другие). Он сочинил уже десятка полтора романов, которые блестяще написаны — не только в смысле интриги, но и в детализовке, когда пейзаж, портрет или речь персонажа становятся осязаемыми, обретают плоть и звук. Мне особенно нравится его цикл «Пепел богов».

А в то же время имеются в наличии труды некоторых авторов, считающих, что фантастику писать «легко». Откровенно говоря, эти произведения производят впечатление безвкусицы и детской беспомощности...

— *Первые опыты на избранной стезе были сделаны вами задолго до «Мемориала». Вспомнить хотя бы повесть «Пожарник», напечатанную в самом первом номере «Коломенского альманаха», то есть более двадцати лет назад. Жанр её вы определили как фантазмагорию. Мне кажется, тогда это была пока ещё робкая попытка приближения к жанру.*

— Надо учитывать, что в «Альманахе» был издан журнальный вариант. Повесть целиком опубликована в Интернете: там она смотрится помощнее. Плюс к тому есть ещё некий иронический акцент, своего рода игра с читателем, например, по поводу литературного генезиса Михаила Булгакова и влияния на него, скажем, Александра Чаянова. Об этом мало кто задумывается, а на самом деле сей фактор весьма значим.

Мы часто находимся в плену школьной истории, а на деле отношения литераторов куда сложнее. Мало кто осознаёт, что авторитет Лажечникова как исторического романиста был в своё время неизмеримо выше, чем у Пушкина. Многие ли сегодня помнят стихи Анатолия Мариенгофа? А его влияние на творчество и жизнь Есенина было безусловным и во многом определяющим.

— *Поговорим о литературных впечатлениях, которые проросли в ваш метод, будучи усвоенными, переваренными, сформировали его. Предшественники у вас могучие: и Гофман мой любимый, и Гоголь, не менее любимый, а главное, Булгаков. В «Мемориале» вы ведёте повествование в двух временных планах, и в других вещах найдём булгаковские аллюзии, например, в рассказе «Прогулка» герой-повествователь прямо сравнивает представителя некоего подземного народа с Коровьевым. Думаю, что вы тут вовсе не подставляетесь, как может показаться на первый простодушный взгляд. Впрочем, вы и сами спешите предвосхитить упрёки в подражании — репликой Фомы: «Булгаковщина! Родовая травма современной литературы. Вся современная литература отравлена Булгаковым». Что стоит за этими словами, какая авторская мысль?*

— Каюсь, здесь действительно проявляется некоторый снобизм. «Мемориал» замаскирован под «Мастера», чтобы некоторые рьяные «литературоведы» «купились» на это и заверещали о «заимствовании». Кое-кто действительно «купился» и заверещал, что меня очень забавляет.

Когда «Мемориал» начинался, автор приносил сакральные жертвы, как ни парадоксально — богу смеха, Момусу.

Тут есть, конечно, элемент надрыва. За иронической авторской ухмылкой скрывается совсем невесёлая бездна оккультизма. Это в эпоху Винкельмана был создан миф о лучезарном мире греческих богов. На самом деле античная религия довольно безрадостна, можете мне поверить...

Но грустить не всегда хочется: отсюда явление, которое философы называют «смехом Соловьёва».

Возвращаясь к «Мемориалу», справедливости ради нелишне заметить, что повествование там ведётся не в двух, а, по меньшей мере, в семи временных планах. Несмотря на это, на мой взгляд, поэма воспринимается достаточно цельной и органичной.

— *В «попытке предисловия» к «Мемориалу» вы пишете: «Перед вами — коломенский текст. Давайте просто попробуем прочитать его». Напомним вначале, что коломенский или какой-либо иной текст, в определении которого есть географическая составляющая,— это отражение местной, так скажем, реальности в художественных вымыслах, которые, говоря словами филолога В. Н. Топорова, «пресуществляют материальную реальность в духовные ценности». Да вы и сами не о том ли говорите в «попытке предисловия»: «Мемориал» — это попытка осознать Тайну Города, в том числе — всё то, что передумали и написали о Коломне наши предшественники за шестивековую литературную историю». Почему для вас важно, чтобы «просто попробовали прочитать коломенский текст»?*

— Мы живём в удивительную эпоху литературной истории Коломны! Это время синтеза. Есть некий Промысел в том, что лишь на исходе XX века мы начали осознавать: существует определённая логика в нашем литературном процессе. Начиная с XIV века, с «Задонщины», развивается стилистическое единство, постоянное возвращение к произведениям своих предшественников. Однако такое возвращение иногда носило не вполне осознанный характер. Хотя тот же Пильняк, к слову сказать, не стеснялся брать и перерабатывать исторический материал целыми кусками.

Так почему же не попробовать целенаправленно осмыслить и синтезировать опыт предшествующих эпох? «Коломенский текст» — наша слава и гордость. Будет тем лучше, чем большее число людей осознают это. Надеюсь, мне отчасти удалось достичь понимания «коломенского текста».

— *У вас все реалии — коломенские, узнаваемые нынешним читателем. Кстати, в «Пожарнике», а это тоже коломенский текст, вы по традиции, заведённой писавшими о нашем городе (Лажечниковым, например, Пильняком), не называете Коломну своим именем, она у вас Колымень-град. И вот теперь вы отказываетесь от эвфемизмов, в «Мемориале» говорите прямо: Коломна. Произошло переосмысление — чего?*

— Да ведь у каждого писателя Коломна — своя. И совсем не обязательно прятать её за вымышленными топонимами. Пильняк, например, в «Машинах и волках» прямо называет город Коломной. Но созданный им образ, мягко говоря, несколько отличается от так называемой реальности. В художественном произведении всегда есть элемент игры. «Переимено-

вание» просто позволяет свободнее обращаться с материалом, тасовать пейзажи и образы.

Но «времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Писатель взрослеет, взгляд на жизнь становится другим. И в результате Ордынин «Голого года» оборачивается жуткой Коломной «Волги...»

И вдоволь наигравшись в «Пожарнике», я уже гораздо более серьёзно взгляделся в потайную Коломну. Хотя и «Записки музейщика», и «Мемориал Виолы» — это совсем не фотография и не краеведческий очерк. К тому же следует учитывать, что поэма написана ритмизованной прозой. Она действительно поэтическое произведение, и в ней неизбежны некоторые «вольности».

— *Вы словно другими глазами смотрите на известные всем дома, улицы, на башни кремля... Хотя глаза у вас и в самом деле другие — вооружённые знанием истории и гения места. Коломна в вашем изображении имеет некий фантазмагорический вид — смесь реалий и видений-призраков: «И вот уже вечер наступил, и в его туманном сиянии кирпичный акрополь стал каменеть, выстраиваться циклопической кладкой. И слышался отзвук оружия и отзвук эллинской речи...» Как у Гоголя в повести «Невский проспект»: «Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышей вниз...» Как у А. Белого, почитавшего Гоголя, как у Пильняка, почитавшего Белого и в ранних своих произведениях увлекавшегося образами-символами. Между прочим, я обнаружила в «Мемориале» цитату, очень красивую и к месту, из «Голого года» Пильняка (тоже, кстати, коломенский текст): «Древний город мёртв. Городу тысяча лет». У вас: «Город мёртв. Городу тысяча лет. И мёртвого воина везли в мёртвый город», — Гектора, павшего в поединке с Ахиллом.*

— Во-первых, нужно учитывать, что Коломна онтологически, сущностно, делится на три взаимопроникающих пространства. Это так называемая «реальная» Коломна, которую мы видим плотскими глазами; это Небесный град, парящий над земной юдолью и вбирающий в себя бессмертные образы и сущности. Это и Град подземный — пространство археологов и «экстрасенсов».

Попробуешь охватить всё это сразу — и поневоле станешь визионером.

Во-вторых, что касается цитат, то тут всё верно. Не могу отнести себя к ярким поклонникам пильняковского творчества, но в техническом плане он дал мне очень много. Это и «монтажный метод», и, в частности, работа со скрытыми цитатами. В «Мемориале» множество цитат, он, в какой-то мере, сплошь состоит из отсылов — не только к отечественной и коломенской классике, но и к европейской и античной литературе и древней мистике. Филолог-антиковед без труда найдёт послания, адресованные именно ему; мистик, прошедший орфическую инициацию, увидит свои шифры, историк узрит близкую и понятную информацию.

Коломна, что называется, «синкретический» город, в котором намешаны сотни различных, в том числе иноземных, влияний и отзвуков. Возможно, в какой-то мере мне удалось передать эту синкретичность.

— *Вы не раз сравнивали Коломну с окаменевшим древним драконом. «Это страшный, влекущий и таинственный, дремлющий дракон. Заколдованный, прикрытый личиной провинциального городишки, и от этого, может быть, ещё более жуткий». Успенский собор у вас «кирпично-каменный, изрезанный змеиными трещинами допотопный чудовищный зверь». А вот это: «У меня в этом месте всегда холодок бежал по спине. Что-то жуткое и зловещее наплывало здесь, где раньше стоял дворец великого князя и где когда-то по висячим переходам вступал в свой домовый храм Иван Великий...» («Прогулка»). «Какая-то мистическая энергия, некая мрачная тайна чувствовалась в этом особняке, и атмосфера запустения лишь усиливала ощущение» («Заколдованный дом»). Такая катастрофичность, я бы сказала, восприятия — это просто художественный приём (ведь повествование, как правило, идёт от первого лица), или вы так ощущаете на самом деле? Не страшно?*

— Действительно, жутковато. Это поймёт человек, прошедший коломенские катакомбы — священные подвалы наших церквей, или прошедший ночь в безлюдном храме. Ночная церковь — потрясающее и незабываемое ощущение, одновременно и прекрасное, и страшное, как Божия гроза!

И, наверное, в коломенской метафизике есть логика, сходная с тем же «петербургским текстом». Там ведь тоже присутствует катастрофизм. Город-призрак, зачарованный пророчеством: «Быть Петербургу пусту»... И у Пильняка, кстати, тоже это есть. Не будем забывать, что «Волга впадает в Каспийское море...» посвящается грандиозному строительству плотины, и в конце романа город исчезает под водой. Это символ исторической жути, присущей Коломне. Не знаю, свойственно ли это сегодня для других городов старинной Руси, но у нас это очень даже чувствуется.

— *Вы сочетаете исторические факты и собственный «исторический» вымысел, и иногда даже трудно разобрать, не будучи подкованным на вашем уровне, где признанные научные факты, а где вами созданная легенда. Пояс Дмитрия Донского, Либиря (библиотека) Ивана Великого, клад Марины Мнишек... Всё это достаточно тёмные места истории. Да ещё пояс древнерусских князей оказывается магическим тайным поясом власти из илионского золота. И так ловко у вас всё это переплетено и увязано. «И непонятно было: то ли священные сокровища увозят из осаждённой Трои, то ли из Коломны везут краденое золото, в котором таится частичка древнего Илиона». Видна любимая ваша мысль о родстве, сходстве городов античности и Коломны, выраженная неоднократно и в сонетах. Вы находите массу реалий, доказательных с вашей точки зрения. И всё-таки, почему эта мысль, представляющаяся стороннему человеку довольно искусственной, натянутой, вас так греет?*

— Русь заимствовала свою веру у Константинополя, в школах которого учили поэмы Гомера и античных поэтов. В Парфеноне устроили церковь, но древние рельефы не истребили, а напротив, бережно сохраняли. Православная Литургия, обиход, искусство — это живая Античность. Так что наш кремль переполнен античными мотивами, аж голова кружится! Разумеется, и Эллада, и Второй Рим мне сердечно дороги.

Конечно, легенда об Илионском поясе была сложена не раньше Осьмнадцатого века, в масонские времена. Но мне это сказание очень близко, как, впрочем, и другие легенды.

Не знаю, как это объяснить, но Древний Восток, Египет, Греция, Рим и Европейское Возрождение с детских лет меня загнипотизировали. И когда в своих странствиях по Городу я обнаруживаю отсветы ушедших эпох, это как бы само собой отражается в стихах и прозе.

Брюсов в своё время задумал грандиозный замысел — собрать в своей поэзии образы искусства всего человечества, создать своего рода поэтическую энциклопедию. Ему это не удалось, времени не хватило.

Я не дерзаю замахиваться на столь значительное предприятие, но мне хотелось бы собрать в Коломне особенно значимые для меня трофеи, вырванные у Времени и Забвения. Не знаю, оценят ли этот замысел читатели, но для меня он совершенно необходим.

— Это ваша особенность: вы ощущаете Историю как свою собственную, как ощущают историю своего рода. Неважно, история это Руси, России или античная. Ни на минуту не задумываешься, так было или не так,— вкусно и убедительно пишете. Античные ли времена, чума ли в Коломне XVII века... Словно очевидец. В основе этого — ваши глубокие знания, конечно, но и ещё что-то?

— Да, пожалуй, тут есть место пресловутому визионерству. Кое-кто называет «Мемориал» «библией коломенского оккультизма». Но я думаю, здесь дело в ином. Когда ты достаточно глубоко погружаешься в историю и древнюю мистику, то у тебя невольно «начинаются видения, как у Жанны д'Арк». И я не сказал бы, что это совсем уж «сладостный процесс». Но куда же деться от собственных знаний?

Не зря было сказано: «Во многой мудрости — много печали».

— Кстати, как самая настоящая поэма читаются античные страницы — безукоризненный, кристальный стиль. Что вам помогало проникнуться событиями Троянской войны? Как Мандельштам, «вы список кораблей прочли до середины...»?

— Были времена, когда я один-два раза в год обязательно перечитывал «Илиаду» и «Одиссею». А Вергилия в семейной библиотеке не было, так что пришлось переписать его от руки. Составил также рукописную антологию греческой и римской лирики, многое запомнил наизусть.

Наверное, я всё-таки научился чувствовать древних. Читая классику, мы часто воспринимаем их через призму современности. Это не совсем правильно. Люди античности обладали иным менталитетом. Надеюсь, мне в чём-то удалось приблизиться к их пониманию.

— Читаете современную фантастику? Кого?

— В основном классику: Станислава Лема, Стругацких («Понедельник...», «Пикник на обочине», «Жук в муравейнике»). Из современников нравится Лукьяненко.

— Мы уже говорили о Сергее Малицком. Он завоевал признание читателей и издателей, сочинил уже не одну серию романов-фэнтези. И если не

ошибаюсь, вы с ним приблизительно в одно время заинтересовались жанром фантастики. Положа руку на сердце: нет ли тут некоего творческого соревнования?

— Мы работаем в очень разных направлениях. Мои книги всё-таки сложно назвать фэнтези в классическом смысле этого слова, вроде «Властелина колец» Толкиена. Хотя в последнее время делаю наброски к настоящей книге в этом духе. Название не скажу — боюсь сглазить. В связи с этим замыслом внимательно перечитываю Малицкого. У него есть чему поучиться. Недавно он начал очередной цикл романом «Очертание тьмы». Шикарная вещь!

— Как вы думаете, кто ваш читатель? Как вы его себе представляете?

— Конечно, это образованный человек, хорошо знающий классическую поэзию и неравнодушный к истории. Но боюсь, что круг таких читателей, в связи с уничтожением традиционной российской школы, становится всё уже.

— И естественно, хочется знать, над чем работаете сейчас.

— У меня готовы несколько поэтических книг, кое-что — на подходе. Само собой, желательно найти благодетеля для их издания, но получится ли это — сложно сказать.

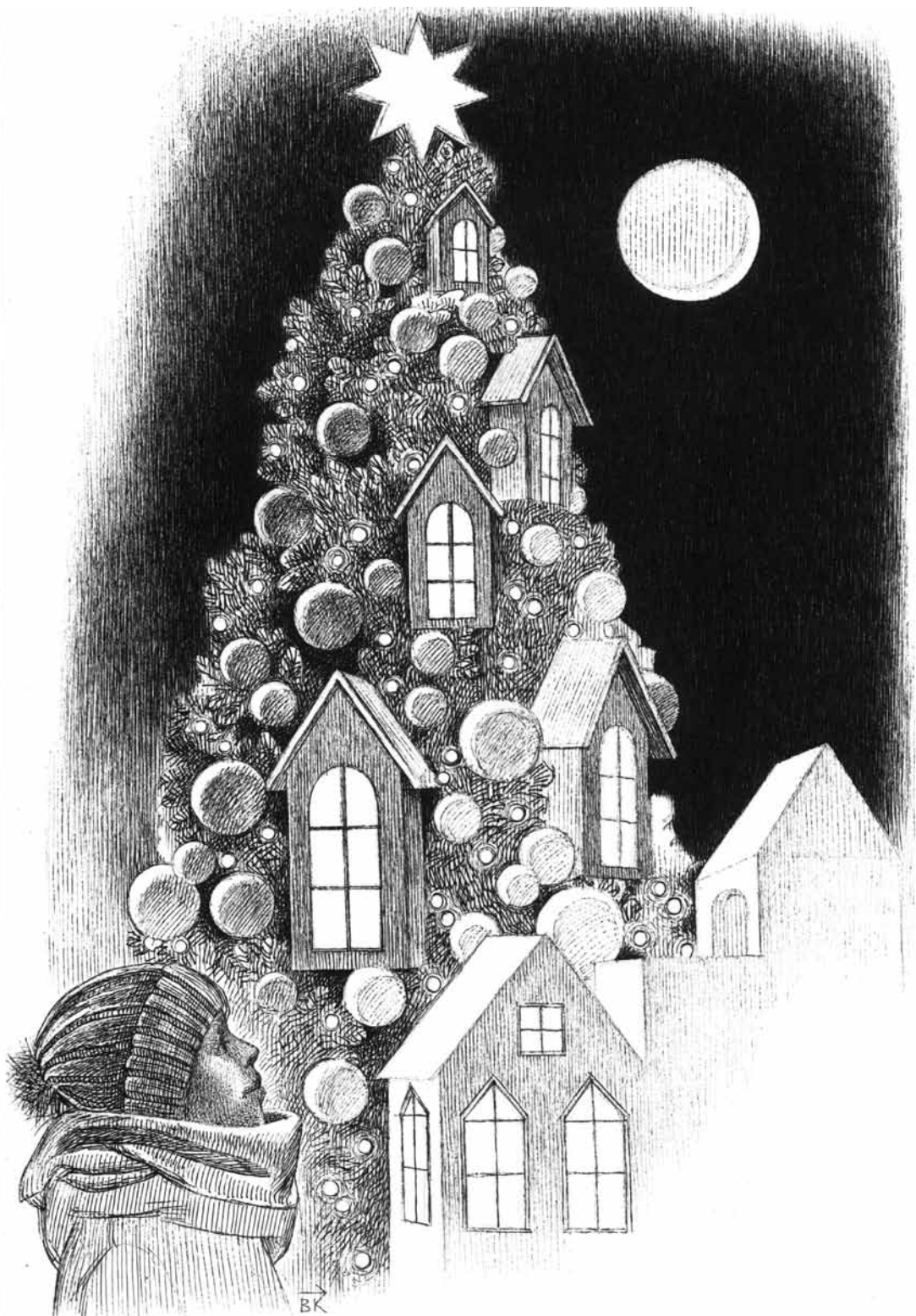
Ещё хотелось бы закончить «Книгу Смарагд», где собраны заветные коломенские сказания. Частично эта работа напечатана в «Коломенском альманахе», но та публикация уже давно устарела.

Настоящий «Смарагд» в полном объёме — это долг, который давно меня беспокоит и тяготит. Всё это немного волнительно, ибо «искусство — долго, жизнь — коротка». Но Нечто поддерживает надежду в моём сердце!



Мир
Лажечникова





Графика Василины Королёвой

Владимир Викторович

ЛАЖЕЧНИКОВ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОКОВ



Владимир Александрович Викторович родился в 1950 году в городе Горьком (Нижнем Новгороде), где окончил филологический факультет университета.

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна), в котором трудится с 1979 года.

Автор многих работ по истории русской литературы и журналистики. Член редколлегии биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (издательство «Большая российская энциклопедия»). Вице-президент Российского общества Ф. М. Достоевского. Руководитель проекта «Коломенский текст», включающего одноимённый сайт, книжную серию, научные статьи, конференции.

Произведение искусства хорошо «**П**или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник». Такую вот формулу сильного текста вывел когда-то Лев Толстой. «Что» и «как» здесь в значительной мере определяются изначальным условием — «от души». Этот фактор, как думается, объясняет нам и тот нравственно-эстетический эффект *воспитательного* воздействия на современников исторических романов И. И. Лажечникова, о котором писал Белинский. Одна особенность поэтики той (риторической) эпохи и авторского стиля останавливает внимание: во всех трёх романах («Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман») толпу исторических и вымышленных персонажей ведёт к нам говорливый рассказчик, сказочник, сочинитель. Он то шутит, то негодует, то восклицает, то вопрошает — как будто бы проводит вольную экскурсию по избранной эпохе русской истории (Петра Великого, Анны Иоанновны, Ивана III). И нам становится интересен сам рассказчик: он не скрывает жестоких и прямо бесчеловечных картин прошедшего, но при этом остаётся всегда верен себе, воплощая в слове то качество, которое Белинский же (высоко ценивший и талант, и личность Лажечникова) по поводу Пушкина назвал красивыми словами: «лелеющая душу гуманность». Таков Иван Иванович Лажечников — и не только в сочинениях, им написанных,

но и в жизни, им прожитой. Об этом говорят дошедшие до нас эго-документы, как сейчас принято выражаться, — письма, дневники, мемуары современников. Образ человека по фамилии Лажечников, в них запечатлённый, в чём-то немаловажном подтверждает и дополняет образ автора, встречающий нас на страницах его произведений.

* * *

Хронологически первое из известных нам свидетельств — дневник крупного чиновника и отчасти писателя **Кастора Никифоровича Лебедева** (1812–1876). Будущий сенатор учился в пензенском уездном училище, когда директором его был И. И. Лажечников. А дальше — уже знакомый сюжет: бывший ученик приезжает в Москву поступать в университет на словесное отделение и останавливается у бывшего учителя (который само университетов не кончал). Говоря «знакомый сюжет», я имею в виду точно такую же историю с В. Г. Белинским: будущий великий критик всю жизнь потом вспоминал о природной отзывчивости Ивана Ивановича, родственно равнодушного к судьбам талантливой молодёжи.

Вот запись о Лажечникове в дневнике К. Н. Лебедева: «Иван Иванович человек высочайшей степени добрый, откровенный, советливый, нежный, следовательно пылкий, следовательно не упорный, следовательно способный для идеальных впечатлений»¹. Развёртывая далее эту характеристику в сторону творчества Лажечникова («Но он был, кажется, под влиянием более впечатлений, нежели созданий»), Лебедев довольно критично оценивает его как исторического писателя: «Мы толковали об эпохах его романов. Видишь, слышишь, что человек читал о лицах, о времени, но не чувствуешь, что он жил с этими людьми; он как будто рассказывает понаслышке, прибавляет соображаясь как бы и что; толк для него история, образец для него аналогия». Критике Лебедева не откажешь в проницательности, правда, несколько однобокой: он сам признаёт, что читал только роман «Последний Новик», хотя разговоры с автором относятся к 1828, 1830, 1832–1833 и 1837 годам, когда вышел уже и «Ледяной дом» (1835), им ещё не прочитанный. «Басурмана» (1838) он прочитает позднее и вынесет суровый приговор: «хуже двух первых». В придирчивых суждениях Лебедева сказались не только неуступчивый консерватизм, но и шеллингианские по своему духу представления об исторической науке и беллетристике: в 1834 году он выпускает книгу с длинным заглавием «История. Первая часть введения: Идея, содержание и форма истории» и тогда же сопровождает её злой пародией на современных историков «О Царе Горохе. Когда царствовал Царь Горох, где он царствовал и как Царь Горох перешёл в преданиях народа до отдалённого потомства». Возможные предметы разговоров романиста со своим весьма подкованным читателем — тема заманчивая, но пока отложим её в сторону и вернёмся к не менее волнующей проблеме личности писателя и к тому следу, который она оставила в памяти современников.

¹ Из записок сенатора Кастора Никифоровича Лебедева // Русский архив. 1910. № 7. С. 368–369.

* * *

Большой пласт мемуаристики относится к тверскому периоду биографии Лажечникова. Самый живой интерес представляют воспоминания **Татьяны Петровны Пассек** (1810–1889), «корчевской кузины» А. И. Герцена. В мемуарах, в словесных портретах невольно отражается и лик самого мемуариста. Точную характеристику Т. П. Пассек дал, как нам представляется, Н. С. Лесков: «Это был ум ясный, пронизательный, гибкий и деловой. Ей было свойственно большое добросердечие и ласковость, и через них реализм её ума не был груб, а был мягок и приятен. Это был ум, если так можно выразиться, уветливый. <...> Симпатии её, без всякого сомнения, лежали на стороне идей гуманитарных и добрых...»² А теперь, зная самое главное о мемуаристке, перечтём её записи, относящиеся к зиме 1833–1834 г.



Зимой мы <с мужем Вадимом> поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды, на бале в Благородном собрании, я заметила в толпе человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выражавшими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо; над высоким лбом был приподнят вверх целый лес волос с проседью. Движения его были торопливы и робки.

— Кто это такой? — спросила я одну даму, указывая на него.

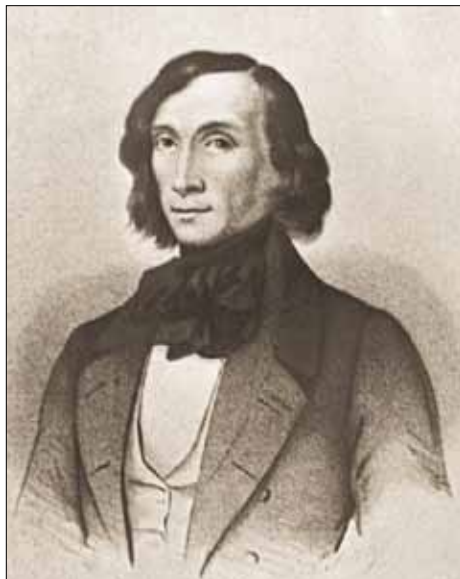
— Иван Иванович Лажечников, — отвечала она, — директор гимназии, писатель.

— Автор «Последнего Новика»? — поспешно прервала я её. — Это наш первоклассный романист! Что за прелесть его «Новик»! Если вы знакомы с ним, сделайте одолжение, представьте ему нас.

Спустя несколько минут Лажечников уже сидел между мною и Вадимом, и у нас шёл такой оживлённый разговор, что мы не замечали, как мимо нас мелькали танцующие пары и не слышали, как гремел оркестр музыки.

С первого дня нашего знакомства с Иваном Ивановичем мы так сблизились, что в продолжение почти трёх месяцев, проведённых нами в Твери, редкий день с ним не видались. В этот-то период времени Иван Иванович писал свой роман «Ледяной дом» и читал нам из него отрывки в рукописи, входя так глубоко в роли героев и в события, что чувства и мысли их отражались в чертах его лица, в его голосе — и картины оживали.

² Лесков Н. С. Литературная бабушка // Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984. С. 215–216.



Н. В. Станкевич

<...> никто так искренно и глубоко не привязался к нам, как Лажечников. Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался весь, пылко, искренно, как юноша. Он и был юноша, несмотря на свои сорок лет.

<...> Он был юноша из числа той фаланги юношей, которые названы Сашей <Герценом> героическими детьми, выросшими на мрачной поэзии Жан-Жака <Руссо>, к которым он причисляет всех детей революции и которые в наш настоящий деловой век встречаются так редко, так редко, как южная птица у полюсов.

Быть молодым ещё не значит быть юным. Можно встретить старика лет двадцати и юношу лет в пятьдесят. Для одного юность — эпоха, для другого — целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но, конечно, не всё. Юношеские грёзы смешны и жалки в человеке старом. До гроба должна сохраниться юношеская энергия, непрерывно обновляющая, развивающая, почти не имеющая способности стареться, она по преимуществу — душа живая. Такова натура реальная, — сказано в «Капризах и раздумье» <Герцена>. Таков был Иван Иванович Лажечников.

Он женился на первой жене своей, будучи ещё очень молодым, находясь адъютантом при генерале, не помню каком. Он увёз её из девичьей, из-за пялец, как-то через окно. Это была женщина рассудительная, хладнокровная, которая любила и берегла его, как нянька ребёнка; но постоянным наблюдением и замечаниями стесняла до того, что он робел перед нею, был покорен и, выкинувши какую-нибудь неосторожную штуку или нарушивши программу порядка образа жизни, терялся и таился, как напроказившее дитя. Мы нередко проводили у них целые дни, ещё чаще он проводил у нас во флигеле вечера, засиживаясь далеко за полночь. Вдали от сдерживающего взора жены он весь отдавался многосторонним интересам разговора; так свежо, сердечно хохотал иногда безделье, что заражал своей жизненностью всё его окружавшее, и самый воздух, казалось, проникался молодой жизнью его души.

Иногда, слишком поздно засидевшись, он вдруг схватывался, как бы опомнясь от угара, улыбался улыбкой виноватого, предчувствующего наказание, и торопливо начинал собираться домой, часто говоря: «Беда, как это всегда с вами заговоришься...»³

Где-то через год с автором только что вышедшего «Ледяного дома» сблизится один из выдающихся деятелей эпохи, «центральный» человек

³ Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания: в 2 т. М., 1963. Т. 2. С. 23–25.

звёздного кружка молодых московских интеллектуалов **Николай Владимирович Станкевич** (1813–1840). В письме другу Я. М. Неверову 4 ноября 1835 года Станкевич сообщал о Лажечникове:

Я познакомился с ним ещё в Москве, потом был у него в Твери. Человек не молодой, за 40, седой ещё с молода, приятной наружности, небольшого роста, тихий, добрый, умный, но какой-то нерешительный в мнениях. Последнее понятно: начав жить в 18 веке и упитанный его началами, он подался однако за молодёжью, хоть совершенно сравняться с нею ему было трудно. Но он всё-таки приобрёл лучшие достоинства XIX века и должен любить его за то, что он венчает его седую голову. В его романах я не вижу решительного таланта, но умный, серьёзный взгляд на вещи, чувство истинное и благородное, любовь к России и правде. Он затевает ещё два романа: «Колдун на Сухаревой башне», в котором главное лицо Брюс, а другой из времён Иоанна III <«Басурман»>. Герой его немецкий лекарь, казнённый за то, что не вылечил татарского князя, героиня — русская девушка, которая любит этого немца по-своему; здесь же будет и Аристотель Болонский <Фиораванти, архитектор Успенского собора в Москве>. Лица преинтересные, но наши летописи не дадут ему никакого понятия о их характере, а создавать он не мастер. Впрочем, он всё-таки лучший романист после Гоголя, которому равного я не знаю между французами. Это истинная поэзия действительной жизни.⁴

Как видим, оба свидетельства, Пассек и Станкевича, указывают на одно фундаментальное свойство личности Лажечникова — его открытость новому, молодому, далеко не совпадающему с канонами привычной, устоявшейся жизни. Он был порождением эпохи ментального сдвига и самоопределения русского человека (1812 год), к тому же и от природы наш герой наделён был талантом благожелательства в высшей степени.

* * *

В декабре 1834 года Лажечников, будучи директором училищ Тверской губернии, побывал с ревизией в кашинском уездном училище. Его ласковая и ободряющая речь к детям запомнилась на всю жизнь ученику первого класса **Илье Рогозинникову** (1826–1893)⁵, в будущем директору шуйской гимназии, автору книжек и статей о литературе и педагогике. Вообще говоря, с детьми Иван Иванович быстро и легко находил общий язык: в нём самом до глубокой старости не умирала детски простодушная открытость миру, сердечное равнодушие к интересам малых сих. Ещё одно свидетельство о том — хранящиеся в архиве воспоминания **Михаила Николаевича Милюкова** (1845–1875), написанные в 1871 году для журнала «Русская старина», но так и не дошедшие до печати.

В 1850 году покойный Иван Иванович был вице-губернатором в Твери, где служил в то время и отец мой, который кроме сношений по службе пользовался приязнью Лажечникова. Меня, ещё тогда пятилетнего ребёнка, Иван Иванович очень любил и баловал; да и вообще

⁴ Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982. С. 129.

⁵ Рогозинников И. Воспоминание об И. И. Лажечникове // Древняя и новая Россия. 1880. Т. 16. № 4.

он любил детей, что подтвердят все, знавшие его чистую, безупречную, детскую натуру, его честный, поэтический и даже несколько наивный взгляд на жизнь, что всё, однако, не помешало ему, как известно, быть полезным и безукоризненным деятелем на поприще государственной службы и, кроме того, при самых неблагоприятных условиях, суметь разгадать в 14-летнем Белинском те задатки, благодаря которым из последнего вышел впоследствии труднозаменяемый для России боец мысли, правды и слова.

Раз Лажечников подарил сестре моей незадолго перед тем вышедшее иллюстрированное издание басен *дедушки Крылова* — издание ныне довольно редкое и присланное ему в подарок самим баснописцем. Из этой книги в именины Ивана Ивановича, а иногда и так просто, меня заставляли выучивать наизусть и говорить ему какую-нибудь басню. Кроме того, получив понятие о «дедушке Крылове», я и Ивана Ивановича ни в глаза, ни за глаза, не называл иначе, как «дедушка Лажечников», что ему очень нравилось. Как-то у кого-то увидел я *альбом* — и вскоре затем на вопрос Ивана Ивановича: «Что тебе подарить к празднику?» — отвечал: «Подарите мне альбом и напишите в нём стихи... Ведь я знаю, дедушка Лажечников: вы поэт!.. Вы за своим большим зелёным столом всё сидите да стихи сочиняете!..» Через несколько дней я получил альбом с надписью на заглавном листке: «Мише Милюкову на память от дедушки Лажечникова ко дню Святого Христова Воскресенья, 1850 года».

Все эти обстоятельства сам я, разумеется, помню, как сквозь сон, но память о них живо сохранилась в нашем семействе.

Как надпись, так и стихи, от начала до конца, писаны самим Иваном Ивановичем.

I

МОЛИСЬ

Молись, дитя! молись!.. Творя молитву,
Не обдели ты ею никого:
Ни мать, ни отца, ни близких сердцу,
Ни их врагов, кругом во тьме ходящих.
Ни сирого, ни бедную вдову,
Ни богача, погрязшего в грехах.
Всех обойди молитвой круговой:
Владык земных, чтоб свой народ любили
и правили им по подобью Божью —
И милостью и праведной грозой;
Народы, чтобы во владыках чтили
Своих отцов — Помазанников Свыше; —
В своей молитве помяни
И злого, чтоб Господь привёл к добру,
И доброго, чтоб злые не смутили
Восторга чистого души его,
И на земле роящих в суете,
И мертвых, от сует в земле почивших!

Молитва детская так Господу доступна —
Не согреши ж: не позабудь
ты в ней кого-нибудь.
И знаю я, когда ты за меня молился:
С груди свалится будто камень,
И самого меня Господь
На светлый пир молитвы позовёт —
И обновлюсь в купели слёз душою!

15 апр. 1850. Лажечников
9 ч. вечера

II

Куплеты из оперетки
«Новобранцы 12-го года»
Ванечка — матери

1.

Отпусти меня, родная,
Куда просится душа;
Не обрезывай ей крылья:
Жизнь ей волей хороша.

2.

Соколы когда слетелись,
Как на пир, на смертный бой,
Мне ль в железной клетке
Просидеть час роковой?

3.

Посмотри, каким я франтом
Возвращусь с военных сеч:
При бедре за храбрость меч,
На груди Владимир с бантом.

4.

И тогда в Собранных скажут:
«Молод так, а кавалер!
Видно, храбрый офицер!»
И на мать мою укажут.

Л.

Вот эти два стихотворения, списанные здесь со всевозможной точностию во всём. Первое из них, надо полагать, написано экспромтом. На мысль эту наводят — пометка года, числа и даже часа внизу и то ещё обстоятельство, что Лажечников брал после альбом к себе. Во второй строке слово *не обдели* переправлено им (чернилами) из слова *не обнеси*.

Строка: «в своей молитве» — вписана его же рукою (карандашом) между предыдущей и последующей строками. «Куплеты из оперетки» подписаны одною буквою Л., без пометки года и числа. Любопытно было бы доискаться, не осталось ли после покойного этой оперетки в конечном виде или черновых набросках? <...>⁶

Судя по всему, интерес к детям связан был не только с особенностями личности и с педагогической профессией, он ещё подогревался драматическими обстоятельствами семейной жизни Лажечникова, отразившимися в написанной им эпитафии «Нашему младенцу». Дети (трое) появились только от второго, очень позднего брака, и сделались предметом особенно острой печали писателя, умиравшего в бедности. Его просьбу позаботиться о сиротках добросовестно исполнил Пётр Андреевич Вяземский, друг Пушкина, как и он, высоко ценивший литературное дарование и личное достоинство Лажечникова.

* * *

Стихотворение «Молись, дитя!» Лажечников вписал в альбом ещё одному ребёнку — сыну своего приятеля, редактора журнала «Пантеон» Ф.А. Кони, Анатолию, будущему знаменитому юристу. **Анатолий Фёдорович Кони** (1844—1927) с его обширным кругом литературных знакомств оставил богатое мемуарное наследство, в котором не затерялась статья «Из студенческих лет. И.И. Лажечников и А.Ф. Вельтман».

250

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Ивана Ивановича Лажечникова я увидел впервые в половине пятидесятых годов у моего отца, связанного с ним старыми дружескими отношениями. Я уже успел прочесть «Басурмана», «Последнего Новика» и «Ледяной дом» и был под сильным впечатлением этих, замечательных для своего времени, романов <...>. Понятно, с каким чувством смотрел я на автора — подвижного старика, невысокого роста, с зачёсанными на средину головы редкими седыми волосами, мягкими и добрыми чертами лица, с молодыми светло-серыми, почти голубыми глазами и живою речью. Мне не раз приходилось присутствовать при его жалобах на тяжесть своего служебного положения. Дело в том, что горячий сердцем и увлекающийся старый романист не мог переносить одиночества, и семейная жизнь была для него насущною необходимостью. Второго апреля 1853 года он писал моему отцу: «В моём молчании не извиняюсь: меня постигло ужасное несчастье, которое сокрушило всю мою жизнь. Четвёртого ноября прошлого года скончалась моя добрая подруга, подарившая мне 32 года счастья. Болезнь её была мучительна; сердце моё изныло, смотря на её ужасные страдания, продолжавшиеся несколько месяцев. Преданная всю жизнь Богу, религиозная как первобытная христианка, любившая ближнего до самоотвержения, знавшая одну только страсть — страсть к мужу, — эта превосходная, святая женщина кончила жизнь как мученица. Если нет другой жизни, так что же и на что добродетель в здешней?..» Но уже

⁶ Милуков М. Н. Нечто об Иване Ивановиче Лажечникове // РНБ. Ф. 265. Оп. 2. № 1409. Текст оперетты «Новобранцы 12-го года» впервые опубликован: Дом Лажечникова. Историко-литературный сборник. Вып. 1. Коломна, 2014. Публикацию подготовила А. С. Бессонова.

4 августа того же года он прислал письмо, ярко его самого характеризующее. «Вы удивитесь,— писал он,— если я вам скажу, что я — шестидесятилетний старик — женился на двадцатидвухлетней девушке. Кажется, это последний мой роман. Какое будет его конец — Богу известно!.. Зная, как безрассудны союзы при таком неравенстве лет, я сам на такой решился! Обстоятельства, устроенные невидимою рукою провидения, романическая голова, пыл юноши, несмотря на мои годы,— всё это привело меня к этой развязке. Покуда я блаженствую... а там... да будет, что угодно Вышнему!..»



<...> В Москве он жил долгое время у Смоленского рынка, в Ружейном переулке. Встреченный им с особой приветливостью, я, насколько позволяли занятия, изредка, по воскресеньям, посещал его до переезда моего в Харьков в 1867 году. Несмотря на свои семьдесят с лишком лет <...>, он всем живо интересовался: то пылал гневом на разные явления в литературе, не подходившие ко взглядам романиста старой школы, то теплился умилением пред начавшимися «великими реформами» нового царствования. Особенно приводили его в восхищение обнародованные в 1862 году основные начала судебного преобразования. В разговоре и в переписке со мною он возмущался Писаревым, который «хлещет зря кого ни попало, не разбирая, Милль ли то, Пушкин или Маколей. Точно одна из наших широких натур, вроде молодчика из богатых купчиков, бросающих бутылкою в картину знаменитого художника». «Кто не признает в Писареве ума? — писал он в 1866 году, когда я пытался защитить пред ним яркого критика.— А между тем на что он тратит его? И Герострат был не дурак». Враждебное отношение старика к Писареву распространялось и на «Русское слово», где последний был самым выдающимся сотрудником.

Журналу своему, с понятием узким,
Какое хочешь имя дай:
Ослиный рёв, собачий лай,
Но только словом «русский»
Его никак не называй, —

писал он в том же году, продолжая возражать мне.

<...> неистощимым был он в своих воспоминаниях о войнах 1812 и 1813 годов. Он весь воспламенялся, когда рассказывал, как очевидец, о картине опустошённой и истреблённой пожаром Москвы, о вступлении



А. Ф. Кони

наших войск в Париж и о битве под Кульмом 17 августа 1813 года, где русской гвардии в числе восьми тысяч человек пришлось бороться с корпусом Вандама, в пять раз сильнейшим, и где проявили удивительное мужество и стойкость Ермолов и Остерман-Толстой, причём последний, при котором двадцатитрёхлетний Лажечников был адъютантом, потерял руку. К памяти Остермана-Толстого он относился с благоговением, считая его одним из замечательнейших людей, встреченных им в жизни.

Но было одно, что омрачало все его воспоминания, ложилось тяжким бременем на его сердце и заставляло тревожно задумываться над будущностью семьи. Во время вице-губернаторства в Твери он, по доверчивости к тому, что в Приказе общественного призрения, где постоянно председательствовал губернатор, всё в порядке, не обнаружил, при временном исполнении должности последнего, систематических злоупотреблений и подлогов, много лет практиковавшихся целой шайкой служащих в приказе. Когда проделки последних были, наконец, открыты, — большинство из них умерло, и бедный Лажечников был присуждён к ежегодному вычету из скромной пенсии половины, то есть 750 рублей. Он жаловался, протестовал, писал объяснительные записки и надеялся, что дело будет пересмотрено. «Дай Бог, чтоб я ещё дожил до этого времени, — писал он мне 1 января 1866 года, — и мог добиться, чтоб оградить жену и детей от этого вычета. А если умру, то будьте, прошу вас, моим адвокатом...» Надежду, что с открытием новых судов я непременно поступлю в адвокатуру и приму на себя его защиту, он высказывал не раз и в разговорах со мною. Его добрые светлые глаза затуманивались, когда он говорил о своём деле, — и невольный тяжёлый вздох обличал, какой камень лежит у него на душе...⁷

* * *

История, омрачившая последние годы жизни писателя, раскрыта в воспоминаниях **Августа Казимировича Жизневского** (1819–1896), сослуживца, многолетнего приятеля и корреспондента Лажечникова. Он непосредственно участвовал в расследовании этого преступления и потому является для нас наиболее достоверным источником. Жизневский отмечает «крайне впечатлительный характер» и «необычайную доброту» своего приятеля, сочетавшиеся, увы, с «отсутствием практичности в жизни», что, вероят-

⁷ Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 70–77.

но, и сыграло роковую роль в развернувшейся истории. Не каждый поэт может легко переключаться с «возвышающего обмана» поэзии на «тму низких истин» реальной жизни (как то умели младшие современники Лажечникова Некрасов и Фет; Ивану Ивановичу же по типу личности, пожалуй, был ближе Полонский). Вот что писал Жизневский:

По Тверскому приказу общественного призрения расхищение сумм производилось всевозможными способами. Начал это расхищение неперемный член Никифоров, утаивая получаемые суммы приказа, и затем подложным способом вытребовав из Государственного заёмного банка по 40 билетам, на сумму 170000 р., проценты в количестве более 19 тысяч рублей, также утаив их.

В то же время и другие чиновники канцелярии приказа стали похищать суммы его разными способами: то посредством вторичного получения сумм по уплаченным билетам приказа, то посредством предъявления фальшивых билетов приказа, то посредством вторичной выписки сумм в расход. Такое расхищение сумм приказа, выразившееся 32 следственными делами и простиравшееся с процентами на похищенную сумму до 63 тысяч рублей, продолжалось с 1839 г. до 1850 г. <...> Это расхищение происходило при тверских губернаторах Бологовском и Бакуanine, а также при исправлявших должность губернатора вице-губернаторах Глушкове, И. И. Лажечникове и председателе гражданской палаты Мистрове. По должности товарища председателя Тверской уголовной палаты мне пришлось участвовать в решении этого огромного дела, в котором было более 90 подсудимых лиц. Решение это утверждено Правительствующим Сенатом. Кроме того, по указу Правит. Сената пришлось также участвовать в распределении обеспечения растроченных сумм во время их управления губерниею. Таким образом, в числе других, на губернатора Бакунина из 15897 р., расхищенных при нём, упало 11400, на губернатора Бологовского из 10568–5340, на вице-губернатора Ив. Ив. Лажечникова из 38786 р.— 17298 р. и т.д. Сделанный Палатою расчёт признан правильным министром внутренних дел (1855 г.). Но так как от губернаторов и лиц, исправлявших их должность, а также председателя казённой палаты и губернских прокуроров не было истребовано объяснений, то наложение на их имущество запрещения оттянулось до 1865 г. и тогда только сделалась известною Ивану Ивановичу эта печальная действительность. <...> ...он вознегодовал на меня за сделанный Уголовною палатою означенный расчёт для обеспечения растраты, считая его неправильным <...>. Действительно, И. И. Лажечников не сознавал своей вины как временно управлявший губерниею и временно председательствовавший в приказе, он, можно сказать, попал в руки шайки грабителей, которая расхищала суммы приказа, прикрываясь крайним беспорядком, допущенным губернаторами, сначала Бологовским, а потом Бакуниним. Тем не менее Уголовная палата <...> не могла не видеть, что Иван Иванович <...>, ревизуя суммы приказа в августе месяце 1844 г., не усмотрел недостачу 40 банковых билетов на сумму 170 тысяч рублей, которые тайным образом вынуты были неперемным членом Никифоровым из казённого сундука и отосланы им в Государственный заёмный банк для получения по ним процентов. Затем И. И. Лажечников дал Никифорову уполномочие на получение с почты этих процентов в количестве 19912 р. И не наблюдал за запискою их на приход, чем допустил похищение их Никифоровым.

Быть может, Никифоров, зная непрактичность Ив. Ив., решился на такое крупное хищение во время управления им губерниею.

Нельзя не привести здесь следующий анекдот, характеризующий самоуверенность Ивана Ивановича, который, когда обнаружилась выдача сумм по подложным билетам, сказал: «я уверен, что мою подпись никто не подделает». Но вскоре показали ему один билет; Иван Иванович признал на нём свою подпись за настоящую. Каково же было его удивление, когда ему доказали, что эта подпись фальшивая!

<...> В 1869 г., по случаю 50-летнего юбилея литературной деятельности Ивана Ивановича, я принял участие в посылке ему из Твери адреса и подарка. Это обстоятельство послужило Ивану Ивановичу поводом написать мне последнее письмо от 5 мая 1869 г. за полтора месяца до его смерти...⁸

* * *

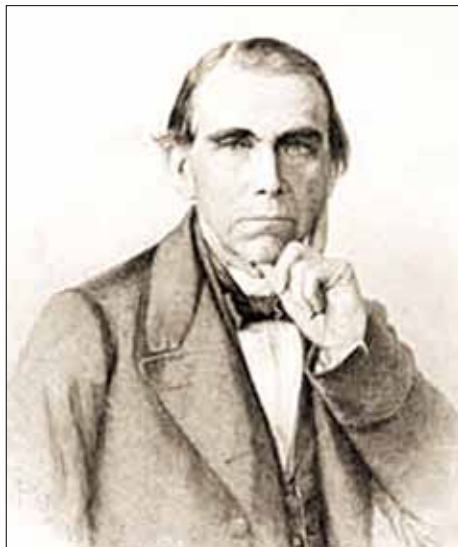
К упомянутому юбилею и последним дням жизни Лажечникова мы ещё вернёмся. А теперь нас ожидает Петербург и Цензурный комитет, столь ненавистный ему как писателю, пострадавшему от многолетнего запрета его романов. Однако именно в это заведение определился стареющий писатель, чтобы выработать два года, недостающих до полного пенсионера. Самый момент определения запечатлён в письме 12 ноября 1855 г. **Петра Александровича Плетнёва** (1791–1865) к П.А. Вяземскому. Оба когда-то близкие друзья Пушкина, теперь же первый — ректор университета, а второй — товарищ (по-нашему зам.) министра народного просвещения и начальник Главного управления цензуры. В письме читаем: «Какое счастье: когда я занят был мыслию, кого бы рекомендовать Вашему сиятельству на имеющую открыться вакансию цензора, ко мне является столь известный и столь любимый наш романист Лажечников. Во время разговора с ним я заметил, что он совсем не прочь бы от должности цензора. По моему мнению, ничего нельзя и придумать лучше. Лажечников — человек образованный, с тактом и сам писатель»⁹.

«Ничего нельзя и придумать лучше» — так оно с точки зрения благодушного Плетнёва, но совсем не так оказалось на деле. Миротлюбивый и деликатный Лажечников не очень-то подходил для новой своей должности, она приносила ему неисчислимые душевные страдания, и потому, как только закончился необходимый для пенсионера срок службы, он немедленно подал в отставку. Об этом периоде сохранился целый ряд письменных свидетельств современников.

На пост цензора Лажечников заступил 23 мая 1856 года. Ему было поручено наблюдение за журналом «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского и А. В. Старчевского. Уже на первых порах его ждала конфликтная ситуация, вошедшая затем в историю русской литературы: Лажечников не пропустил в печать статью М. Е. Салтыкова-Щедрина «Стихотворения Кольцова». Представим, как это случилось. Статья легла на стол цензора, и его красный карандаш прошёлся по тем местам, где говорилось о действенности искусства в современной общественной жизни: предлагалось смягчить их. Получив статью обратно с пометами цензора, автор переделал её, однако и новый

⁸ *Жизневский А. К.* Памяти И. И. Лажечникова. Тверь, 1895. С. 5–8.

⁹ *Плетнёв П. А.* Сочинения и переписка. Т. 3. СПб., 1885. С. 425.



вариант не был цензором пропущен. Е. Я. Колбасин с удивлением писал о сем обстоятельстве А. В. Дружинину 16 августа 1856 г.: «Салтыкова разбор о “Кольцове” Лажечников, сей благодушный старец, не пропустил». Завесу приоткрывает письмо Вл. Н. Майкова тому же Дружинину от 31 июля 1856 г. с жалобой на редакторство А. В. Старчевского: «...он ничего не делает, а портит дело тем, что смущает разные лица, в том числе и доброго старичину Лажечникова. Статья Салтыкова запрещена: я уверен, что это дело

рук Старчевского, который написал Печаткину <издателю «Библиотеки для чтения»>, что такие статьи перевернут всё вверх дном, погубят журнал и что он за такие статьи (а эта, не забудьте, уже была смягчена) не отвечает. Мне неловко было отправляться к цензору, т.к. я не официальное лицо, а Старчевский, как редактор, мог бы внести статью в <Цензурный> Комитет, где она, ещё раз исправленная автором, — прошла бы непременно»¹⁰.

Как видим, решающую роль в запрещении статьи Салтыкова-Щедрина сыграл даже не цензор, а один из редакторов журнала. Не случайно вскоре после того издатель предложил редакторскую должность А. В. Дружинину (который, кстати, любовно-ласково называл Лажечникова: «отличный и знаменитый старикашка»)¹¹. Можно себе представить, какие чувства испытал цензор, оказавшийся крайним на этой разборке в стенах редакционной кухни. Методы же, которыми пользовался Лажечников-цензор, видны из его письма Старчевскому 14 ноября 1856 г., когда он пишет редактору по поводу статьи Г. Е. Благосветлова «Современные поэты: Огарёв и Некрасов»: «Попросите автора исправить не по моим указаниям, а посоветоваться с своим благоразумием <...>. Мои отметки служат только указанием, но автор может с ними и не согласиться. Прошу только одного — пусть извинит меня, старика, за выражения». Удивительное дело: цензор извиняется за своё цензурование! Кстати, в том же письме находим ещё одно проявление «фирменной» деликатности нашего героя. Благосветлов в своей статье поставил его рядом с Пушкиным и Гоголем, на что последовал самоотвод: «Чести стоять между Гоголем и Пушкиным я не заслуживаю, да и неловко цензуровать статью, в которой автор так хвалит цензора, и потому прошу строки обо мне исключить»¹².

¹⁰ Письма А. В. Дружинину / Летописи Государственного литературного музея. Вып. 9. М., 1948. С. 200–201.

¹¹ Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 366.

¹² Литературное наследство. Т. 53–54. С. 104–105.

Заинтересовавший нас корреспондент Лажечникова **Альберт Викентьевич Старчевский** (1818–1901) в том же 1856 году преобразовал хиреющий журнал «Сын Отечества» в дешёвую еженедельную газету, в чём весьма преуспел и сколотил на этом деле немалый капиталец. «Гвоздём» каждого номера был фельетон «Листок» небезызвестного балагура и остролова Барона Брамбеуса (О.И. Сенковского). С 10 июня 1856 г. цензором «Сына Отечества» был назначен И.И. Лажечников. О работе с ним Старчевский написал в своих «Воспоминаниях литератора». Здесь находим следующую характеристику Лажечникова (его фамилию мемуарист писал по-старинному «Ложечников»):

«Он очень хорошо понимал, о чём идёт речь, был очень осмотрителен, и хотя сам был литератор, но “Листки” чистил и наводил на них глянец... Видно было по всему, что для него это была работа Тантала; он стеснялся и рад был отделаться от цензурования “Сына Отечества”»¹³.

Стеснительность цензора — уже знакомый нам парадокс, и такими парадоксами были преисполнены эти страницы биографии Лажечникова. Приведём колоритную картину из воспоминаний Старчевского, рисующую будни цензора и редактора.

<...> Наконец дело доходит до цензуры. Листок отправляется цензору в пятницу вечером или в субботу утром. Цензор начинает с замечания: зачем ему так поздно доставили фельетон, когда завтра должна выйти в свет газета; между тем рассыльному велит подождать. Цензором был известный романист Иван Иванович Лажечников. Он пробегает «Листок», отмечает некоторые места красным карандашом, в других ставит вопросительные знаки, некоторые выражения изменяет, другие прямо властно рукою и красными чернилами зачёркивает. Спустя полтора часа призывает рассыльного и передаёт ему написанную ко мне пригласительную, краткую, но многозначительную записочку в нескольких словах. «Пожалуйста, добрейший такой-то, для необходимых объяснений, в таком-то часу», — или просто скажет рассыльному: «Попроси ко мне г. Старчевского, нам нужно повидаться. Я его жду к такому-то часу».

Приходит рассыльный в редакцию и объявляет сказанное ему цензором или передаёт записочку. Нетрудно себе представить, с каким чувством редакторы обыкновенно встречают такие приглашения!.. Суббота — день выпуска журнала, хлопоты, посещения сотрудников и посторонних лиц, почему-либо желающих объясниться с редактором, а тут ещё сюрприз от цензора! Нечего делать, проклиная подобную процедуру издания газеты, идёшь к цензору, который встречает вас с кислой миной и замечанием: «Я не понимаю, что за охота нашему почтенному О. И. <Сенковскому> касаться таких предметов... и в такой форме... ведь он знает, какое нынче время»... Полиция и цензора всегда имеют привычку при исполнении своих обязанностей приговаривать: «нынче пошли строгости... теперь очень строго смотрят на это».

— Да и зачем ещё наш почтенный Осип Иванович избрал для своих фельетонов иносказательную форму; положим, что он, как ориенталист, предпочитает эту форму другой... но я должен вам прямо сказать, что своей властью я этого «Листка» пропустить не смею, не могу, из-за него меня выгонят из службы, я лишусь пенсионна, а мне до него осталось

¹³ *Старчевский А. В.* Воспоминания литератора // Исторический вестник. 1892. № 11. С. 329.

всего один год и пять месяцев... Ну, будьте сами моим беспристрастным судьёй: как вы поступили бы на моём месте?.. Да и зачем «Листок» не представляется до заседания цензурного комитета, тогда можно было бы объясниться, решить, что и как сделать, а теперь что?

— Вы скажите это Осипу Ивановичу,— замечаю я,— он всю неделю просиживает над своим «Листком» и только в пятницу, редко в четверг, присылает его в типографию для набора.

— Это очень жаль, что нельзя изменить этого порядка. Но скажите, пожалуйста, А<льберт В<икентьевич>, как на ваш взгляд этот «Листок»?

— Я его ещё не читал и ничего вам сказать не могу; он доставляется вам и мне одновременно, я был занят другим делом и только что хотел было приняться за чтение, как рассыльный принёс от вас приглашение...

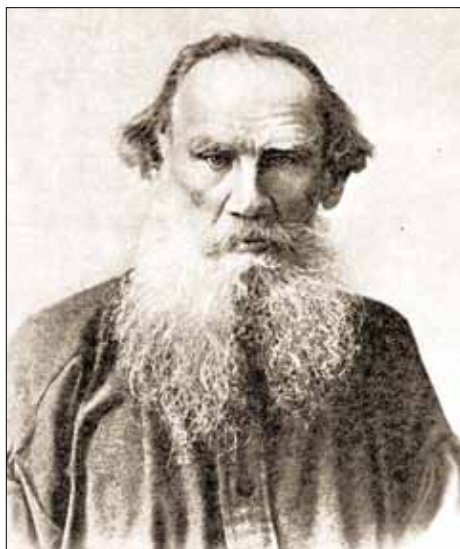
— Я, право, не знаю, что мне делать. Надо отправиться к председателю, прочесть ему отмеченные мною сомнительные места. Застану ли я его дома, примет ли он меня сегодня, да и в городе ли он сегодня?..

Начинается чтение отмеченных мест, идут рассуждения, даются мною ответы на сделанные цензором вопросы. Но всего этого мало. Иван Иванович, всё-таки, находит нужным побывать у председателя, а то, пожалуй, съездить и к самому князю Петру Андреевичу (Вяземскому, товарищу министра); начинается облачение — выступают тут же, без церемонии, на сцену белые панталоны с золотыми лампасами, мундир, ордена... начинается ворчание, сыплются проклятия на трудную цензурскую службу; наконец, подаётся с негодованием рука, делается умильная улыбка *a la* чёрт бы тебя взял с твоим «Листком», и Иван Иванович, кланяясь, уже одетый полным действительным статским советником, произносит: «Пришлите рассыльного в 8 часов вечера, увидим, что́ будет».

Между тем номер «Сына Отечества» совсем уже готов, можно было бы приступить к вёрстке первого листа, в котором идёт фельетон барона Брамбеуса, но ничего не поделаешь: от цензора ждут разрешения. Метранпаж, корректор, ещё кто-нибудь из сотрудников ждут не дожудтся рассыльного от цензора, зевают, жгут немилосердно папиросы, перебирая все косточки барона Брамбеуса: зачем он пишет такие задорные листки; проклинают цензора, зачем он задерживает дело, и успокаиваются на том, что посылают с горя за тремя парами пива...

В десять часов вечера возвращается, наконец, рассыльный, весь в поту, бежавший от цензора без оглядки, чтобы типография скорее могла приступить к печатанию номера... Корректор купно с метранпажем развёртывают со страхом полученную от цензора форму и замирают от ужаса... На «Листке» Сенковского нарисована красными чернилами не то географическая карта, не то таблица, представляющая высоту всех гор земного шара...

«Листок» этот читал сперва цензор, делал свои замечания и херил, потом читал председатель и опять делал свои замечания и херил; наконец, читал князь Вяземский и тоже делал свои замечания церковнославянским полууставом и херил, и вышла великолепная цензурная мозаика, под которой внизу рукою Лажечникова обыкновенно писалось в виде особенного личного расположения и любезности: «Слава Богу, всё обошлось благополучно, отстоял-таки «Листок», можете теперь печатать без опасения, кажется, ничего не изуродовали»... А между тем, в сущности, он



Л. Н. Толстой

отстоял собственно лишь бумагу, на которой напечатан «Листок»...¹⁴

* * *

С декабря 1856 г. по апрель 1857 г. Лажечников цензурует журнал «Современник» Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. Он попадает, что называется, из огня да в полымя: радикализм «Современника» был не в пример опаснее злоречия Сенковского. Тем не менее 3 января 1857 г. Панаев радостно сообщил Тургеневу: «Лажечников — не

портит»¹⁵. Чего стоила цензуре его толерантность (он отнюдь не разделял направление бойкого журнала), можно только догадываться. Впрочем, есть одно свидетельство, намекающее нам на тогдашний душевный дискомфорт Ивана Ивановича. И принадлежит оно **Льву Николаевичу Толстому** (1828–1910), который в дневнике 29 декабря 1856 года записал: «Нелепость и невежество цензуры ужасны. Был у Лажечникова, он жалок». Очевидно, что «жалкое» состояние Лажечникова было вызвано той инерционностью цензурного ведомства, которая в те времена обновления общества казалась ещё большей «нелепостью», нежели в недавнюю эпоху николаевской стагнации и «чугунной» цензуры. Лажечников, таким образом, оказывался как бы между молотом нового времени и наковальной старых устоев.

Насколько порядочным, хотя подчас и наивным оставался Лажечников в этих новых обстоятельствах, свидетельствует его полный тёзка, журналист и писатель, соредатор «Современника» **Иван Иванович Панаев** (1812–1862).

«И. И. Лажечников принадлежит к тем живым, редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую склонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением Одоевского, искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушием... Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностию и очень неловко входящий с нею в сделки. Он занимал довольно значительную административную должность; но служба никогда не везёт таким людям, и Лажечников вышел в отстав-

¹⁴ *Старчевский А. В.* Воспоминания литератора // Исторический вестник. 1892. № 11. С. 329.

¹⁵ И. С. Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930. С. 70.

ку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того чтобы увеличить свой пенсион, он принуждён был в последнее время принять на себя должность цензора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своею обязанностью и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсионера, он тотчас же оставил ценсорство и говорил, что это счастливый день в его жизни... Благодушные Лажечникова часто доходит до детской доверчивости к людям, до трогательной наивности.

Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень почтенный, серьёзный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал «Юрия Милославского» и «Рославлева».

— Кому же,— прибавил юморист,— как не вам, автору «Последнего Новика» и «Ледяного дома», принадлежит его место?..

— Да к кому же мне адресоваться? — спросил его Лажечников.

— Отправляйтесь прямо к директору канцелярии министра двора... Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен, что он примет вас отлично и всё устроит вам с радостью... Ему только стоит сказать слово министру двора...

Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.

— Я по наивности принял это серьёзно,— говорил мне Лажечников,— и отправился к директору.

«Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Я ждал директора с полчаса... Наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился наконец ко мне:

— Ваша фамилия? — спросил он меня.

— Лажечников.

— Вы автор „Ледяного дома“?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?..

Мы вошли туда...

— Милости прошу,— сказал директор,— не угодно ли вам сесть?

И сам сел к своему столу.

— Что вам угодно? — спросил он.

Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня.

“Кажется, я сделал величайшую глупость”, — подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина.

Когда я произнёс это, я видел, что лицо его превосходительства подёрнулось иронией, пришёл от этого в ещё большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа...

— Как... я не дослышал... что такое? Какое место? — произнёс директор, устремляя на меня резкий взгляд.

Я, проклиная внутренне свою доверчивость, повторил глухо: „место директора московских театров“.

Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я не дал в эту минуту, только бы не видеть этой улыбки.

— Какое же вы имеете право претендовать на это место? — спросил он, — вы знаете ли, что это генеральское, очень важное место?

Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, вероятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторою литературною известностию, могу надеяться...

Но директор прервал меня с явною досадою...

— Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место вследствие того, что сочинял романы... Покойный Михайло Николаич был лично известен государю императору, — вот почему он был директором. На таком месте самое важное — это *счётная часть*, тут литература совсем не нужна: она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счётчики. На это место, вероятно, прочат человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах...

Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал неловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.

— Ничего, ничего, — проговорил он, — я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место...

Я не знаю, как я вышел от директора... <...>».

Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, посоветовавшего ему идти к нему, сколько на самого себя, и сам подсмеивался над своею доверчивостию и наивною...»¹⁶

* * *

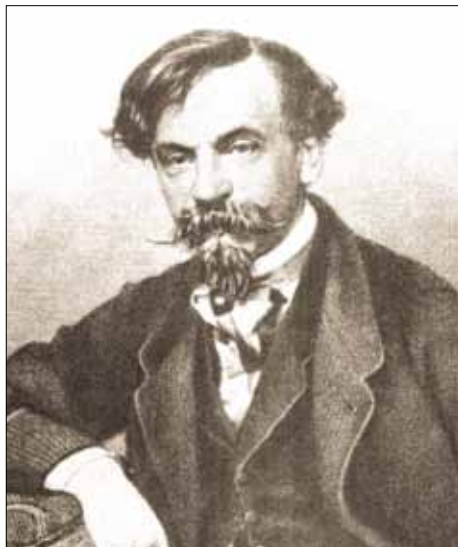
С работой Лажечникова цензором «Современника» связано ещё одно свидетельство, записанное с его же слов журналистом **Фёдором Васильевичем Ливановым** (?–1879), тесно общавшимся с писателем в последний год его жизни.

«В последнее время, бывши цензором в С.-Петербурге, Ив. Ив. Лажечников должен был читать роман Чернышевского «Что делать?» Как честный человек, он не мог посягать без собственной душевной боли на чужую мысль, и в то же время требования службы (как единственное средство жизни) налагали на него известные обязанности. И скольких мучений стоил этот роман И. И. Лажечникову! Он плакал, прося Чернышевского выпустить нецензурное (тогдашнего времени). Чернышевский плакал, защищая своё детище. Обоим было больно до слёз. Оба они собирались, плакали всегда досыта и расходились до следующего раза. И это во всё время цензирования романа. В каком первоначальном виде написан был роман Чернышевского «Что делать?» — знает только маститый старик И. И. Лажечников».¹⁷

Ещё С. А. Венгеров заметил, что «в том виде, как факт этот передан Ливановым, он безусловно неверен». Роман «Что делать?» печатался в 1863 году, то есть через шесть лет после ухода Лажечникова из цензурного ведомства. (Кстати, именно весной 1863 года, когда вся Россия кинулась

¹⁶ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 299–302.

¹⁷ Современные известия. 1869. № 119.



читать роман узника Петропавловской крепости, Лажечников писал Некрасову: «Вы знаете, когда, в моё цензорство, хотели запретить “Современник”, я взял его на своё поручительство под угрозю обращаться на статьи г. Чернышевского самое строгое внимание»). Тем не менее совместный плач автора и цензора настолько колоритен, что вряд ли был целиком выдуман тем или другим мемуаристом. Что-то похожее было и в самом деле, но только не по поводу знаменитого романа, а в связи с одним из острых журнальных выступлений Чернышевского. Этот факт подтверждается и в мемуарах уже цитированного А. Ф. Кони:

«...с новым царствованием цензурные строгости фактически были ослаблены, и одновременно с этим струя жизни, несколько освобождённой от прежнего гнёта, забила в литературе с особой силой. Однако цензурные ножницы и красный карандаш, не отложенные принципиально в сторону, а лишь несколько притупившиеся, по временам стали по требованиям высшего учебного начальства (тогда цензура была в ведомстве просвещения) приводиться в действие. Лажечникову выпало на долю цензурировать «Современник» и иметь частые и тягостные для доброго старика объяснения с Чернышевским, иногда оканчивавшиеся у цензора слезами по уходе от него «урезанного» публициста».¹⁸

По рассказу Кони (очевидно, тоже слышанному от Лажечникова) получается, что плакал только цензор, совместный же плач — «привесок» либо Ливанова, либо вставшего в сентиментальность «доброго старичины». Впрочем, нельзя и целиком отвергнуть возможность такого эпизода: Чернышевский при всей своей «крутости» бывал порой лёгок на слезу. Да и жаль вычёркивать из нашей истории хотя бы вероятность такого идеально-человечного сближения консерватора с радикалом. Смог же Салтыков-Щедрин, некогда «обиженный» цензором Лажечниковым, написать в 1863 году в «Современнике»: «г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов».

Поразительно, как совпадают, едва ли не дословно, свидетельства разных людей, знавших Лажечникова. Вот какими словами открывал драматург **Александр Николаевич Островский** (1823–1886) юбилейное торжество 50-летия литературной деятельности И. И. Лажечникова 4 мая 1869 года:

«В отношении к литературе и литераторам он один, из весьма немногих, не старел душой: он не ставил начинающим талантам в вину их молодость; никогда высокомерной, покровительственной речью не оскорбил

¹⁸ Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. С. 73.

он начинающего писателя. В продолжение 50-ти лет все художественные деятели были ему современники и товарищи. С первых слов, с первым пожатием руки он становился с молодым талантом, который мог бы быть ему сыном или внуком, в отношения самые простые и дружественные, в такие отношения, как будто они оба начали писать в одно время. Этой черты нам, молодым относительно его литераторам, забыть невозможно. Мальчишек в искусстве для него не было. Оттого и юбилейный праздник Ивана Ивановича богат тёплым чувством и простым, истинно родственным приветом, а не той холодной натянутой почтительностью, которою отличаются обыкновенно другие юбилейные торжества».¹⁹

* * *

Сохранились воспоминания, созданные, так сказать, в лоне большого семейного клана Лажечниковых–Ложечниковых. Это текст под названием «Бьль (воспоминания)», автором которого был **Ростислав Фёдорович Гардин** (1847–1924), боевой офицер, сын Надежды Николаевны Ложечниковой-Гардиной, которая была дочерью старшего брата писателя. Добрый, словоохотливый дедушка был в отличных отношениях с многочисленными чадами от двух его братьев, но лишь один из них стал настоящим семейным летописцем, реализовав художественный дар, бывший, вероятно, родовым качеством. Так, сын самого Ивана Ивановича был поэтом и журналистом, ещё один внучатый племянник писателя — известный художник А. И. Лажечников, а сын Р. Ф. Гардина — популярный актёр Владимир Гардин, который, к слову сказать, сохранил архив отца и передал его в рукописный отдел Публичной библиотеки в Ленинграде (ныне Российская национальная библиотека в Петербурге). Воспоминания, а точнее, семейная хроника Р. Ф. Гардина — живые и точные зарисовки, написанные хорошим языком. Эпизоды из жизни И. И. Лажечникова записаны с его собственных слов, это как бы рассказы дедушки внукам, где жизненную правду не всегда отличишь от семейной легенды. Впрочем, и то и другое имеет право на существование. Приведём несколько отрывков из этого архивного источника (полностью «Бьль» вместе с современными комментариями готовится к публикации в третьем сборнике «Дом Лажечникова»).

«Дедушку Ивана Ивановича я помню отлично — он ведь умер только в 1869 году 26 июня и жил последние свои 8 лет в Москве или собственном имении под Москвою, близ с<ела> Сетуни, где я нередко бывал со своими родителями. Имение дедушка назвал Винокуровым по фамилии продавца, своего дальнего родственника.

И. И. Лажечников был небольшого роста, но пропорционально сложенный, с лысинкой, но очень ловко закрытой волосами с затылка, хватавшими даже на устройство хохолка (И<ван> И<ванович> шутил над своей причёской, называя её своим внутренним займом; а подстригая хохолок, говорил, что режет купоны займа). Бороды и усов не носил, но актёрского вида не имел; лица же такого милого сердечного и духовно красивого, я редко встречал в жизни. Дедушка — И<ван> И<ванович> был большой bon-vivant <весельчак, жизнелюб — франц.> и, несмотря

¹⁹ *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: в 12 т. Т. 10. М., 1978. С. 62–63.

на свои 60 лет, женился на 20-летней девушке-красавице... И этому нечего удивляться — в дедушку даже мужчины влюблялись, такой он был привлекательный — и по наружности, и в обиходе. Истинное воплощение доброты, ласки, остроумия и безобидного юмора. Побывать у этого дедушки, послушать его милые речи, его рассказы о былом, подышать даже его душистым жуковским табаком, который он всегда покуривал из трубки с длинным чубуком,— доставляло большое удовольствие и тянуло к нему даже такую зелёную молодёжь, каким был я в то время.

<...> И<ван> И<ванович> делается директором Тверской гимназии. Как там шли дела у дедушки — я не знаю, но помню, что милый сердечный старичок с хохолком неоднократно с гордостью вспоминал, что в то дикое время безумного дранья розгами воспитанников у него в гимназии этого позора, как он выражался, не практиковалось никогда! И при этом всегда,— как теперь вижу,— вспыхивало его красивое доброе лицо и ярко поблёскивали голубые глаза. Прошли годы, но и теперь, когда я припоминаю эти минуты, у меня становится ясно на душе и милый образ дедушки весь светится, как в ореоле, в моём воскресшем прошлом...

Но удивительней всего, что либерализм И<вана> И<вановича> насколько не повредил ему по службе (а причина этому, я уверен, кроется в том, что у него, наверно, не было врагов),— и он получил значительное повышение — место вице-губернатора, там же в Твери.

<...> Дедушка Иван Иванович отличался удивительной рассеянностью, причём насколько не стеснялся сам про себя и с великим юмором рассказывать свои невольные погрешности, учинённые на почве рассеянности. Вот одна из них, заставлявшая, при уменье рассказывать, смеяться до колик слушателей...

В доме тверского губернского предводителя дворянства танцевальный вечер. На него приглашён и вице-губернатор И. И. Лажечников, который, между прочим, был очень дружен с хозяином дома, большим баринком, но простым, симпатичным и широким хлебосолом. И<ван>И<ванович>любил быть одетым хорошо и по моде, а потому взял с собою тогда только появившийся в России шапо-кляк <складная шляпа, цилиндр на пружинах>, недавно купленный им в Петербурге. С этим нововведением под мышкой И<ван> И<ванович> путешествовал по квартире предводителя, раскланиваясь со знакомыми и перебрасываясь с ними несколькими обыденными фразами. Всё, казалось, было в надлежащем тоне и порядке, за исключением... желудка И<вана> И<вановича>. Революционное настроение его заставило г<осподина> вице-губернатора спешно отступить для надлежащего усмирения в места не столь отдалённые. Подобного рода место даже в доме предводителя имело тогда довольно примитивный характер, то есть хотя и тёплое, но без проведённой воды, сиденье хотя и обитое толстым сукном, но... с прозаическим деревянным кружком, украшенным посередине ремешковой петелькой, для удобства посетителей. И<ван> И<ванович>, исполнивши высокий долг администратора, именно извергнувши революционный элемент и восстановивши нормальный порядок, возвратился опять в залу — и торжественно и чудно загулял по ней, пользуясь антрактом между танцами. Но что это такое? В зале начался какой-то шёпот, потом сдержанные взрывы смеха и быстрое почему-то удаление части дамского элемента из залы. И<ван> И<ванович> с удивлением наблюдает, никак не

понимая причины. Вдруг мчится из других комнат к И<вану> И<вановичу> сам хозяин и, еле удерживаясь от смеха, спрашивает:

— Голубчик, Иван Иванович, что это у тебя под мышкой-то?

— Как — что, милый, новость: шапо-кляк!

— Прелестно... Но почему же он с ремешком?

— С каким, чёрт возьми, ремешком?.. — И И<ван> И<ванович> воззрился на свой шапо-кляк. — Боже, я перемешал... там...

К этому дед добавлял, что он, конечно, поспешил переменить кружки, но из дома не уехал, а пошёл в кабинет хозяина и сам про себя рассказал анекдот мужчинам, вместе с ними покатывался над своей невольной погрешностью, как называл он сюрпризы своей рассеянности. А за ужином светски дисциплинированное общество, знакомое с чудодействами милого И<вана> И<вановича> и не заикнулось об инциденте... Да и нужно помнить, что это был *Лажечников* — любимец молодёжи и интеллигенции, фокус общего сердечного тяготения, по адресу которого могла только курсировать любовная шутка, а отнюдь не злая ирония.

Но всему бывает конец. И великому, и смешному. Всему наступает ликвидация. Этот ликвидационный период, литературный и жизненный, последовал для И.И. Лажечникова в 1869 году: блестящее чествование 50-летнего юбилея литературной деятельности и вслед за тем тихая светлая кончина.

К сожалению, виновник торжества не мог лично присутствовать на праздновании, находясь по болезни в постели, с которой ему так и не пришлось встать.

Но он сидел ещё на постели довольно бодро, хотя и при помощи подложенных за спину подушек, и ласково принимал всех желавших засвидетельствовать ему своё почтение по поводу юбилея. Целых три дня была чуть не толчае от посещавших почитателей, так как впускали всех без спроса и разбора.

На этой-то почве, на краю, так сказать, могилы, произошёл КОМИЗМ.

Входит пропущенный в комнату к И<вану> И<вановичу> какой-то пожилой сурового вида господин, по-видимому, купец, с красными большими глазами.

— Вы г. Лажечников? — спрашивает, садясь у постели, гость.

— Да, — отвечает, приятно улыбаясь, добродушный старичок-хозяин.

— Так-с. А вот у меня глаза болят-с.

— Это очень неприятная вещь, — поддакивает сочувственно добрый И<ван> И<ванович>.

— Так-то так-с. А вот чем их полечить, например?

— Да я думаю очень хорошо бы было, — советует любезно хозяин, — прикладывать компрессы из розовой воды.

— Что это вы, шутить изволите? — возмущается гость. — Розовой водой?! Да неужели ж другого никакого лекарства нет, более полезительного?

— А я, право, не знаю, что бы другое посоветовать, — удивлённо и конфузливо заметил И<ван> И<ванович>.

— Да как же это вы, — заволновался купец, — сами дохтур по глазной части, а не знаете, чем лечить?

Дедушка наконец понял и тихо рассмеялся, глядя на удивлённого этим смехом купца.

— Тут, дорогой мой, недоразумение: я действительно Лажечников, но сочинитель, а вам нужно моего племянника, Сергея Николаевича Лажечникова, глазного врача-специалиста. Он живёт в глазной больнице. Вы туда ступайте, милый. А вот вам и моя карточка, с ней вас без задержки примут и помогут.

— Ишь ты, какие оказии бывают. Это всё вертопрах-сынишка мой напутал,— сконфузился купец.— Я, говорит, фамилию сам читал, да и народу страсть к нему идёт. А потом, и вправду сказать, как не спутаться, когда у вас сидят люди в приёмной и только перешёптываются, да поодиночке принимаются, словно у дохтура. Ну, извините, благодарим и прощенья просим.

— Ничего, ничего...— утешал сконфуженного купца И<ван> И<ванович>, подавая ему на прощанье руку.

И тут, до конца, себе верен и характерен любвеобильный И<ван> И<ванович>.

Его отсутствие на торжестве, юбилее очень и больно чувствовалось. А это ведь было торжество всероссийское, праздновавшееся в зале заседаний Московской городской думы. Подъезд, проход в залу и сама зала были великолепно декорированы флагами, арматурами и цветами (это было летом). Городское управление ничего не пожалело, чтобы почтить этот день как подобает. Желающих присутствовать на торжестве было так много, что пришлось пускать только по билетам. Их было выдано лишь тысячу — и то, с прибывшими депутациями, было крайне тесно. Для семьи Лажечниковых была устроена ложа, и я, как принадлежащий к семье, имел там место».²⁰

265

* * *

Уже знакомый нам Ф. В. Ливанов напечатал некролог о Лажечникове в газете «Современные известия». Особое значение этой статье придаёт то обстоятельство, что редактором издания был Никита Петрович Гиляров-Платонов, незадолго до того в Московской городской думе произнёсший красноречивое и задушевное слово об основоположнике коломенского текста (в фундамент которого он и сам вскоре заложит второй краеугольный камень). Не исключено, что Никита Петрович приложил свою руку и к публикуемому некрологу.

«В 3 часа утра 26 июня тихо и безмятежно скончался заслуженный русский литератор Иван Иванович Лажечников, предсказав заранее и день своей кончины...

Он указал на два дня, в которые должна душа его расстаться с телом — на четверг 26 июня и воскресенье 29 июня. В последние дни он указал на четверг 26 июня, выражая сожаление, что не доживёт до 29 июня и тем лишит семейство своё пенсии месячной, не дождавшись первого числа. Заранее исповедавшись и приобщившись Св. Таин, он давно приготовился предстать пред лицо Бога, в коего глубоко верил в свою жизнь, и не столько боялся за свою душу, сколько за своё семейство, которое примерно любил. Говорят, что люди, отдавшиеся службе или науке, благоразумны во всех случаях жизни, лично до них не касающихся, всегда считают все

²⁰ РНБ. Ф. 173. Оп. 2. Ед. хр. 539.

заботы о себе, своих делах и детях чем-то лишним. Покойный, отдавшись служебным трудам и литературе, никогда не забывал своего семейства, скорбел о нём до последних минут и в завещании своём собственноручно написал следующие строки. «Состояния жене моей, равно как и детям моим никакого не оставляю, кроме честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранить в своей чистоте. Молю Бога и буду молить в будущем веке, чтобы они были счастливы; прошу и их не забывать меня в молитвах».

«Обнимаю друзей моих и родных и прошу их почтить память мою любовью и попечениями о моих детях. Всё, что ими сделано будет для них, будет доказательством их любви и дружбы ко мне». В последнее время, при приближающейся кончине, когда близкие советовали Ивану Ивановичу написать всеподданнейшее письмо Государю Императору и государю Наследнику, знаками внимания коих на юбилейном своём торжестве он был глубоко тронут, старик, благословив семейство, выразился скромно: «Если моему Государю и Наследнику сыну Его угодно будет почтить память обо мне, то я прошу их дать воспитание моим детям — сыну в лицее М. Н. Каткова, а двум дочерям в Екатерининском московском институте, если только я того заслуживаю».

Общество с своей стороны намерено почтить заслуги достойного писателя и прекрасного гражданина сооружением мраморного, с вылитым бюстом, надгробного памятника на могиле усопшего, имеющего быть в субботу, 28 июня, похороненным в Новодевичьем монастыре рядом почти с могилою Загоскина. Денежный фонд для сего уже отчислен московским Артистическим кружком, из других лиц желающие подписаться на этот памятник могут записываться до 1 сентября в конторе редакции «Современных известий» и Артистического кружка.

Иван Иванович обладал несомненным талантом и пылким энтузиазмом ко всему доброму и прекрасному. Он имел всегда вокруг себя кружок, куда проникали лишь любовь, дружба, науки и искусства; его ценили все, для кого бытие человеческого сердца не есть простое качание маятника. Тайна обаяния его природы заключалась в невыразимой прелести его характера, в его искреннем участии ко всякой личности, с которою он сталкивался. Совершив свой жизненный путь от колыбели до гроба, он едва ли потерял хотя одного друга и едва ли оставил после себя врагов.

Мир же праху твоему, даровитый писатель и честный гражданин! Нам, людям последнего дня, отрадно было встретиться с старцем, украшенным сединами, но сохранившим в себе весь благородный жар молодости, умеряемый только жизненной мудростию. Ты провёл всю жизнь свою в труде для пользы отечества своего, а труд есть первый завет между небом и землею, польза же первый долг, воздаваемый Богу чрез руки человечества, и счастлив тот, кто выполнил полнее и святее. На могиле твоей есть чему поучиться твоим соотечественникам, и дорога к оной, конечно, не зарастёт для потомства!»²¹

Этими словами можно и закончить наш обзор высказываний современников об Иване Ивановиче Лажечникове, чья личность удивительно гармонирует с пафосом его литературных произведений.

²¹ Современные известия. 1869. № 174. 27 июня.



Софья Юрьевна Буловацкая родилась в Коломне. В 2003 году с отличием окончила факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. Несколько лет работала преподавателем, но с открытием отдела музея «Усадьба купцов Лажечниковых» посвятила свою деятельность сохранению и популяризации исторического наследия писателя.

Буловацкая — автор долгосрочного музейного проекта «Связь времён и поколений» (с 2014 года). В рамках проекта изучала тему «Генеалогия рода Лажечниковых», для составления сводного генеалогического древа потомков семьи с XVII по XX век и написания статьи «Семья Лажечниковых: век XIX и XX». Занималась организацией встреч с потомками семьи Лажечниковых, сбором информации, изучением сохранившихся предметов и документов. Статья «История семейной реликвии» посвящена одному из самых ценных экспонатов музея — Елизаветинской Библии XVIII века — и впервые представляет историю важнейшего наследия рода Лажечниковых.

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИИ

27 сентября 2014 года. В родовой усадьбе Ивана Ивановича Лажечникова — празднование дня рождения писателя. Важное событие, которое проводится ежегодно с тех пор, как здесь был открыт музей. Но на этот раз оно особенное, потому что среди гостей — потомки семьи Лажечниковых: Марина Васильевна и Ирина Васильевна Агаповы (по линии дочери писателя Зинаиды Ивановны Лажечниковой), Галина Михайловна Лажечникова и Елена Николаевна Сотникова (по линии младшего брата писателя Николая Ивановича Лажечникова). Они приехали из Москвы в усадьбу, где протекала жизнь их предков более двухсот лет назад... Эта долгожданная встреча стала знаковой в культурной жизни Коломны.

«В нашей семье на протяжении многих лет, точнее столетий, хранятся семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение, — сказала Елена Николаевна. — Мы решили передать эти вещи в усадьбу, чтобы все люди смогли их увидеть. Мы дарим в день рождения Ивана Ивановича Лажечникова эти сокровища от чистого сердца». В присутствии собравшихся Елена Николаевна и Галина Михайловна преподнесли в дар музею сохранившиеся документы, письма, фотографии, прижизненное издание одного из сочинений Лажечникова, «Дочь еврея», Казанскую икону Божией Матери и старинную Библию, которая принадлежала самому писателю.



«Библия, сиречь книги Священного писания Ветхого и Нового Завета»

Открыв громадный том в потёртом, местами порванном кожаном переплётё, можно было увидеть титульный лист, украшенный изображениями на библейские сюжеты, с заглавием: «БИБЛИЯ сиречь КНИГИ СВЯЩЕННАГО ПИСАНИЯ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗАВЕТА».

Книга 1762 года — четвёртое издание Елизаветинской Библии — так называли её перевод на церковнославянский язык. Первое вышло в 1751 году, в правление Елизаветы Петровны (от её имени перевод



и получил своё название). Из-за небольших тиражей такие книги представляли большую ценность — издания ограничивались несколькими сотнями экземпляров. Текст печатали в два столбца, каждую главу украшали гравюрой, страницы обрамляли узорными рамками. Интересной особенностью библии, сохранившейся у Лажечниковых, была вставленная цветная карта Святой Земли с именами двенадцати колен Израилевых: «Географическое описание на Библию Священного писания, Палестины или Иудеи или обетованной и Святой Земли...».

Иван Николаевич Лажечников

Как и когда писатель оказался владельцем библии? Купил или ему её подарили? Кто владел ею до Ивана Ивановича Лажечникова? Эти вопросы ещё ждут своих исследований и ответов.

Самые ранние воспоминания о библии у Елены Николаевны и Галины Михайловны оказались связаны с Евдокией Ивановной Лажечниковой, дочерью писателя, и семьёй Ивана Николаевича Лажечникова, племянника писателя. Иван Николаевич (1846–1920), закончив учёбу в Николаевском инженерном училище в Петербурге,



служил кондуктором (*Кондуктор в России в XIX веке — воинское звание, присваивавшееся чертёжникам и художникам в инженерных учреждениях, в военных, морских и некоторых других ведомствах.*— Прим. автора) в роте Николаевского инженерного училища, работал инженером-строителем. В 1871 году, после нескольких лет военной службы, вышел в отставку в чине поручика. В конце 1860-х годов Иван Николаевич женился, и от первого брака в 1870 году у него родился сын Александр, который впоследствии стал художником.

С 1880-х годов Иван Николаевич жил в Москве. Здесь женился во второй раз. Супруга Елизавета Ивановна Лажечникова (урождённая Батурская, 1873–1967) происходила из знатной и богатой семьи. В поздравительных открытках встречается обращение к ней «Ея Высокородию Елизавете Ивановне Лажечниковой» («*Ваше высокородие*» — в соответствии с «*Табелью о рангах*», титулование при обращении к лицам в чинах 5 класса.— Прим. автора). У Елизаветы Ивановны и Ивана Николаевича родилось пятеро детей: Анна, Александр, Николай, Софья, Варвара. По воспоминаниям потомков, семья была очень дружной, гостеприимной и хлебосольной.

В 1903 году Иван Николаевич купил квартиру в доходном доме купца Крашенинникова, на улице Селезнёвской (д. 13, кв. 2), и переехал туда со своей семьёй. Просторная квартира занимала пять комнат и располагалась на первом этаже.

Известно, что Иван Николаевич с любовью относился к памяти о своих предках. Даже на конверте с документами отца он написал: «Документы моего дорогого отца, участника войны 1812, 1813 и 1814 годов» (ККМ, КП ОФ. 3620). К дяде — известному писателю — у Ивана Николаевича было особое отношение. В его домашней библиотеке всегда занимали почётное место «Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман».



Нина Николаевна Лажечникова.

Несомненно, Иван Николаевич помнил из детства и личное общение с Иваном Ивановичем, хотел записать наиболее важные моменты, связанные с его жизнью, чтобы они не ускользнули из памяти и истории. Подтверждение этому — текст, записанный им от руки с оригинала: обращение Александра II к Ивану Ивановичу Лажечникову в связи с пятидесятилетием литературной деятельности, тот самый текст, где император говорил: «"Последний Новик", "Ледяной дом" и "Басурман" вместе с романами покойного Загоскина были в первые годы молодости любимым моим чте-

нием и возбудили во мне ощущения, о которых я с удовольствием вспоминаю» (21 ККМ. КП ОФ. 3621).

Дети в семье Ивана Николаевича, по словам Галины Михайловны, воспитывались с чувством гордости за то, что их фамилия — Лажечниковы. Эта фамильная гордость передавалась из поколения в поколение, и позже некоторые из потомков оставляли себе фамилию Лажечниковых, хотя по отцу или по мужу она могла бы измениться.

В 1920–1930-х годах вместе с Иваном Николаевичем, его женой Елизаветой Ивановной и детьми жила дочь писателя, Евдокия Ивановна Лажечникова (1862–1932).

Вся жизнь Евдокии Ивановны прошла в Москве. Она окончила Московское училище ордена Святой Екатерины. Евдокия Ивановна не выходила замуж, и у неё не было детей. Вела она очень скромную жизнь, которую могла себе позволить, получая небольшую пенсию от Императорской Академии Наук как дочь известного писателя. Дополнительного дохода — пособия или заработка — у неё, скорее всего, не было, так как пенсии назначались лицам, «достигшим преклонных лет или впавшим в болезненное состояние, и притом не получающим пенсии из казны или каких-либо других источников».

Постоянная Комиссия, назначавшая пенсию, была образована во исполнение Высочайшего указа Николая II от 1895 года, которым повелевалось отпускать ежегодно из государственного казначейства по 50 000 рублей для оказания необходимой помощи нуждающимся учёным, литераторам и публицистам. Выдача пособий была возложена на Академию наук «как первенствующее учёное сословие в империи». Право на помощь имели лица, посвятившие себя исключительно занятиям на поприщах науки, словесности и современной печати. Также помощь

назначалась оставшимся по смерти их вдовам, сиротам, родителям, родственникам и воспитанникам.

В семье Ивана Николаевича сохранился документ — прошение, датированное мартом 1917 года, в Академию наук, в Комиссию для пособия нуждающимся учёным, литераторам и публицистам: «После смерти отца моего литератора Ивана Ивановича Лажечникова я получала вместе с сестрой моей Зинаидой Ивановной Лажечниковой 125 рублей в месяц пенсии. Семь лет как умерла сестра, и я получаю половину. Мне 56 лет, я очень



болезненна и при настоящей дороговизне очень нуждаюсь, а потому осмеливаюсь беспокоить просьбою Комиссию... — не найдёт ли она возможным выдать мне пособие» (22 ККМ. КП ОФ. 3617). Интересно, что с просьбою о денежной помощи в Комиссию тогда обращались очень многие известные поэты и писатели, в том числе Максим Горький и Сергей Есенин.

Свой адрес в 1917 году Евдокия Ивановна указала как Серебреническая набережная, дом № 4. Спустя некоторое время её адрес изменился — в 1920-х годах она жила на Зубовском бульваре. Сохранились воспоминания правнучки писателя, Нины Николаевны Лажечниковой, пересказанные её дочерью, Мариной Васильевной Агаповой: «Мама вспоминала, как она ходила (когда была очень маленькой девочкой, с отцом) на Зубовский бульвар (посетить Евдокию Ивановну): там были деревянные дома и деревянные ворота с кольцом — отец маму поднимал, и она стучала в это кольцо... Ещё родители рассказывали, как Евдокия приходила к ним в гости и слушала граммофон».

Это свидетельствует о том, что после смерти сестры в 1910 году Евдокия поддерживала отношения с семьёй племянника — Николая Николаевича Лажечникова (1879–1939), который тоже жил в Москве. У Николая Николаевича, единственного внука писателя, было двое детей — Нина и Олег, но только старшая, Нина, родившаяся в 1925 году, застала Евдокию Ивановну и запомнила общение с ней.

Насколько известно, Евдокия Ивановна была последней из Лажечниковых, кто поддерживал отношения с потомками и по линии писателя, Ивана Ивановича, и его брата, Николая Ивановича. В XX веке пути этих двух сохранившихся ветвей рода разошлись и встретились только спустя более чем полвека на памятной встрече 1977 года в Коломне.



Анна Ивановна Татьяна,
1913 г.

С 1900-х годов Евдокия Ивановна часто гостила на улице Селезнёвской в семье двоюродного брата, помогая в воспитании его пятерых детей. Чувство привязанности было взаимным — поэтому у Ивана Николаевича она чувствовала себя как дома и в последние годы постоянно жила в его квартире. Может, тесная связь с семьёй Ивана Николаевича объяснялась ещё и тем, что его мать, Елизавета Александровна, являлась крёстной матерью обеих дочерей писателя, и Иван Николаевич чувствовал свою обязанность позаботиться о Евдокии.

Согласно воспоминаниям Лажечниковых, Евдокия Ивановна отличалась добротой и очень любила своих много-

численных племянников и внучатых племянников. В семье её ласково называли «бабой Дуней». Подтверждение сохранилось в почтовых открытках начала XX века. Например, в начале 1910-х годов Елизавета Ивановна Лажечникова написала своему сыну Александру из Эссентуков: «Шуре Лажечникову. Спасибо, милый Шурка, за открытку. У тебя есть вкус, и угодил. Не шали. Поцелуй Соню и Варю, Евдокию Ивановну. Любящая мама». Это прямое упоминание о том, что Евдокия Ивановна гостила у двоюродного брата: если Елизавета Ивановна просит сына поцеловать своих сестёр и Евдокию Ивановну — то очевидно, что все они находятся вместе, рядом, и что «баба Дуня» — любимый и уважаемый член семьи.

Евдокия Ивановна была очень верующим, набожным человеком и постоянно ходила молиться в Пименовскую церковь, которая располагалась в Воротниковском переулке, недалеко от дома на улице Селезнёвской. В её комнате всегда лежала библия, которую, по семейным воспоминаниям, она получила от отца, Ивана Ивановича Лажечникова.

После смерти Евдокии Ивановны в 1932 году библия бережно сохранялась. Как рассказывали Елена Николаевна и Галина Михайловна, в их семье думали, что их ветвь — единственно сохранившаяся, и поэтому особенно бережно относились к семейным реликвиям.

Из пятерых детей Ивана Николаевича (от второго брака) старшей — и самой любимой дочерью — была Анна. Впоследствии именно она стала «главой семьи» и хранителем памяти о старших поколениях.

Анна Ивановна Лажечникова (в замужестве — Татьяна, 1896–1985) прожила долгую жизнь, которая вместила все главные события XX века: Первую мировую войну, Революции 1905 и 1917 годов, годы пятилеток, восстановления народного хозяйства, Великую Отечественную войну...

*Александр Иванович Лажечников,
1910-е гг.*

«И всегда Анна Ивановна была не свидетелем, нет! — активным участником событий». Так писала московская газета «За высокое качество» в октябре 1978 года. «Свою первую награду — медаль «За усердие» — она получила в военно-санитарном поезде за спасение русских воинов. Ей было тогда 18 лет. Шла Первая мировая война. Вместе с подругами-санитарками Аня выносила из-под огня раненых, облегчала их страдания, выживала.

...Бережно перелистываем старый альбом с пожелтевшими фотографиями. Но фоне вагона с красным крестом — молоденькая сестра милосердия в белой наkolке, Аня. Рядом — подруги, санитары, врачи-хирурги. Снимок сделан под Брестом, где шли жестокие бои. Поезд курсировал между фронтом и тылом, отправляя покалеченных, отравленных газами солдат в госпитали»¹.

После революции 1917 года Анна Ивановна поступила на швейную фабрику «Красная оборона» (позднее название — «Салют»), где много лет проработала медсестрой на медпункте. И вот — новое испытание, Вторая мировая война: «Великая Отечественная война. Грозная осень 1941 года. Фабрика наращивает выпуск обмундирования, люди сутками не выходят из цехов, снабжая фронт всем необходимым. По ночам дежурят на крышах, тушат немецкие зажигалки. Многие швеи пошли на строительство оборонной полосы Подмосковья, на лесозаготовки, работали в госпиталях. И среди них — Анна Ивановна с медицинской сумкой через плечо, с ласковым ободряющим словом на устах. Недаром ей вручена награда — медаль «За оборону Москвы»².

В 82 года она всё ещё находилась в трудовом строю и на своей работе являлась примером для всех остальных сотрудников. При этом Анна Ивановна очень любила театр, хорошо знала русскую и зарубежную классическую литературу. Бережно хранила в личной библиотеке наследство, доставшееся ей от дедушки, Николая Ивановича: фотографии, письма, прижизненное собрание сочинений Ивана Ивановича Лажечникова. И старинную Библию.

¹ *Фомин В.* Всегда в нашем стою // За высокое качество. 16 октября 1978 года. № 41 (2 278). С. 2.

² *Там же*





*Ольга Михайловна Лажечникова,
1910-е гг.*

В доме на Селезнёвке книга пережила самые сложные времена войн, атеизма и гонений на церковь и как главная духовная ценность бережно передавалась из поколения в поколение.

На улице Селезнёвской жил и брат Анны Ивановны, Александр Иванович Лажечников (1898–1942), дедушка Галины Михайловны Лажечниковой и Елены Николаевны Сотниковой.

Александр Иванович родился в 1898 году, окончил гимназию и учился в Кадетском корпусе, чтобы начать, как когда-то его дед и отец, военную карьеру. Когда произошла октябрьская

революция 1917 года, он вступил в ряды Красной Армии и прослужил там красным командиром до 1922 года. Александр Иванович женился на Ольге Михайловне Москалёвой, происходившей из богатой дворянской семьи (она приходилась двоюродной сестрой Анне Павловне Москалёвой, матери Святослава Рихтера). Ольга Михайловна окончила институт благородных девиц и была очень образованной, знала в совершенстве несколько языков, великолепно играла на фортепьяно.

Ещё, по воспоминаниям внуков, «она была необыкновенно трудолюбивой и терпеливой женщиной, очень эмансипированной: сразу приняла революцию, ходила в красной косынке и кожаной куртке, работала машинисткой на заводе». У Ольги Михайловны и Александра Ивановича Лажечниковых родилось четверо детей: Мария, Владимир, Елизавета, Михаил.

После военной службы Александр Иванович жил в Москве, выполнял художественные, оформительские работы на Казанской железной дороге. С детства он любил рисовать, и так как после революции не смог дальше продолжить военную карьеру, то его способности к рисованию помогли в дальнейшем содержать семью. Жизнь его была очень скромная. Большая родовая квартира на улице Селезнёвской постепенно превратилась в коммунальную: одну семью подселили, сама семья Лажечниковых разрасталась, образовывались новые семьи, которые переезжали на новые квартиры. Однако связь между родственниками не прерывалась. Лажечниковы были очень дружны, общительны и любили собираться, вместе отмечать праздники. Взрослые беседовали, а дети обычно разыгрывали шарады, исполняли на пианино любимые музыкальные композиции.

В семье об Александре Ивановиче сохранилась память как о человеке строгом, но справедливом. К сожалению, жизнь его закончилась трагически: по доносу, по обвинению в шпионаже, он был арестован в 1942 году и умер

в тюрьме. Тело семье не выдали. До сих пор на Миусском кладбище, на том месте, где покоятся многие Лажечниковы, на надгробии можно прочесть надпись: «Лажечников А. И. 1898–1942», но самой его могилы там нет.

Шли годы. Поколение правнуков Ивана Николаевича, родившиеся в 1940–1960-х годах, стало постепенно разъезжаться в другие части Москвы, одна из ветвей семьи, по линии Марии Александровны Лажечниковой, переехала в Новосибирск. «Но несмотря на то, что дети уже не жили в доме, они часто туда возвращались, чтобы навестить бабу Лизу,— вспо-



минала Галина Михайловна Лажечникова.— Это был дом, наполненный историей. Это была огромная квартира. С ней связаны мои самые лучшие воспоминания детства. ... Лажечниковы собирались вместе, у нас царила атмосфера семейного единства — и мы росли в этой атмосфере, ощущение истории было заложено с рождения. У нас были свои традиции: мы любили застолья, встречи, танцы, шили к праздникам карнавальные костюмы, вместе готовили блюда, лепили пельмени, «травили» анекдоты, вспоминали случаи из жизни. Родители всегда любили рассказывать с юмором, шутками...

Я всегда ощущала себя, как будто из XIX века: в доме хранились иконы, стояли старые шкафы, наполненные книгами. ... Мы часто вместе с отцом читали — не для получения энциклопедических знаний с датами, больше для общения. Иногда мы с ним принимались смотреть Библию, оставшуюся как память об Евдокии Ивановне. Я помню, мы сидим, рядом с нами бабушка. Разворачиваем карту, листаем страницы, водим пальцем, рассматриваем старинные буквы, похожие на вязь, касаемся тиснёной кожи переплёта... Особенно занимала карта — её любили разглядывать. Казалось, она содержит в себе тайну, секрет, который мы можем разгадать. Поэтому Библия всегда была очень дорога всем представителям нашей семьи — как материальная память о том времени, о прошлом. Мы всегда испытывали чувство гордости за то, что у нас есть такая вещь и что она связана с нашей фамилией. Позже книга хранилась у Елизаветы Александровны Лажечниковой, у Михаила Александровича Лажечникова. Можно даже сказать, что она являлась предметом споров, каждый хотел обладать ею. Но по прошествии многих лет, в начале 2010 годов, состоялось наше знакомство с музеем, открывшимся в усадьбе Лажечникова. Узнав о той громадной работе, которую сделали сотрудники по сохранению памяти о писателе, мы, потомки, приняли решение передать Библию в дар городу. Мы подумали, что если любой человек, который пришёл

узнать о писателе, сможет увидеть эту книгу, это будет великолепной иллюстрацией того, что память сохраняется и живёт. И что если не будет утеряна Библия и её история, это будет важно для нового поколения. Ведь в чём мы воспитаны, тем мы и живём. Что нам рассказали, то мы и помним. Поэтому для нас это ценно». Так в 2014 году Библия была подарена музею.

Более 110 лет жили Лажечниковы на улице Селезнёвской. После того, как последние жившие там представители семьи в 2015 году продали квартиру, старинную мебель, приобретённую ещё Иваном Николаевичем в конце XIX века, привезли в усадьбу Лажечникова. Решение Лажечниковых о том, что семейные ценности должны стать общественным достоянием, имело огромное значение: тысячи посетителей усадьбы получили возможность побывать на мемориальной выставке, открытой в 2015 году, и увидеть дары потомков. Там же, на выставке, и сейчас представлена Библия семьи Лажечниковых. Сегодня двери музея открыты для всех желающих. Усадьба Лажечниковых приглашает и вас, уважаемые читатели, посетить музей и прикоснуться к наследию великого русского романиста.

НАШИ УТРАТЫ

ГОРЬКАЯ ВЕСНА



Когда на всей земле русские люди отмечали день Святого Духа, остановилось прекрасное сердце Елены Николаевны Солдатенковой. Какая-то печальная тайна скрывается в этом совпадении...

Бывает: работаешь рядом с человеком, встречаешься с ним каждый день, а оказывается — не понимаешь его значения и необходимости. Труд Елены Николаевны в «Коломенском альманахе» на первый взгляд был незаметен. Но именно от него зависела вся красота журнала! Елена подбирала к публикации репродукции коломенских художников, оформляла их, и у неё это получалось так, что они становились гордостью альманаха. Теперь этого человека нет рядом с нами, не скажешь уже больше привычное: «Добрый день, Еленушка!», не порадуешься её красивой работе, не улыбнёшься её добрым глазам. С этой кончиной возникла у нас неизбывная пустота...

Но дышит надеждой и верой светлый Духов день! Нет, не умерла она: просто на время перестала работать с нами...

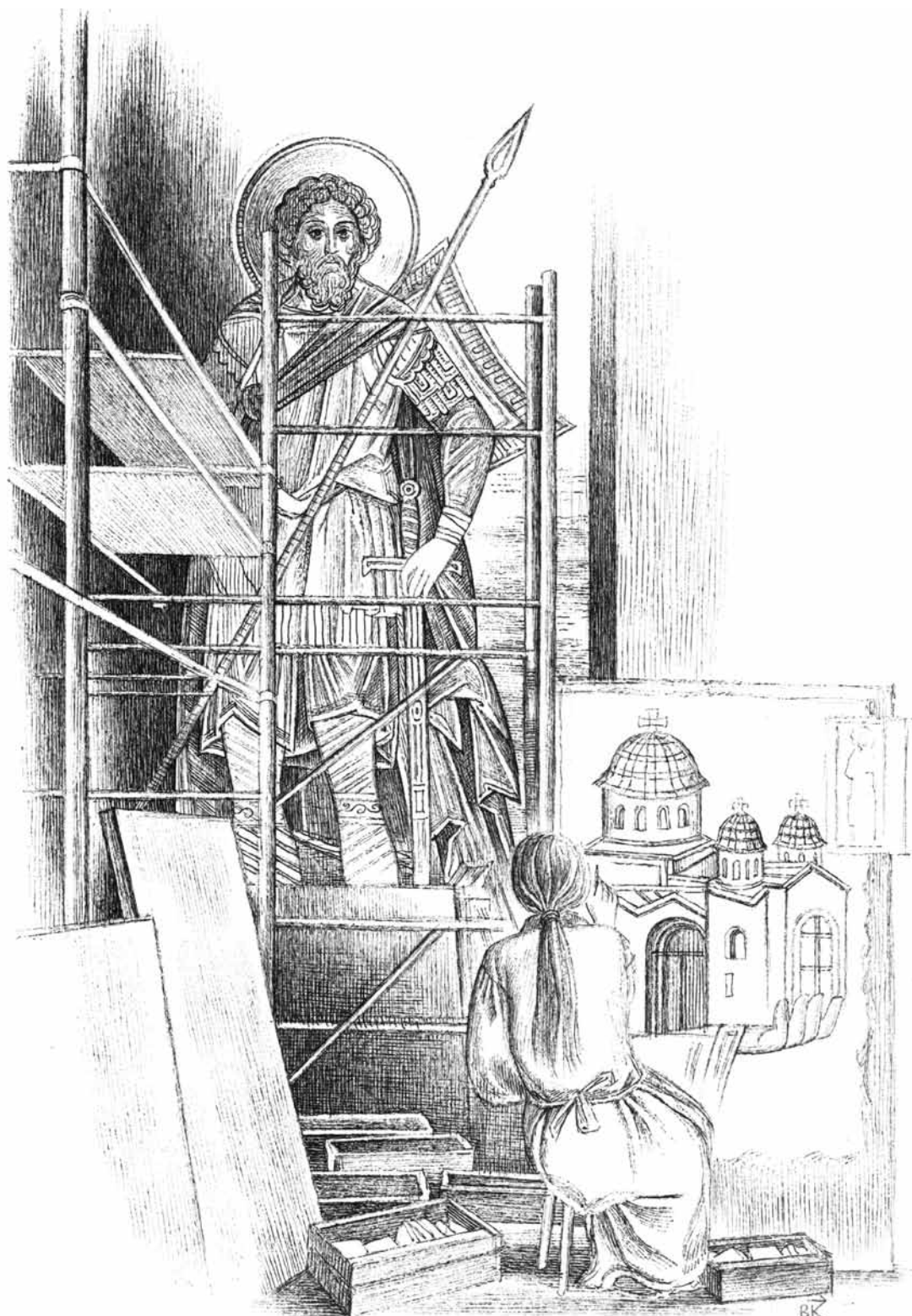
Мира и упокоения тебе, дорогая Елена Николаевна! Спасения твоей душе, воспарившей в это весеннее небо! Да примет тебя Господь с милосердной любовью!

Коллектив редакции



Родимая
сторона





Графика Василины Королёвой

ВОПРЕКИ НЕВЗГОДАМ

(московские гимназисты в Коломне
во время Отечественной войны 1812 года)



Нисон Семёнович Ватник родился 22 июля 1948 года в Кишинёве. В 1966 году поступил на исторический факультет Коломенского педагогического института, который окончил с отличием в 1970 году. С 1970 по 1978 год работал учителем истории и заместителем директора Парфентьевской средней школы Коломенского района. В 1978 году перешёл на работу в Коломенский педагогический институт (ныне Государственный социально-гуманитарный университет — ГСГУ), последовательно занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой истории (1991–2000 гг.). В настоящее время — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ, кандидат исторических наук.

Нисон Семёнович Ватник — автор (соавтор) более 115 научных и научно-методических работ.

Отечественная война 1812 года совершенно заслуженно относится к числу грандиозных событий российской истории. Народная память сохранила для потомков имена талантливых русских полководцев, отважных офицеров и солдат, партизан и ополченцев, за шесть месяцев разгромивших самую сильную в Европе армию. В XIX веке благодарные потомки воздвигали в честь победы над Наполеоном храмы, архитектурные ансамбли и монументы, устраивали экспозиции и портретные галереи; спустя столетие пришло время музеев, грандиозных панорам и мемориалов.

Но военно-исторические сюжеты и героика сражений неизбежно оставляли в тени повседневную жизнь современников, проживавших как в оккупированных городах и сёлах, так и в прилегающих к полосе вторжения губерниях. Именно в последних и искали приют многие покинувшие свои дома жители захваченных территорий. Трагизм бытия беженцев, их взаимная поддержка — всё это сохранили мемуары и архивные документы. Но при всей полезности и важности они содержат в основном информацию о несчастьях, обрушившихся на «мир взрослых», в то время как много меньше имеется сведений о невзгодах «мира юных» — детей и подростков. Тому есть свои причины.

Во-первых, от приближающегося врага спасались семьями, и, как след-

ствие, специальные детские сюжеты представлены в источниках по минимуму или фрагментарны. А во-вторых, случаи эвакуации учебных заведений в 1812 году единичны. Действительно, находившиеся вблизи западной границы губернские центры (Минск, Вильно, Гродно), где располагались гимназии, были захвачены неприятелем довольно быстро, а перемещение могилёвской и смоленской гимназий в глубь страны и не предполагалось. Часть учебных заведений Петербурга (Смольный институт благородных девиц, пажеский и кадетский корпуса, Иезуитский институт, Царскосельский лицей) и «прифронтовых» губерний (владимирская, тульская, ярославская гимназии и Демидовское училище высших наук) подготовились к выезду «при первой тревоге». Правда, по причине отступления в октябре французской армии из Москвы «разрешительные» указания начальства на сей счёт не последовали.

В итоге документально подтверждена эвакуация учащихся из четырёх городов: Петербурга, Москвы, Калуги, Твери. В Петрозаводск из северной столицы были отправлены воспитанники Академии художеств, губернской гимназии и педагогического института, в Коломну и Рязань — ученики московской губернской гимназии, в Рязань — калужской гимназии с благородным пансионом и местного уездного училища, в Ярославль — тверской гимназии. Имущество Ярославского демидовского училища было переправлено в близлежащий город Романов. При сравнении обстоятельств исхода и нахождения в местах прибытия выяснилось, что, кроме московской гимназии, эвакуация всех школ была проведена заблаговременно с размещением в относительно приемлемых условиях; возвращение их проходило с ноября 1812-го по март 1813-го года. Напротив, тяготы, выпавшие на долю московских гимназистов и их наставников, оказались огромными и заслуживают отдельного подробного рассказа, тем более что Коломна сыграла решающую роль в спасении юных беженцев. Материалы об этом представлены в документах фонда директора народных училищ в рязанском областном архиве, в обзорных работах о событиях 1812 года в Рязанской губернии, в трудах по истории Московского государственного университета и Московской 1-й гимназии.

Но предварительно полезно сообщить любознательному читателю самые общие сведения о московской губернской гимназии начала XIX века. Она была открыта второго января 1804 года в рамках просвещенческой реформы Александра I и создания в губернских городах всесословных средних учебных заведений, предназначенных как для желавших поступить в университет юношей, так и «для тех, кои не имея намерения продолжать обучение в университете, могли бы приобрести сведения, необходимые для благовоспитанного человека». В 1812 году в ней числился 101 ученик и имелся пансион, где проживало около 40 человек — за плату и за счёт казны. Относительно небольшое количество учащихся в гимназии объясняется тем, что знатные дворяне предпочитали обучать своих детей дома, в частных пансионах и кадетских корпусах, а потому в составе учеников значились выходцы из небогатых дворянских и разночинских семей, проживавших в Москве и ближних к столице губерниях (о значимости тогда сословного фактора говорит, например, расселение по разным комнатам пансионеров из благородных и разночинцев; позднее для них откроют отдельные пансионы).

*Петр Михайлович Дружинин –
директор Московской губернской
гимназии (1804 – 1827)*



О распорядке дня в гимназии и пансионе нам известно из мемуаров М. П. Погодина, выпускника 1818 года, ставшего видным российским историком. Вставали пансионеры в 5 часов. С 8-ми до 12-ти шли уроки (два урока). В 12.30 начинался обед, состоявший из щей и каши, а после обеда пансионеры играли на гимназическом дворе. С 14 до 16 часов проходил послеобеденный урок. Затем следовали часовой отдых, полдник в виде куска чёрного хлеба и до 20 часов подготовка в своих классах уроков. После скромного ужина и молитвы ученики в 9 часов вечера ложились спать. Летом по праздникам пансионеры совершали экскурсии на Воробьёвы горы, где им давали по калачу и кружке молока. Приходящие гимназисты-москвичи придерживались такого же расписания уроков, а домашние задания выполняли под присмотром родителей или гувернёров.

Возглавлял гимназию известный педагог Павел Михайлович Дружинин. В административном, финансовом и методическом отношении гимназия подчинялась Московскому университету. Приведём перечень гимназических учебных дисциплин: латинский, немецкий и французский языки, география, история с «мифологией и древностью», статистика, математика, опытная физика, естествознание, рисование, а также философия, «изящные» и политические науки (политическая экономия и право), основы коммерции и технологии. Закон Божий не изучался, ибо догматы христианской веры ранее преподавались в уездном училище. Об уровне подготовки в гимназии можно судить по отзывам её выпускников. К примеру, тот же Погодин с благодарностью вспоминал своих наставников: педагога латинского и немецкого языков Любима (Арнольда) Антоновича Лейбрехта (он «много добра, много пользы принёс своим воспитанникам»), преподавателя русской словесности «добрейшего и учёнейшего» Семёна Мартыновича Ивашковского, учителя географии, истории и статистики Алексея Егоровича Добровольского, умевшего внушать к себе благоговение, что «есть важное достоинство в учителе и профессоре».

1812 год стал рубежом в истории губернской гимназии. Учебные занятия начались, как обычно, 1 августа, но приближение к Москве армии Наполеона резко изменило спокойное течение гимназической жизни. 26 августа училищный комитет Московского университета распорядился начать подготовку к вывозу гимназического имущества, предоставив для



Павел Иванович Голенищев-Кутузов – попечитель Московского учебного округа (1810–1816)

этого лишь 15 подвод. Поэтому было решено отправить гимназическую казну, библиотеку и самые необходимые вещи, и 29 августа обоз с запечатанными гимназической печатью ящиками под охраной нескольких солдат выехал вместе с университетской казной в Нижний Новгород.

Учебные занятия были прекращены ещё 26 августа, а ученики, имевшие семьи и родственников в Москве, распущены по домам. Учителя гимназии получили 31 августа отпускные билеты и дозволение от по-

читателя Московского учебного округа П. И. Голенищева-Кутузова «при нынешних обстоятельствах оставить Москву». Однако в гимназическом пансионе оставались учащиеся — не москвичи, смотрителем при которых находился учитель математики и физики Егор Николаевич Назарьев — выпускник Петербургской учительской семинарии, имевший многолетний опыт преподавания в Новгородском и Московском главном народном училищах. Каких-либо указаний от университетского руководства по поводу пансионеров директор гимназии Дружинин не получал (в суматохе о них, видимо, забыли), и тогда, «крайне озабоченный их спасением», он принял решение отправить своих питомцев вместе с Назарьевым и пятью служителями в Коломну для размещения в уездном училище. В результате 1 сентября, т.е. менее чем за сутки до вступления неприятеля в Москву, обоз с детьми покинул город, а так как необходимого количества подвод раздобыть не удалось, то большая часть из 33 пансионеров отправилась пешком. Отдадим должное Дружинину — лишь обеспечив безопасность всех учеников, укрыв казённое имущество и поручив сторожам присмотр за зданием гимназии, он уехал 1 сентября по Владимирскому тракту вслед за университетским высшим начальством, чиновниками казначейства и Приказа общественного призрения.

Что же касается Назарьева и его подопечных, то обстоятельства их перехода из Москвы в Коломну остаются, к сожалению, неизвестными. Возможно, они были схожими с теми, что описал в мемуарах известный государственный деятель середины XIX века Валериан Иванович Сафонович — в описываемое время 14-летний воспитанник Благородного пансиона при Московском университете. Как и гимназисты, он был вынужден покинуть Москву вместе со служителями и несколькими товарищами, чтобы добраться через Коломну до деревни Митягино Рязанской губер-

нии — родины эконома Болотова, заведовавшего пансионным хозяйством. Но если учеников губернской гимназии отправил сам Дружинин, то директор Благородного пансиона А. А. Прокопович-Антоновский предпочёл уехать из Москвы первым, поручив заботы о пансионерах Болотову.

Сафонович подробно рассказывает, что происходило далее.

«Пансион совсем опустел; из надзирателей никого не осталось. 30-го августа мы бегали по городу и ужаснулись пустоте... При нас оставался один эконом пансиона Болотов, которому поручено отвезти нас во Владимир. Ему было не до нас; в это время у него своих хлопот было довольно. Вечером того же дня мы слышали пушечную пальбу; но никто не умел объяснить нам, что это такое. Мы полагали, что это обещанное генеральное сражение под Москвой, и с нетерпением ожидали его результатов. Всю ночь на 31-е число мы провели в самом грустном положении, совершенно одни, без всякого начальства. Никто почти не спал; трусливые плакали; я был исполнен негодования против французов и придумывал, как бы насолить Наполеону. Мне пришла мысль написать на дверях какого-нибудь чулана оскорбительное насчёт его выражение; но я рассудил, что если Наполеон прочтёт подобную фразу, то с досады велит наказать кого-нибудь из оставшихся в доме, и может быть даже расстреляет. Я никого не хотел вводить в беду, и злостное моё намерение было оставлено.

1-го Сентября (в воскресенье) нам объявлено было, что мы отправляемся из Москвы. У нас не было ни лошадей, ни экипажей. Надобно было всё это достать. Непонятно, почему прежде о том не распорядились...

Конечно, больше всех виноват в этом эконом Болотов; он по свойственному русскому человеку «авось» надеялся устроить хорошо, ... но захлопотался другими делами и не успел заготовить повозок и лошадей для отправления нас в предназначенный путь как следует... Однако нельзя оправдать и Антоновского. Он поспешил уехать в деревню за несколько дней до нашего отправления, вероятно понадеявшись на Болотова, что он устроится, как должно, с нами, тогда как ему следовало отправить нас при себе и потом уже уехать. ... Болотов объявил нам, что лошадей у него для отправления нашего нет, и поручил нам самим похлопотать о них. Поздно он за это хватился!.. Все лошади, какие только годились, забраны были уезжавшими из Москвы, а также проходившими командами и торгующим людом... Все бегали по городу искать лошадей; мы заходили во все дворы узнать, нет ли где продажных хотя бы кляч, расспрашивали каждого встречного. Почти полдня мы, таким образом, пробегали. Наконец, наткнулись на мужичка, сидевшего спокойно на улице. «Не знаешь ли, любезнейший, где бы достать вам парочку лошадей?..» Он добродушно посмотрел на нас — детей — и указал на один дом, невдалеке, прибавив: «Там, кажется, найдёте продажных лошадей». И в самом деле, оказались там две незавидные лошадки, которые тотчас мы сторговали за цену, довольно выгодную по тогдашним обстоятельствам, и именно за 80 рубл. После того приискана была телега. С большим торжеством приведены были лошади на пансионский двор. Началась укладка вещей. На телегу взвалили всё, что могло уложиться. Большую часть наших вещей, как-то: перины, подушки, книги, некоторое платье — пришлось оставить в Москве в добычу французам. При нас был дядька, наш крепостной человек; он успел захватить с собой почти всё наше бельё, какое только было.

Прочие товарищи, у которых дядек не было, ничего с собою не взяли, так что впоследствии мы должны были поделиться с ними рубашками. Эконом главнейше заботился о казённом имуществе и клал на воз также свои вещи... К 6-ти часам вечера мы были готовы в путь и тронулись с места. ... Все мы — дети и бывшие с нами люди — пошли пешком; на воз никому сесть нельзя было: он так был нагружен вещами. Всего нас было 10 человек. Из воспитанников: два брата Гудимы-Левковичи (киевляне), Милорадович (из Кременчуга, Полтавской губернии), Гулевич из Пензенской губернии, Подьяков из Вологодской губ. и нас двое (с младшим братом — *Н. В.*). Прочих трое: эконом, наёмный слуга немец и наш человек Осип. Куда нас вели, никто ничего не знал, но мы не слишком скучали. Это разнообразие в жизни, перемена предметов, отсутствие строгого надзора, некоторая самостоятельность в действиях — всё это на первых порах нас утешало и занимало. О будущем в голову ничего не приходило... Об одном только думали, как бы поесть...

Когда мы подошли к заставе на Рязанской дороге, было уже темно; мы шли ещё около часа... Бесчисленное множество обозов и экипажей разного рода тянулось по этой дороге; пешеходы шли тысячами. Наконец совсем смерклось; надобно было подумать о ночлеге; но где его найти? В ближайшем от Москвы селении, где мы думали переночевать, все избы были заняты проезжающими и проходящими. Для нашего каравана недостаточно было одной избы, если бы и отыскалась свободная. Положено было провести ночь в открытом поле. Достали с воза ковры, рогожи, простыни, одеяла, разложили всё это на траве, купили в деревне молока, поужинали, помолились и улеглись, кое-как укутавшись в шинели; но уснуть было трудно: сырость и холод проникали до костей. Сверх того, новость положения, некоторое беспокойство духа и неизвестность, чем кончится наше путешествие, отнимали всякий сон. Часу в 12-м ночи я увидел зарево Москвы. Горело в трёх местах, французов в Москве ещё не было, и это надобно было отнести к случайным пожарам, если только не было намеренных поджогов с известной целью.

Часов в 5 нас подняли; вскоре взошло солнце; погода была довольно тёплая; мы вскочили, протёрли глаза; нам дали что-то поесть, и мы пустились дальше в хорошем расположении духа. Некоторые из нас очень устали и с трудом тащились; тогда таких вскидывали на воз; один отдохнувший уступал место другому. Сидевший на возу обыкновенно и правил лошадьми. Это нас очень забавляло. Я никогда не садился на воз: достаточно было силы идти всё время пешком. Обыкновенно я дорогой читал, взявшись рукою за воз и бредя за ним медленным шагом. Со мною были Труды Общества Любителей Российской Словесности...

На другой день, т.е. 2 сентября, мы прошли, таким образом, около 20 вёрст. Мы стали привыкать к нашему положению. В среду, 4 числа, когда мы были уже верстах в 70 от Москвы, мы увидели огромное зарево.

Подходя к Коломне, мы сильно были перепуганы пьяными солдатами, скакавшими нам навстречу. Они кричали, что неприятель подходит к Коломне. От страха мы не знали, что делать; назад идти худо, подвигаться вперёд тоже нехорошо... Я упрашивал направиться в сторону, указывая на какую-то деревеньку. Составили совет; с нами было много пешеходов, следовавших по той же дороге... Мы рассуждали, что неприятель никак

не мог так скоро обойти Москву и пройти так, чтоб показаться впереди нас, и заключили, что безумные солдаты, верно шутя, кем-нибудь были напуганы. Мы решили идти вперёд... Другие попадавшиеся проезжие нас окончательно успокоили... Недалеко от Коломны попался нам мужик на телеге, в одну лошадь; мы разговорились... Между прочим, зашла речь о том, не продаст ли он нам лошадь с телегой. Мужик согласился; с ценной сладили, и мы приобрели экипаж, куда тотчас и забрались. Один из нас правил лошадью, и мы пустились рысью к Коломне, оставя далеко за собой наш воз с багажом. Надобно было видеть радость нашу, когда мы неслись на нашей лошадёнке, с каким наслаждением отдохнули от длинного странствования пешком!

В Коломне мы переночевали. Здесь Болотов придумал отправить двух братьев Гудим-Левковичей на родину и нанял им извозчика за 270 р. асс.; почему распоряжение его остановилось на них только, а не на других из нас, объяснить не умею. Гудим-Левковичи были также очень молоды и распоряжаться собой ещё не могли; за всем тем Болотов нашёл возможным их отправить одних, без человека, на произвол одного извозчика. При расставании с товарищами я искренно плакал... Общее несчастье связало нас тесною дружбою...». (Спустя два дня беженцы достигли деревни Митягино, где находились около двух месяцев; в течение октября Болотов постепенно отправил детей к их родителям, нанимая местных извозчиков.— *Н. В.*)

Как видим, оба обоза покинули Москву 1 сентября (с гимназистами — в первой половине дня, а с университетскими пансионерами — вечером); путь до Коломны протяжённостью более 100 вёрст они прошли в потоке беженцев примерно за пять дней и прибыли на место 5 или 6 сентября.

Город застали в паническом состоянии. Приведём свидетельство писателя С. Н. Глинки, который приехал в Коломну к брату-артиллеристу Владимиру «поутру» 6 сентября: «Весь город был в тревоге от молвы, будто бы к нему приближается неприятель. ... Казалось, что и камни улиц собирались бежать. Обгоняли, толкали друг друга. ... Никто не останавливается, никто не слушает. У всех одна мысль: спастись и спасти жизнь». Другой беженец, протоиерей А. И. Лебедев, также упоминает о коломенцах, «страшно напуганных проходившим через город каким-то нашим отрядом и распустившим слух, что за ними гонятся французы. Множество народа бросились из Коломны вон, и город заметно опустел».

Приведённые фрагменты воспоминаний полностью подтверждают рассказ Сафоновича о повстречавшихся под Коломной пьяных солдатах, кричавших о близости французских войск. Панические слухи действовали «ошеломляющим образом» — началось, как признавали спустя полгода сами горожане, «спешное, стремительное бегство из города. Все коломенские граждане, исключая немногих, рассеялись по городам, селениям и лесам». Из чиновников остался городничий Ф. А. Дашков, а из пастырей — священник И. Твердовский.

Сложившаяся в Коломне тревожная обстановка объясняет поведение учителя Назарьева, опекавшего губернских гимназистов. Видимо, прибыв в город, он направился, как ему было предписано Дружининым, в коломенское уездное училище, к заведующему Семёну Семёновичу Флоринскому. Остаётся неизвестным, находился ли Флоринский в училище или,

как многие, уже покинул город. Если встреча состоялась, то, скорее всего, педагоги приняли решение отправить детей-беженцев в более безопасное место — в Рязань. В случае же отсутствия Флоринского Назарьев пришёл к такому же выводу самостоятельно.

Точной информации о дате выезда обоза с гимназистами из Коломны не имеется, но известно, что они прибыли в Рязань 11 сентября. Расчёты показывают, что при движении со скоростью 20–25 вёрст в день расстояние в 80 вёрст до Рязани могло быть преодолено примерно за три дня. Присовокупим к ним время нахождения в заторе при переезде через Оку, где, по словам А. И. Кошелева, «была страшная давка, толкотня и ужасный беспорядок»; здесь пригодятся уточнения С. Н. Глинки: «от бесчисленного скопления повозок, карет, колясок, телег, кибиток, дрожжек иногда дожидались переправы по двое суток и более». В таком случае общая длительность этого грустного, по оценке Кошелева, «путешествия» могла составить не менее чем 4–5 дней. Следовательно, в Коломне Назарьев надолго не задержался, вещи не разгружались вовсе, и гимназисты отправились далее в изгнание не позже 8 сентября, проведя в городе одну или две ночи (в училище или на берегу Оки?).

Итак, 11 сентября «путешественники поневоле» добрались до Рязани и разместились в рязанской мужской гимназии, которой руководил Михаил Иванович Клечановский. К тому времени в городе уже находились учителя и воспитанники калужских учебных заведений — они прибыли в начале сентября согласно предписанию окружного попечителя Голенищева-Кутузова об эвакуации «со всеми вещами, гимназии принадлежащими», училищ Калужской и Тверской губернии «в случае опасности, могущей произойти от пришествия ... неприятеля». По ходатайству Клечановского, рязанский губернатор И. Я. Бухарин распорядился отвести калужанам «квартиры обывательские», а для складирования учебного имущества назначил «дом казённый». Всё это позволило Клечановскому 13 ноября в донесении попечителю сообщить, что никто из эвакуированных «никакого стеснения и нужды не имеет».

Не меньшую заботу проявил Клечановский и о московских гимназистах. И речь идёт не только о поселении их в гимназическом здании. Дело в том, что директор Дружинин, по понятным причинам не получив для гимназии «сентябрьскую треть» (т.е. казённые деньги на последние четыре месяца года), не смог выдать Назарьеву перед отъездом из Москвы достаточную сумму «на содержание» учеников. Сложность положения Назарьева осознавал и сам Дружинин, который, будучи в городе Вязники Владимирской губернии, отправил 14 сентября Клечановскому письмо следующего содержания: «Первого числа сего месяца отправил я надворного советника Назарьева с питомцами Московской губернской гимназии в Коломну, но по обстоятельствам судя, я полагаю, что они должны быть в Рязани. Покорнейше прошу, в случае надобности, сделать им всякое пособие и если потребуются деньги, снабдить их из училищной суммы, сколько им будет нужно, на счёт Московской губернской гимназии» (примечательно, что письмо с просьбой «призреть питомцев гимназии» Дружинин отправил и Флоринскому в Коломну). Не получив ответ, так как почтовая связь действовала с большим опозданием, Дружинин в письме 25 сентября Клечановскому из Нижнего Новгорода

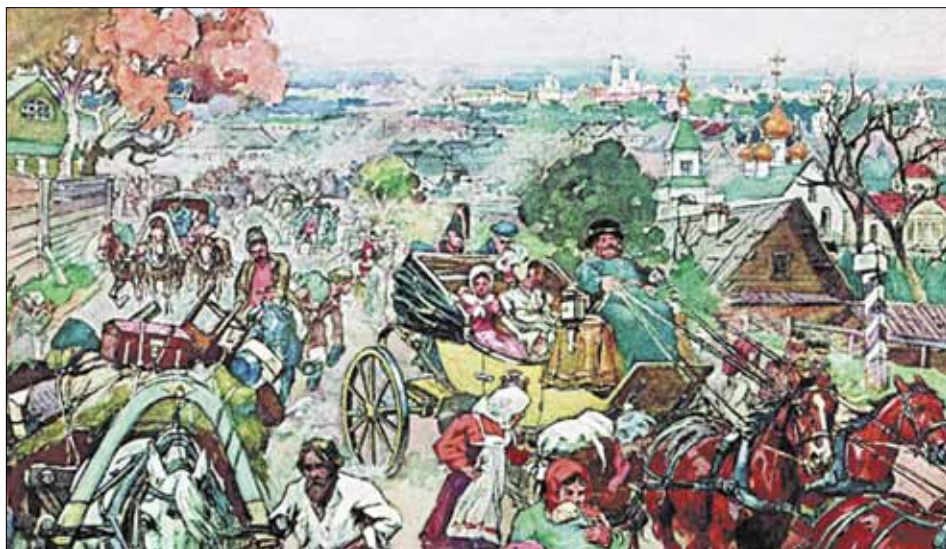


Здание Рязанской губернской мужской гимназии (фото конца XIX – начала XX вв.)

не только повторяет, но и детализирует свою просьбу: «Сим ещё прошу вас не оставить их в случае надобности, снабдив их всем, что будет им нужно, на счёт Московской губернской гимназии. Квартира может им отведена быть в новом гимназическом доме. На стол, по мнению моему, достаточно положить на каждого пять рублей в месяц, которые прошу вас выдавать г. Назарьеву ежемесячно с распискою. ... Впрочем, я всего ожидаю от вашего благоразумия и надеюсь, что если бы по обстоятельствам принуждены были следовать и далее, вы не оставите подать им руку помощи». Просьбу Дружинина поддержал, со своей стороны, и попечитель учебного округа.

В Рязань письма Дружинина были доставлены 12 октября (!), а 19-го Назарьев, у которого оставалось мало «наличной суммы», обратился к Клечановскому с рапортом, в котором сообщил, что нет «надежды вскоре получить нужные на содержание ... питомцев деньги, в чём скоро последует необходимая надобность». И поэтому «крайность» ситуации вынуждает его просить «о снабжении ... деньгами заимообразною выдачею на счёт Московской губернской гимназии из сумм, принадлежащих Рязанской, ... хотя на два месяца вперёд», до поступления денег от своего директора. В результате необходимую сумму 500 рублей Назарьев получил (Московская гимназия возвратила деньги Клечановскому в начале октября 1813 года).

Характеризуя пребывание Назарьева в Рязани, Клечановский писал попечителю, что «жил он здесь во всё время с питомцами в гимназическом доме, и ему со стороны моей оказываемо было всякое зависящее от меня вспомоществование и спокойствие». Но на самом деле не всё было так гладко. В начале октября губернатор отказал в выделении московским ученикам пособия, сославшись на отсутствие «на этот счёт ... распоряжений от своего начальства» (Клечановский, как известно,



Н.С. Самокиш. 1812 год. Жители оставляют Москву, 1912 г.

поступил иначе). А в одном из донесений Дружинину Назарьев сообщил, что «по причине великой стужи в тамошнем гимназическом доме жить почти невозможно». Поэтому директор приказал Назарьеву немедленно перебраться в Коломну (если у учеников «достаточно тёплой одежды») и там оставаться, пока не появится возможность возвращения в Москву. Такое решение Дружинина было вызвано не только заботой об учениках, но и обуславливалось благоприятной ситуацией на театре военных действий: к исходу октября армия Наполеона, оставив Москву и потерпев поражение под Малоярославцем, отступала по Старой смоленской дороге, что создало условия для реэвакуации покинувших Москву учреждений и жителей.

Отдадим должное Ключановскому: по его ходатайству рязанский губернатор предоставил «потребное число подвод до Коломны безденежно», а выданные ранее 500 рублей позволили Назарьеву не беспокоиться о содержании гимназистов. И в начале ноября они, в сопровождении учителя и слугителей, прибыли в Коломну и разместились в помещении уездного училища.

К середине месяца в Москву возвратился Дружинин, чтобы, по поручению ректора университета И.А. Гейма, определить состояние зданий и помещений университета и гимназии. Теперь он мог оказать реальную помощь своим пострадавшим питомцам: 28 ноября отправил в Коломну на двух подводах «тюфяки, подушки и разные другие вещи» для устройства спален. Но главное — Назарьеву было приказано «распределить питомцев гимназии по классам и позаботиться о возобновлении занятий». Если вдуматься, то намерение Дружинина возобновить учебный процесс для трёх десятков пансионеров превращало коломенское уездное училище в действующий филиал губернской гимназии, поскольку основное здание в Москве сгорело, учителя и ученики разъехались, а перспективы «открытия учения» в столице были весьма туманными.

Но реализация этого плана предполагала, во-первых, возвращение в классы учителей, а, во-вторых, обеспечение персонала жалованием, а учеников — содержанием за счёт казны, так как в условиях военной неразберихи ожидать платы от их родителей было бессмысленно. И если в финансировании гимназии Дружинин получил поддержку окружного попечителя и ректора, что позволило посылать в Коломну «довольно значительные суммы» целый год, то с «розысканием» учителей возникли немалые трудности. Получив 31 августа отпускные билеты, они покинули Москву, и место пребывания большинства было неизвестно. Поэтому Дружинин обратился в декабре к тем из них, с кем мог «без особенного труда сноситься»: к Л. А. Лейбрехту и А. Е. Добровольскому, предписав им отправиться в Коломну, «поместиться в здании уездного училища и немедленно приступить к учебным занятиям с пансионерами». А для того чтобы побудить уехавших педагогов вернуться на службу, в одном из февральских номеров газеты «Московские ведомости» в 1813 году было помещено объявление министра народного просвещения графа А. К. Разумовского, предписывающее «всем высшим и нижним чиновникам при университете, губернских гимназиях и уездных училищах по Московскому учебному округу немедленно явиться, без изъятия, к своим должностям, при каких кто состоит».

Сколько преподавателей откликнулись на это объявление, остаётся невыясненным, но далеко не все они располагали деньгами для возвращения в Москву. Так, упомянутый выше С. М. Ивашковский сообщил в марте 1813 года из Воронежской губернии, что «его из великодушия приютил тамошний помещик Татарчуков, и, лишившись в Москве всего имущества, он, за неимением средств, не может явиться». Как следствие, Лейбрехт и Добровольский оказались единственными учителями, кто приехал в Коломну к своим ученикам в начале 1813 года.

Однако приступить к занятиям сразу им не удалось вследствие того, что гимназисты, «наравне с другими обывателями, переболели жестокою горячкою, которая восприняла начало в тех местах, где многочисленные неприятельские войска без всякого порядка и присмотра проходили». В данном случае речь идёт об эпидемии тифа, охватившей как французскую и русскую армии, так и население прифронтовых территорий, в том числе Смоленской, Калужской, Рязанской губерний и западных уездов Московской. Видимо, не миновала эта беда и Коломну, но в заслугу опекавших пансионеров взрослых можно отнести отсутствие смертельных исходов среди заболевших детей благодаря заботливому уходу и своевременно принятым гигиеническим мерам.

Регулярная учёба началась лишь после выздоровления учеников. Можно не сомневаться, что, имея большой педагогический опыт, учителя организовали проведение уроков по отдельным классам и классным комнатам в рамках распорядка дня, заведённого в губернской гимназии. Что касается учебных дисциплин, то преподавание большинства из них обеспечили находящиеся в Коломне педагоги: Назарьев (математика, физика), Добровольский (география, история, статистика), Лейбрехт (латинский, немецкий и французский языки). Вполне возможно, позднее к ним присоединился и преподаватель русской словесности Ивашковский, которому 4 апреля 1813 года было объявлено о начислении жалования за семь месяцев, что позволяло оплатить дорогу из Воронежа к месту службы.



Здание Коломенского уездного училища (современный вид)

В таком виде занятия продолжались до конца 1813 года. А это означало, что гимназический пансион функционировал в Коломенском уездном училище как полноценное учебное подразделение: зимой и весной по расписанию шли уроки, с конца июня наступили летние вакации, и учащиеся разъехались по родительским домам, а в августе они вернулись в Коломну и возобновили учёбу.

Между тем директору Дружинину удалось сделать невозможное. Менее чем за год он подыскал и нанял в разорённой Москве подходящее здание для гимназии — большой дом купца Фридриха Ланга в Среднем кисловском переулке у Арбатских ворот (по воспоминаниям Погодина, в доме было «шесть комнат внизу — классы, вверху шесть комнат для учеников. По бокам — квартиры для учителей, комнаты по две»). Поехав в Петербург, Дружинин добился у Министерства просвещения ассигнования средств для ремонта помещений и приобретения учебного оборудования и инвентаря: классных досок, столов, кроватей, посуды.

К началу декабря комнаты в доме Ланга были приспособлены для учёбы и проживания, что позволило организовать переезд пансионеров из Коломны в Москву. И 16 декабря Дружинин с гордостью сообщил училищному комитету при Московском университете и о возвращении своих питомцев, и о том, что «учение в гимназии privately открыто». Спустя три недели, 8 января 1814 года, состоялся торжественный акт послевоенного открытия губернской гимназии. А Коломна навсегда вошла в историю Московского университета как место, где в 1812 году юные гимназисты получили спасение, кров и возможность учиться, несмотря на обрушившиеся на них испытания и невзгоды.



Евгений Львович Ломако родился 1 августа 1974 года в Коломне. Окончил технологический факультет Коломенского пединститута (ныне ГСГУ). Кандидат исторических наук. Лауреат Макариевской премии. С 2000 года — заведующий отделом историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль». Автор монографии «Русский провинциальный город екатерининской эпохи: Коломна второй половины XVIII века», ряда брошюр по истории города, путеводителей и наборов открыток, более ста статей в научных сборниках, федеральных и региональных журналах и альманахах, местных средствах массовой информации. Один из авторов и создателей электронной энциклопедии «Коломна», выдержавшей уже четыре выпуска. Награждён Почётным знаком «За отличие в труде», юбилейным знаком «Коломне 835 лет» и другими общественными медалями.

«КАРАУЛ, ГРАБЯТ!»

Тишину коломенской августовской ночи 1792 года прорезал мужской крик «Караул!». В благопристойном городе творилось что-то неладное...

Остановимся на минуту и задумаемся, а насколько благополучной была атмосфера Коломны в конце восемнадцатого столетия? Несомненно, облик города соответствовал той ведущей роли, которую он играл в экономической жизни губернии. В начале 1790-х годов улицы становились более прямыми, на них всё больше появлялось каменных домов. На торговых площадях, где стояли многочисленные лавки, уже начали вырисовываться контуры Гостиного двора. Вся жизнь стремилась к размеренности и регулярности, подчёркиваемой ровными участками дворов, по-новому распределяемых между горожанами. Но портрет городского общества дополнялся и иными персонажами, предпочитавшими несколько другие места, а именно многочисленные питейные дома и погреба. Здесь нередко задумывались тёмные дела, приводившие к отъёму праведно нажитого имущества добропорядочных граждан. К концу восемнадцатого века в Коломне насчитывалось тринадцать питейных домов, семь винных погребов и пять пивоварен. Названные питейные заведения и станут непререкаемыми «участниками» нашего рассказа.

Вернёмся же к ночи с 16 на 17 августа, когда по улицам Коломны в районе Гончаров (ориентиром ныне может служить Центр беспилотной авиации) бежали несколько человек. Одним из них был крестьянин Михаил Афанасьев из



села Петровского Бронницкой округи, проживавший в наёмном доме коломенского купца Петра Фёдорова Тулинова. В ту несчастливую ночь, возвращаясь из сада Тулинова, где он стерёг яблоки, крестьянин столкнулся с выходящими из его квартиры тремя личностями. В них Михаил Афанасьев признал коломенского мещанина Егора Иванова, дворового человека Василия Сергеева, находящегося в услужении у коломенского именитого гражданина Ивана Мещанинова, и солдатскую жену Дарью. Схватив Василия за кафтан, крестьянин Афанасьев праздновал уже победу, но тот, скинув одежду, пустился вместе с сообщниками наутёк. Компанию колоритному коллективу

«лёгкоатлетов» составила жена Михаила — Афимья Савельева, находившаяся, как выяснилось впоследствии, в состоянии алкогольного опьянения.

292

ЕВГЕНИЙ ЛОМАКО

Чуть позже станет известно, что из разломанного сундука крестьян пропало имущество на сто шесть рублей двадцать пять копеек: девяносто четыре рубля (восемьдесят семь рублей серебряной монетой, пять рублей государственной ассигнацией и два рубля медной монетой) и вещей на двенадцать рублей двадцать пять копеек. Среди украденного значились: одна понёва (*юбка*) деревенская в девяносто пять копеек; две женские рубашки холстинные в два рубля; четыре аршина синей крашенины (*крашеный холст*) в шестьдесят копеек; скроенная женская рубаха холщовая в рубль; шестнадцать аршин ровной холстины в рубль в шестьдесят копеек; восемь с половиной аршин ровной холстины в восемьдесят пять копеек; одни скроенные порты холщовые в двадцать копеек; четыре небольших лоскута белой холстины в сорок копеек; одна шуба нагольная деревенского покроя старая в два рубля; семнадцать фунтов чёрной шерсти в два рубля пятьдесят пять копеек; одна деревенская сорока (*головной убор*) в десять копеек.

Преследуемые вбежали во двор мещанина Авраама Маскарина и исчезли из виду. Увидев, что дом заперт, супруги Афанасьевы стали шуметь, а Афимья, разломав окно в светёлке, влезла в жилище. Мещанская жена Арина Маскарина утверждала в дальнейшем, что когда в четыре часа ночи её разбудил крик на дворе, она проснулась и, засветив свечу, сошла в сени. Там она увидела упомянутую крестьянку и жительствующую у неё солдатскую жену Дарью, а, отворив двери, и Афанасьева, который вошёл в такой азарт, что перечить ему было страшно. Он ударил по щеке Дарью и разразился руганью в адрес её и Маскариной, которая, видя такую ситуацию, безропотно отворила свой сундук, где, как предполагал Михаил, лежали ворованные вещи. Михаил Афанасьев и его жена вытащили из

сундука Маскариной вещи, которые они объявили своими. Мещанка же утверждала, что имущество её.

Всё это происходило на глазах достаточно многочисленных зрителей — не спавших в ту ночь коломенцев. Среди них были живший неподалёку купец Лазарь Иванов Фильчугин, сотский Пётр Саврасов, работник купца Василия Фёдорова Шкарина крестьянин Антон Фёдоров (из села Старая Рязань), дворовые люди Мещаниновых. Сотский и работник купца выполняли общественные дела: Пётр Саврасов обходил дозором свой участок, Антон дежурил в караульной будке; дворовый же человек Ларион Аникимов, находящийся в услужении у капитана Ивана Ивановича Мещанинова, нёс охранные функции — дежурил в конюшне при доме Мещанинова.

Сотский Пётр Саврасов и караульный работник Антон Фёдоров, собрав разбросанные вещи, отнесли их на съезжий двор. В ходе последующих допросов выяснились интересные детали. Дом мещан Маскариных напоминал коммунальную квартиру, где комнаты сдавались в наём солдатским жёнам Дарье Афанасьевой, Анне Афанасьевой, мещанину Егору Иванову. При этом одиннадцатилетняя дочь солдатской жены Дарьи Афанасьевой Аграфена утверждала, что 16 августа в дом Маскариной приходил дворовый человек Василий, пивший вино с крестьянской женой Афимьей Савельевой. Сама же Маскарина не могла сказать, кто приходил в её дом 16 августа, потому что была у брата своего, купца Семёна Филипова, от которого вернулась часа за два до заката, а затем в сумерках провожала свою сестру Афимью Филипову (жену мещанина Кондратя Меркулова) с малолетней дочерью.

Арина Маскарина тоже очень убедительно доказывала принадлежность вещей. Так, понёву она взяла в заклад под тридцать копеек от солдатки Марины, работавшей на кожевенном заводе Мещанинова; одна рубаха принадлежала солдатке Дарье Афанасьевой, а другая — её умершей свекрови, купецкой жене Алёне Андреевой; четыре аршина крашенины — солдатки Анны Афанасьевой; деревенская сорока была отдана мужу Маскариной в залог в одной копейке с половиною, когда он был служителем при коломенских питейных сборах в Ямском питейном доме; прочие предметы были обозначены как её собственные.

Пока разворачивалась пружина следствия, дворовый человек Василий и солдатская жена Дарья скрылись. А пятидесятилетний мещанин Егор Иванов представил в свою защиту алиби, которое можно охарактеризовать не иначе, как похождения одного коломенского пьяницы. Он 16 августа нанёс визит купцу Семёну Тупицыну, где, выпив два стакана браги, отправился в питейный дом, называемый Разгуляевским. Пробыв в обозначенном заведении около двух часов за стаканом вина за пять копеек, Егор Иванов после вечерни зашёл на полтора часа к знакомому священнику Воздвиженской церкви Алексею Степанову, а затем к дьячку того же храма Кондратию Алексееву, у которого хотел снять в наём покои. После заката, прогулявшись по берегу Москвы-реки, мещанин через Пятницкие ворота прошёл до Косых ворот и зашёл в питейный дом Коломенский, в котором уже горела свеча. В подтверждение своих слов Егор сослался на сержанта Евдокима Иванова и сотского Петра Малахова. В питейном заведении он провёл примерно полтора часа в душевной компании, которую и угостил за свой счёт. Вино и полпива были поднесены приказным Коломенского нижнего земского суда Василию Соколову и Фёдору Никитскому, городнического правления Петру Заозёрскому, пономарю

Архангельской церкви Алексею Кондратьеву и коломенскому купцу Якову Ильину. Уже утром, будучи в изрядном подпитии, Егор Иванов и Яков Ильин, воспользовавшись предложением пономаря Кондратьева, отправились к нему спать. На рассвете все трое пошли на торг, где и расстались.

К слову сказать, опрос свидетелей мещанским старостой Казаковым показал, что Иванов и Маскарина были замечены в постоянном пьянстве. Более того, в 1787 году Егор Иванов вместе с мещанами Иваном Васильевым и Сергеем Струковым оказался замешанным в краже у крестьян села Климова Бронницкой округи трёх лошадей. Избежать же наказания за содеянное им помогла амнистия, объявленная манифестом по случаю двадцатипятилетия царствования Екатерины II.

В итоге почти четырёхмесячного разбирательства Коломенского магистрата при содействии городничего было вынесено достаточно пространное решение. Мещанин Егор Иванов за недостаточностью улик был оправдан, но за пьянство был определён в смиренный дом на шесть месяцев с содержанием за счёт мещанского общества с последующей компенсацией затраченных средств. Маскариной были возвращены все взятые у неё вещи, а показания относительно её пьянства посчитали неубедительными, поскольку они прозвучали впервые. Крестьяне Афанасьевы и сотский Саврасов были обязаны подпиской о недопущении в дальнейшем самовольных обысков.

В те же августовские дни, но неделей позже, в ночь с 23 на 24 августа у рядового карантинной заставы Архипа Густелева, проживавшего в доме коломенской мещанской жены Афимьи Черниковой, были украдены его пожитки. Среди них оказались деньги в количестве 21 рубль 40 копеек, вырученные за проданное по поручению майора Василия Степановича Васильева железо разным обывателям, а также рубашка с портами в рубль двадцать копеек; два платка (один бумажный новый в шестьдесят копеек, другой холщовый в двадцать восемь копеек); четыре галстука (власной в пятнадцать копеек и три холщовых в тридцать копеек); перчатки замшевые новые в семьдесят копеек; белильные щётки в шесть копеек; черенок мраморный в сорок копеек; два клубка ниток белых в пятнадцать копеек; зелёного сукна два лоскута в тридцать пять копеек.

Подозрение пало на двадцативосьмилетнего зятя Черниковой Кондратия Слонова, который был взят под стражу и в ходе допроса изложил свою версию событий. 23 августа он пришёл домой пьяным и, поскольку тёща и его жена, Катерина Семёновна, не впустили его в дом, отправился спать на сенницу. Около часа ночи к нему присоединился Густелев. Кондратий, озябнув за ночь, перед благовестом в соборе решил проникнуть в дом. Открыв с огорода окно в тёплые комнаты, он забрался в жилище и во время благовеста пустил туда и Густелева. Рядовой, войдя в свою комнату, стал кричать и требовать огня, потому что в его комнате оказался беспорядок. В ходе разбирательства выяснилось, что Кондратий Слонов, вследствие несостоятельности по выплате векселей, был на год отдан в работу коломенскому купцу Даниле Аленову. В конечном итоге Слонова освободили от следствия и по освобождении из-под стражи отдали купцу Аленову под расписку.

Несколько по-иному разворачивались события по делу, заявленному 1 июля 1792 года крестьянской вдовой Афимией Евстигнеевой из экономической подмонастырской Нижней Слободы Серпуховской округи. Крестьянке достался дом в Коломне после смерти её отца, коломенского



купца Евстигнея Ферапонтова Юрьева. Во время оформления Афимией паспорта в Серпухове из светёлки были украдены вещи на тринадцать рублей двадцать копеек: поношенные китайчатые шубейки (одна на заячем меху, другая — на овчине) каждая по пять рублей; старая китайчатая шубейка на овчине в один рубль; старый камчатный полушубок на лисьем меху в два рубля; замок железный всякий в двадцать копеек.

Довольно быстро удалось задержать пятидесятилетнюю жену коломенского мещанина Петра Петрова Старкова Акулину, проживавшую в приходе церкви Симеона Богоприимца. При её допросе выявилась масса интересных и колоритных деталей. Майским вечером, перед вечерним благовестом, в питейном доме Облупа Старкова распивала вино с крестьянином из Рязанской округи Гаврилой Максимовым и пахотным солдатом из города Михайлова Козьмой Наумовым Гробовым. По выходе из заведения Максимов предложил ограбить дом Евстигнеевой. После достигнутого согласия Старкова пошла на Торговую площадь, а затем к ночи вернулась в пустую каменную избу умершего купца Чермнова близ Облупы. Около трёх часов ночи к ней присоединились сообщники и, распив вина, все пошли к неизвестному дому, находящемуся около двора коломенского купца Ивана Канина. Акулина осталась снаружи, а Максимов и Наумов, отперев замок, вошли в дом. Через час злоумышленники показали с двумя мешками и, отдав Старковой две шубы и полушубок, исчезли в неизвестном направлении.

Вернувшись к Облупе, Акулина Старкова сбросила добычу в яму в пустой каменной палатке и, зайдя в питейный дом, купила на двадцать копеек вина. Выйдя опьянённой из заведения, она уснула рядом с награбленными вещами. Утром загул мещанки продолжился. Дойдя до Кузнецкого питейного дома, она заложила жене служителя шубейку и полушубок, а затем пила вино. При допросе двадцатидвухлетней жены коломенского купца Ивана Петрова Соколова Афимьи Агаповой оказалось, что полушубок был куплен ею у Старковой за два рубля при выходе из Кузнецкого питейного дома. Сама мещанка при этом утверждала, что полушубок был прислан ей сыном из Москвы. Вторая шубейка стала залогом коломенскому ме-



щанину Родиону Фёдорову Попову (он проходит и как купец) из прихода Алексеевской церкви под один штоф вина и тридцать копеек. Вино было распито сразу на крыльце вместе с солдаткой Прасковьей Алимпиевой и с её дочерью Марфой Григорьевой — женой отставного солдата Козьмы Елисеева Юсова. Старкова встретила Прасковью, когда та шла с Торговой площади в Гончары к себе на квартиру, нанятую у коломенского мещанина Бориса Сергеева. Родион Попов со своей стороны свидетельствовал о ссуживании Старковой помимо вина сорока четырёх копеек в течение двух дней. На третий день Акулина пришла к нему перед обеденным благовестом и, отдав восемьдесят копеек, забрала шубейку обратно.

В ходе следствия был найден и пятидесятилетний михайловский пахотный солдат Козьма Гробов, проживавший в Коломне с давних пор и добывавший себе пропитание изготовлением свечей и печением хлеба. Паспорта, данного когда-то ему Михайловским уездным казначейством, при нём не оказалось. Показания Акулины Старковой на него он полностью отрицал, сознавшись только в пьянстве в течение последних пяти лет.

Параллельно Старкова давала показания и о других найденных при ней вещах: двух мотках пряжи в тридцать копеек, одних русских варежек в десять копеек, одном полотенце в восемь копеек и затулке в пять копеек. Сначала мещанка показала о краже вещей, висевших на шесте на улице, в селе Белые Колодези Коломенской округи у неизвестного крестьянина дней с пять назад. Но затем Старкова призналась, что была пьяна и не упомнит, где украла пожитки.

Итогом разбирательства стал посыл Акулины Старковой через Московское губернское правление в Московский рабочий дом для отработки стоимости украденных вещей. Козьму Гробова отослали в Рязанское наместническое правление, чтобы там с ним было учинено разбирательство по законам. Купца Родиона Попова и служительскую жену Афимью Агапову признали невиновными, поскольку они не знали, что вещи были ворованными.

Среди лиц, совершавших правонарушения, находились и малолетние. Такова история разбирательства по заявлению коломенского ямщика Семёна Карпова Толстикова о краже 16 декабря 1791 года в его отсутствие из

сундука, стоящего в его каменном подвале, ста сорока рублей (пятьдесят рублей двадцатипятирублёвыми ассигнациями, сорок рублей — десятирублёвыми, двадцать пять рублей — пятирублёвыми, а также десятирублёвым империадом и пятнадцать рублей серебряной монетой). Грабителем Семён Толстиков считал жительствовавшего у него работника, тринадцатилетнего коломенского мещанина Степана Иванова Шкарина. Подозрение усиливалось тем, что именно 16 декабря Шкарин купил новые голубой кафтан, нагольную шубу и полушёлковую рубаху, а также разменял империад у коломенского купца Василия Николаева Тулинова.

И здесь дело принимает интересный оборот. Степан Шкарин утверждал, что покупки он делал на украденные им три года назад семьдесят рублей у коломенского купца Макара Голубина, у которого более года он был сидельцем в лавке масляного ряда. Десять рублей были разменены на империад у неизвестного ему крестьянина, а шестьдесят рублей обращены в покупки. В этой части показаний проглядывает ребёнок, так как мы узнаём, что тридцать три рубля были потрачены на покупку разного лакомства: мёда, орехов и прочего. Остальные двадцать семь рублей ушли на приобретение одежды. Помимо вышперечисленных обновок, Шкарин курил шапку, портки и один коломенковый кушак.

Описание процесса покупок предоставляет нам возможность прогуляться по коломенскому торгу. Так, овчинная шуба и плисовая шапка были приобретены у коломенского ямщика Галактиона, содержащего лавку в москательном ряду; синий суконный кафтан — у ямщика Иуды Толстикова; кушак — у коломенского купца Семёна Тулинова; рубашка с портками — в том же москательном ряду в лавке, стоящей близ лавки купца Лариона Посникова по левую сторону.

Чтобы подтвердить сказанное, были опрошены указанные торговцы, показавшие следующее. Коломенский ямщик Иуда Толстиков действительно продал коломенскому мещанину Степану Шкарину синий суконный кафтан. Ямщик же Галактион оказался в бегах, о чём свидетельствовало и явочное прошение от его отца. Купец Семён Николаев Тулинов продал Шкарину коломянку для кушака; торгующие же в Коломне в красном ряду по обе стороны лавки купца Лариона Посникова Давыд Матвеев Шерапов и Лазарь Петров Крахин отрицали покупки у них, причём Крахин уточнил, что свою лавку, стоявшую пустой, он нанял в 1792 году.

Степан Шкарин также утверждал, что об утаённых при счёте товара у купца Толстикова и его жена Нелида Карпова знали. Сам же Голубин взял со Шкарина вексель на пятьдесят рублей, забрав в счёт оставшихся двадцати рублей шубу овчинную, чёрную плисовую шапку, кушак шерстяной и кожаные рукавицы. Толстиковы отрицали слова Шкарина и указывали на отсутствие у них в доме суконного синего кафтана, полушёлковой рубашки с портками, кушака и бархатной шапки.

После обстоятельных опросов всех свидетелей и изучения поданных справок был сделан вывод о невозможности доказать кражу Шкариным денег через пролом в подвале дома Толстикова. Учитывая возраст мещанина и совершённый им поступок в отношении купца Голубина, было решено наказать его розгами и отдать в общество.

Все представленные дела велись при непосредственном участии городничего надворного советника Василькова и членов Коломенского городского

магистрата: бургомистров Дементия Шерапова и Евстрата Лахонина, ратманов Ивана Тулинова, Максима Бочарникова, Сергея Попова и Алексея Ильина и секретаря Ивана Свешникова. Можно отметить строгое следование букве законов и тщательное изучение всех обстоятельств произошедшего. Благодаря этому, перед нами встают реалии прошедшей жизни, позволяя наполнить красками давно ушедшее и сделать его более близким и понятным для нас.

В очерке использованы материалы дела № 433 «Книга протоколов заседаний Коломенского городского магистрата за 1792 г.» из фондового собрания МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Взгляни-ка из-за каменной ограды —
старинный град по-вешнему хорош,
и вишнями цветут сады Посада,
и ты, как зачарованный, идёшь!

И слышатся шаги в сопровожденье:
былых времён ожившие виденья...

Опять звучат забытые молитвы,
звонят стихов напевные слова...
И вспомнятся: Гиляров у Никиты
и звонница у храма Рождества.

Посад парит ахматовскою розой,
ветвями яблонь наскоро одет...
— Скорее в путь, пока ещё не поздно,
пока не облетел весенний цвет!

Роман Славацкий

Нашему другу, Евгению Ломако, исполнилось 45 лет!

Это не совсем «круглый» юбилей, но мы всё же решили поздравить Евгения Львовича, поскольку он — человек нам не чужой. Не раз его увлекательные повествования о прошлом Коломны украшали страницы нашего альманаха. Больше того — за одну из таких публикаций он удостоен Лажечниковской премии!

Здесь проявляется многогранность его исследовательского таланта. С одной стороны, можно вспомнить монументальную монографию по коломенскому XVIII веку. Но тут же приходят на ум научно-популярные статьи, и, конечно же, путеводители по кремлю и Посаду. Настоящий музейщик, он может сделать занимательной любую экскурсию, в том числе — опубликованную в издательстве.

Дорогой Евгений Львович! Пусть Ваши путешествия в Историю продолжаются снова и снова! Из таких странствий ведь и складывается то, что мы называем Душой Города!

Коллектив редакции



Татьяна Константиновна Залата родилась в Москве. Окончила детскую музыкальную школу № 60 имени Б.А. Чайковского по классу фортепиано.

С 2008 года начала интересоваться историей деревни Буньково Ступинского района, а затем и историей территорий нынешних Коломенского и Ступинского районов Московской области, также занялась популяризацией знаний об истории этих местностей в сети Интернет.

В 2012 году награждена Юбилейным Кульмским крестом «В ознаменование 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года и заграничных походов Русской Императорской армии в 1813–1814 гг.»

В 2015 году занималась подготовкой списка воинов — участников Великой Отечественной войны, используемого в оформлении памятника, установленного силами меценатов в деревне Хомутово Ступинского района в память 70-летней годовщины Победы.

Живёт в Москве, но часто бывает в Коломне.

ШУТКА БАЛАКИРЕВА

Настоящая легенда будет жить вечно — в этом и состоит секрет любой исторической загадки. Она будет казаться нереальной, будет ускользающей красивой неправдой, в которой всё равно будет присутствовать доля правды. Очень похоже на шутку, не правда ли?

Личность шута Петра I Ивана Алексеевича Балакирева (1699–1763) очень часто ассоциируют с остротами и анекдотичными ситуациями. И несмотря на то, что эта личность известна каждому, она окутана тайнами — многие факты о биографии шута Балакирева, к сожалению, история утаила.

Одна из таких тайн — вопрос о месте рождения Ивана Балакирева. И как раз в связи с этим вопросом на сцену выходит не Балакирев, а Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев (1794–1849) — писатель и поэт, дворянин и помещик Коломенского уезда и, возможно, один из первых коломенских краеведов.

Именно он в 1843–1844 годах издал своё сочинение «Прогулка по древнему Коломенскому уезду», явившееся крупным краеведческим очерком, увлекающим читателя по пути «выслеженного» Иванчиным-Писарем Шубинского тракта, а также по наиболее примечательным древним и памятным местностям уезда.

И вот на страницах «Прогулок по древнему Коломенскому уезду» при описании села Троицкого (Голощёлово) неожиданно всплывает информация, которая звучит, по меньшей мере, как сенсация: «Близ самой усадьбы Тро-



*Храм Троицы Живоначальной
в Голочёлове (1752 г.).
Фото из личного архива автора.*

ицкого находится деревня Балакировка, где родился известный остряк, развлекавший Петра Великого в дни его царственных забот, знаменитый Балакирев»¹.

Таким образом, согласно сведениям Н. Д. Иванчина-Писарева, шут Петра I Иван Балакирев родился в Коломенском уезде в некоей деревне Балакировке, находившейся в непосредственной близости от села Троицкого (Голочёлото).

Однако столь интересный факт, описанный Н. Д. Иванчиным-Писаревым, вызывает немало

вопросов, поскольку ни один письменный источник (книги, различные печатные и периодические издания) больше не утверждает, что родина И. А. Балакирева — Коломенский уезд. Кроме того, также на страницах различных справочников, в статистических изданиях, книгах, документах по межеванию и даже на старинных картах (не говоря уже о современных) не встречается деревня Балакировка в округе села Голочёлото. Единственная карта, зафиксировавшая существование Балакировки в непосредственной близости от села Голочёлото — топонимическая карта окрестностей села Голочёлото, составленная советским краеведом К. В. Кожемякиным, во многом повторяющая описания из книги Н. Д. Иванчина-Писарева.

Таким образом, на первый взгляд кажется, что высказывание автора «Прогулок по древнему Коломенскому уезду» о родине известного остряка звучит, по меньшей мере, необоснованно.

Н. Д. Иванчин-Писарев собирал данные из разных источников, хотя, к сожалению, не поместил ссылки на письменные источники, что затрудняет возможность проверки указанных им данных. Тем не менее, по прочтении книги становится ясно, что автор использовал не только письменные источники, но и рассказы местных жителей о тех или иных событиях и явлениях.

Так, непосредственно перед записью о рождении Ивана Балакирева он пишет о 105-летнем священнике, живущем в Троицком-Голочёлото, который уже не служит, но ещё в полной бодрости и *сохранивший память*². Вполне возможно, что именно от священника или от кого-то из местных жителей Иванчин-Писарев и узнал о Балакировке и о некоем Ба-

¹ Прогулка по древнему Коломенскому уезду / Соч. Николая Иванчина-Писарева. — Москва: Август Семён, 1843 (обл. 1844) — С. 53).

² Там же. С. 52, 53.

Фрагмент генерального плана села
Голощёлово и деревни Хомутово (ЦГА
г. Москвы. Ф. 210. Оп. 50. Д. 2601).

лакиреве, который имел к ней отношение.

Кстати говоря, вследствие резко возросшей популярности шута Балакирева в 1830-х годах, которая во многом была спровоцирована развлекательными изданиями с «анекдотами Балакирева», на звание родины царского остряка, ставшего всенародным любимцем, претендует также посёлок Балакирево Владимирской области. Потому и высказывание Иванчина-Писарева в книге, изданной на волне этой популярности, о том, что Иван Балакирев появился на свет под Коломной, кажется на первый взгляд если и не выдумкой, то заблуждением, основанным на следовании моде тех лет.

И если информация о месте рождения Ваньки Балакиря (так его прозвали в народе) носит практически легендарный характер, то о месте его смерти известно, что скончался он в уездном городе Касимове. Уже после смерти Петра Балакирев поступил в штат придворных шутов при императрице Анне Иоанновне (между прочим, официально он был шутом лишь у неё при дворе). Так пишет об этом времени И. И. Лажечников в романе «Ледяной дом»:

«Старик Балакирев — кто не знал его при великом образователе России? — дошучивает ныне сквозь слёзы свою жизнь между счастливыми соперниками. Он играет теперь второстепенную роль; он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в загоне, остроумен только тогда, когда случается побранить их. И как не жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранцы шуты, Лакоста и Педрилло, отличены какими-то значками в петлице, под именем ордена Бенедетто, собственно для них учреждённого. А он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в двадцатых годах. Вообще все эти шуты не прежних времён; фарсы их натянуты, тупы, и как быть им иначе под палкою или, что ещё хуже, грозным взором Бирона? Остроумие — дитя беззаботного веселия».

Незадолго до смерти Балакирев уехал в своё касимовское имение. «Царь касимовский» — этим титулом Балакирев обязан путешествию по Оке, во время которого, проплывая мимо уездного города Касимова, Иван Алексеевич попросил у Петра Великого позволения именоваться касимовским ханом, поскольку Касимовского ханства давно уже не существовало. Он умер там же, в Касимове, где и был похоронен — за алтарём церкви Богоявления Господня (Георгиевской).





*Храм Троицы Живоначальной в Голочёлове (1752 г.).
Фото из личного архива автора.*

Возвращаясь к сообщению Н. Д. Иванчина-Писарева о рождении Балакирева в коломенском селении Балакиревка, кажется, и не существовавшем никогда, можно было бы думать, что это следствие ошибочных сведений, полученных от местных жителей (мог же 105-летний священник что-то запамätовать или напутать), или вовсе плод фантазии автора, но факты, добытые из некоторых источников, в том числе архивных, говорят о том, что селение Балакиревка в округе села Троицкого-Голочѣлово действительно существовало. Однако прежними остаются вопросы о том, действительно ли шут Балакирев родился в этом селении и были ли в принципе дворяне (бояре) Балакиревы связаны с Коломенским уездом.

В «Писцовых книгах Московского государства XVI века» (составлены в 1577–1578 годах, изданы Н. Калачовым в 1873 году) действительно упоминается боярин Климентий Иванов сын Балакирев, за которым было «отца его поместье» в Похрянском стане Коломенского уезда — полдервни Стрелковой с прудцом, «а в ней рыба караси. Другая половина деревни принадлежала Ивану Иванову сыну Бабину³. Вероятно, отцом Климентия Балакирева был Иван Андреевич Балакирев, участвовавший в качестве воеводы в Казанском походе в 1544 году⁴.

Но искомая Балакиревка находилась в северо-западной части Коломенского уезда — в Маковском стане, названном так по местности Маковец, центром которой и было село Голочѣлово с храмом, в некоторых источ-

³ Писцовые книги Московского государства: [В 2-х т.] / под ред. действительного члена Н. В. Калачова. — Санкт-Петербург: издание Императорского русского географического общества, 1877. — Том 1. — С. 483.

⁴ Бобринский, А. А. Дворянские роды, внесѣнные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: [В 2-х т.] / Сост. гр. Александр Бобринский. — СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1890. — Том 1. — С. 651.

никах так и именовавшимся — Троицы в Маковце⁵. А деревня Стрелково Похрянского стана находилась в совершенно другом месте.

К тому же род Балакиревых насчитывает несколько ветвей, и считается, что шут Балакирев принадлежал к костромской ветви рода, а род Климентия Балакирева стал так называемой белгородской ветвью.

В документах XVI века, а именно в «Сотной с Коломенской книги письма кн. Андрея Ив. Елецкого с товарищей лета 7069, в Коломенском уезде» упоминается селище Балакирево в поле у деревни Волшевское. Учитывая то, что сотница посвящена «волостям Высоким», то есть Высоцкой волости (окрест современного города Егорьевска), которая располагалась на востоке уезда, можно предположить, что данное селище Балакирево не может являться той деревней Балакиревкой, о которой писал Н. Д. Иванчин-Писарев.

Но о чём же говорят те немногие источники, которые прямо указывают на селение Балакирево (или Балакиревку) близ Троицкого-Голочёлово?

Одно из прямых подтверждений существования селения (или существования такого топонима) — упоминание о Балакиревке в издании Центрального Статистического комитета «Волости и важнейшие селения Европейской России» от 1886 года:

«Голочалово (Балакирево, Руднёвка), с.б.г., при рч. Нудовке, дв. 14, ж. 85; ц. пр., лvk».

Также и в указателе к данному изданию приводится селение «Балакирево».

Можно предположить по характеру записи из издания Центрального Статистического комитета, что «Балакирево» в данном случае — либо часть села Голочёлово, либо одно из его наименований. Второе наименование — «Руднёвка» — предположительно указывает на северную часть современного села Голочёлово, которая ещё в XVIII веке фигурировала в различных источниках как «Роднёво, Гольнёво тож». Своё название это селение, вероятно, получило по речке Гольнёвке (в некоторых источниках именующейся как Руднёвка), на которой оно и стояло.

У сельца Роднёво (Гольнёво тож) были другие владельцы: если соседним Троицким, составившим с Роднёвом практически единый населённый пункт, в разные годы владели старинные роды Хлоповых, Татищевых, Бутурлиных, то Роднёво принадлежало дворянам Михайловым (во второй четверти XVIII в. Настасье Гавриловне Михайловой — жене титулярного советника Андрея Михайловича)⁶. Известно, что у них была дочь Аграфена Андреевна, которая состояла замужем за надворным советником и епифановским уездным казначеем, отставным секунд-майором И. Я. Колобковым.

Интересная деталь: на вышеупомянутой карте краеведа К. В. Кожемякина Балакиревка обозначена именно в том месте, где находилось Роднёво (Гольнёво тож).

Но самое интересное и ценное из обнаруженных на сегодняшний день упоминаний о Балакирево Коломенской округи содержится в архивном документе Центрального государственного архива города Москвы — «Поселённых ведомостях по крестьянскому хозяйству и быту по Глебовской волости Коломенского уезда» (сформированы после 1861 года). Таблицы

⁵ ЦГА г. Москвы. Ф. 210. Оп. 50. Д. 2601

⁶ Кусов, В. С. Земли Московской губернии в XVIII веке. Карты уездов. Описание землевладений [Текст] / Кусов В. С.— Москва: Московия, 2004.— Том 2.— С. 39.

поселённых ведомостей заполнялись самими крестьянскими обществами и представлялись в земство. Таблицы представляли собой опросник по разным пунктам хозяйственной жизни селения, в том числе по вопросам состояния крестьянского хозяйства до реформы 1861 года.

Таким образом, информация, представленная в «Поселённых ведомостях», исходила непосредственно от самих местных жителей.

Именно в этом архивном документе не только упоминается деревня Балакировка но ещё и обосновывается респондентами, почему она называется именно так.

На титульном листе опросника указано, что он представляется от Голочёловского крестьянского общества, само селение при этом указано как «Балакировка (Голочёлово)». Там же, на титульном листе, обозначено, что крестьяне — полные собственники этой земли, а затем возле названия «Балакировка», карандашом приписана следующая фраза:

«По барыне, ибо она была Балакирева. Ещё 55 лет назад отпустила, была престарелая, сродников не было — со всей землёй»⁷.

Таким образом, не ранее 1816 года (рассчитано с учётом фактов, зафиксированных в «Поселённых ведомостях» и косвенно свидетельствующих о том, что по селу Балакирево они могли быть составлены строго после 1872 года) крестьяне Балакировки были отпущены на волю помещицей Балакиревой.

Косвенно этот факт также может подтверждать запись о селе Голочёлово, сделанная в издании К. Нистрема от 1852 года «Указатель селений Московской губернии», где показано, что селом владеют и Сергей Петрович Бутурлин (владелец села Троицкого), и государство⁸ — зачастую вольноотпущенные крестьяне переходили во владение государства.

В «Поселённых ведомостях» приводится информация о том, что крестьяне Балакировки нанимали у Бутурлина землю для покоса в лесу.

Также в документе отмечается, что дворов в Балакировке насчитывалось четырнадцать (в тринадцати землю обрабатывали и в одном — не обрабатывали), земельный надел всего составлял 86 десятин, «а душ 36, а 5 исключено и стало 31, а на волю отходили было 16 д. (видимо, душ — *Залата Т. К.*)»⁹. В составе населения значились также двое безземельных: один бобыль и один солдат.

Указывается, что до 1861 года сады были у каждого двора, но яблони посохли (очевидно, к моменту составления «Поселённых ведомостей»).

Крестьянское общество выплачивало выкупные платежи, по всей видимости, государству как своему «помещику». Для их уплаты общество занимало под процент на оплату податей 50 рублей у человека, который «на нашей земле (то есть земле селения Балакирево — *Залата Т. К.*) держал питейное заведение»¹⁰. В те времена такие займы достаточно часто практиковались среди крестьян, так как, несмотря на процесс

⁷ ЦГА г. Москвы. Ф 184. Оп. 10. Д. 2075л. 5.

⁸ Указатель селений и жителей уездов Московской губернии / Сост. по офиц. сведениям и документам К. Нистремом.— Москва: тип. Введом. Моск. гор. Полиции, 1852.— С. 526.

⁹ ЦГА Москвы, ф. 184 оп. 10 д. 2075— Л. 9.

¹⁰ ЦГА Москвы, ф. 184 оп. 10 д. 2075. Л. 11.

*Борис Васильевич Шведов —
владелец ткацкой фабрики в деревне
Хомутово. На фото с женой Пелагеей
Васильевной и детьми. Фото
из личного архива И. Л. Волковой*



освобождения из крепостной зависимости, на их плечах лежали обязательства по уплате выкупных платежей, налогов и различных регулярных выплат, например, жалования сельскому старосте (20 рублей), церковному старосте (2 рубля), церковному сторожу (2 рубля). Расходы общины составляли и плату пастуху (42 рубля), и найм быка (3 рубля).

Всё в тех же «Поселённых ведомостях» указано, что в Балакиревке были трактир и лавочка на церковной земле¹¹.

На заработки из деревни уходило не так много людей: шесть были портными под Москвой, один был печником, также были сапожники и фабричные рабочие.

Женщины в Балакиревке брали на дом станы и работу бумаготкацкой фабрики И. Д. Шведова в соседней деревне Хомутово (фабрика основана в 1872 году), на которой производили сарпинку¹². По данным на 1883 год, ежемесячная заработная плата у ткачих составляла 3 рубля 30 копеек, малолетние получали 1 рубль 20 копеек. Причём часть работников всё же работала не на дому, а в здании фабрики, представлявшем собой избу, так называемую «светёлку», находившуюся, очевидно, неподалёку от речки Руднёвки. Всё в тех же «Поселённых ведомостях» уже крестьяне деревни Хомутово записали, что «один фабрику ткацкую имеет на Алёшинск. (Алёшинском овраге?) работают своя фабрика есть и девки на станах работают по деревням»¹³ (орфография автора сохранена).

Также при Троицком храме села Голочёлово работала церковно-приходская школа, которую посещали не только ребята из Балакирево (Голочёлово), но и из окрестных селений: Ламоново, Хомутово, Буньково, Скрябино, Лаптево¹⁴. Школа была основана 10 октября 1886 года и на-

¹¹ Там же.

¹² Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарный / Т. Е. М. Дементьев. — Москва: издание Московского губернского земства, 1885. — Том 3, вып. 13, — С. 22.

¹³ ЦГА г. Москвы. Ф. 184. Оп. 10. д. 2075. Л. 57.

¹⁴ Список училищ, существующих и проектируемых, по волостям и уездам Московской губернии по данным за 1902 год [Текст]: приложение к докладу Управы по народному образованию экстренной сессии Губернского собрания / Московское губернское земство. — Москва: Товарищество скоропечати А. А. Левенсон, 1903. — С. 102.



*Портрет шута Балакирева
(1699 – 1763). Неизвестный автор.
Из экспонатов Путевого дворца
в Стрельне.*

ходила в отдельном от церкви здании. Попечителями школы в конце 1880-х — начале 1890-х годов были временные московские купцы Иван Филиппович Савостьянов и Сергей Фёдорович Мосолов¹⁵.

По данным «Поселённых ведомостей», грамотных взрослых крестьян в Балакиревке было совсем немного — четырнадцать мужчин из тридцати шести душ. При этом староста Балакиревки сам был неграмотен.

А вот учащихся в школе из Балакирево на момент составления «Поселённых ведомостей» было совсем немного: четыре дьячка и четыре дворовых¹⁶.

306

Поскольку дата составления «Поселённых ведомостей» точно не установлена (благодаря информации о заводе Шведова в Хомутово есть все основания полагать, что они появились не раньше 1872 года), сложно утверждать наверняка, обучались ли описанные «четыре дьячка и четыре дворовых» уже в церковно-приходской школе или их просто обучал священник на дому. Таким образом, на основании «Поселённых ведомостей» можно утверждать, что деревня Балакирево при селе Троицком-Голочёллово, упомянутая Н. Д. Иванчиным-Писаревым, не была мифической и, более того, принадлежала некой «барыне Балакиревой». Более того, благодаря этому источнику можно составить довольно чёткое представление о быте крестьян Балакиревки, полученное из первых уст ещё во второй половине XIX века.

Тем не менее, вопрос о месте рождения Ивана Алексеевича Балакирева по-прежнему остаётся открытым, пока не будут обнаружены дополнительные письменные подтверждения. Был ли это Коломенский уезд — об этом история пока молчит и ставит многоточие, оставляя место для преданий и легенд. Но, может быть, и шутка перестанет быть шуткой, когда будет получен ответ на этот вопрос?

¹⁵ Отчёт епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ московской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1889–1890 учебный год./ Московский епархиальный наблюдатель школ А. Италинский.— Москва: типо-литография И. Ефимова, 1900.— С. 62, 63.

¹⁶ ЦГА г. Москвы. Ф. 184. Оп. 10. Д. 2075. Л. 5.



Лилия Нисоновна Соза родилась в Коломне. В 1993 году окончила исторический факультет Коломенского педагогического института. С 1998 года работает в КГПИ (ныне Государственном социально-гуманитарном университете), где последовательно занимала должности старшего лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Коломна как тип уездного промышленного города второй трети XIX – начала XX века». В настоящее время — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ. Кандидат исторических наук.

Лилия Нисоновна Соза — лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года, автор 38 научных и научно-методических работ. Среди них — монография «Пореформенная Коломна: на пути к промышленному городу» (2012).

«...ПЛОТНИК СУПРОТИВ СТОЛЯРА...»

(ремесленники пореформенной Коломны)

В литературе народов мира (былинах, сказках, баснях, рассказах, повестях и др.) зачастую присутствуют персонажи, владеющие разнообразными ремесленными специальностями. Напомним самых известных: Никиту Кожемяку из русского эпоса, портных, пекарей и башмачников из сказок братьев Гримм и Шарля Перро, кузнеца Викулу из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». И в былые времена, и сегодня понятия «ремесло» и «ремесленник» ассоциируются с городской жизнью, которая не может обойтись без сапожников, столяров, плотников, портных, кузнецов, слесарей, булочников и прочих. Продукция перечисленных ремесленных специальностей всегда была востребована горожанами, поскольку отвечала спросу с точки зрения приемлемых цены и качества изделия. И главное, во все времена в общественном производстве ремесло являлось весьма чувствительным элементом, реагирующим на перемены в повседневной жизни населения как столичных, так и провинциальных городов.

Изменения в российском обществе, вызванные реформами 60–70-х годов XIX века, в частности отменой крепостного права 1861 года, способствовали бурному развитию промышленности и торговли, а также формированию у экономически активной части населения новых требований к качеству жизни



«Сапожник», Б. Кустодиев, 1924 г.

и быта. Эти явления не обошли стороной и Коломну как важный торгово-промышленного центра Московской губернии. Поэтому за пореформенные полвека именно в ремесле зримо проявились увядание старых и появление новых специальностей, степень живучести его отдельных отраслей в условиях конкуренции с фабричным производством.

Известный статистик В. Орлов, обследовавший подмосковные города в 1880 году, отмечал: «Значительная часть городского населения получает средства от занятия торговлей; кроме того, благодаря особенностям город-

ской жизни, для известной части городского населения не малым источником доходности является промысел, обыкновенно называемый предложением личных услуг». В Коломне и других городах губернии традиционно ремёслами занимались не только мещане, но и крестьяне, поменявшие место жительства и сферу труда в целях получения большего заработка.

Во второй половине XIX века в Коломне в зависимости от конъюнктуры рынка товаров и услуг возрастало количество горожан-ремесленников как в целом, так и в отдельных специальностях. Если в 1866 году полицейской статистикой было учтено 944 ремесленника, включая мастеров, рабочих и учеников (6% населения), то к 1871 году их число увеличилось вдвое, составив 2060 человек (10%). Стагнация в российской индустрии середины 1880-х годов, отразившаяся негативно на состоянии и коломенской промышленности, повлияла на ремесленное производство, вызвав увеличение количества ремесленников до 2660 чел. (13% населения), которые частично восполнили недостаток промышленной продукции, предназначенной для массового потребления. Напротив, промышленный подъём, отмечавшийся в России со второй половины 1890-х годов и развившийся в Коломне в развитии крупных фабричных заведений, стал причиной сокращения лиц, занятых в ремесле. К исходу первого десятилетия XX века ремесленников насчитывалось 1950 человек (9% населения).

Ремесленные занятия населения Коломны были многообразны и насчитывали около 70 специальностей, связанных с изготовлением «предметов пищи, одежды и домохозяйства».

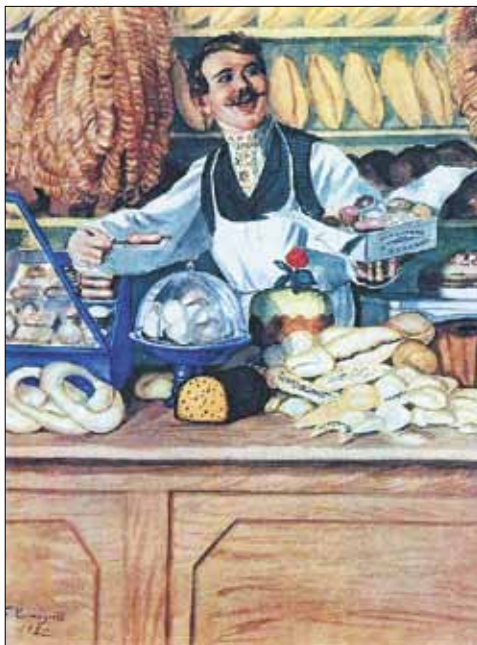
К ремесленникам, изготавливавшим «предметы пищи», традиционно относили мясников, колбасников, поваров, квасников, калачников, саечников, бараночников, хлебников (готовили хлеб из ржаной муки), булочников (выпекали хлеб из пшеничной муки), кондитеров (конфет-

«Булочник», Б. Кустодиев, 1920.

чики или сладники (приготовляли лакомства), пирожников (пекли и торговали пирогами). На протяжении второй половины XIX века происходят изменения в соотношении хлебников и булочников. И если в 1871 году их общее число составило 22 мастера, среди которых наблюдается абсолютное преобладание хлебников — 18 (81,8%), то в дальнейшем устойчивой становится тенденция сокращения числа хлебников и, наоборот, увеличения числа булочников. Так, в 1877 году в городе насчитывалось 17 хлебников и 7 булочников. В начале XX века количество хлебников (15 мастеров) и булочников (13 мастеров) почти сравнялись. Столь выраженное падение числа хлебников и возрастание числа булочников объясняется расширением спроса на высококачественный белый хлеб (один из показателей растущей платёжеспособности населения), а также разнообразием ассортимента продукции мастеров-булочников. В Коломне наиболее крупными хлебопекарнями, пользующимися популярностью у горожан, являлись заведения А. С. Нестерова, И. Н. Чипилева, Е. Е. Пенькова и Н. В. Вязева на Астраханской улице, П. В. Галишникова на Каширской улице, А. Л. Вдовиной на Спасской улице, в которых вместе с хозяевами трудилось от 7 до 12 рабочих.

Интересна судьба калачного производства. Если калач традиционно выделяли как продукт самого высокого качества, то в условиях большей доступности других изделий из белой муки калач теряет особость. Тем более что его начинают успешно выпекать булочники, и узкие специалисты-калачники терпят убыток. Поэтому неудивительно, что кратковременное увеличение числа калачников к концу 70-х годов XIX века до 15 мастеров сменилось к 1884 году их заметным сокращением до 3 мастеров и минимальным присутствием на рынке в 1909 году. Примерно то же происходит в производстве баранок и саяк. Одновременно наблюдалось увеличение ремесленников-пирожников, предлагавших разнообразный ассортимент пирогов (с двух мастеров в 1897 году до четырёх в 1909 году).

При хлебопекарнях владельцами зачастую устраивались магазины, торговавшие хлебобулочными изделиями. Так, при заведении купца А. С. Нестерова его сын С. Ф. Нестеров вёл торговлю хлебом с оборотом 30 тыс. рублей; торговое заведение мещанки А. Л. Вдовиной с оборотом 15 тыс. рублей предлагало печёный хлеб; на Владимирской улице можно было приобрести калачи крестьян А. П. Митина и Е. Ф. Пенькова.





Коломенский листок объявлений, 1915
(С.И. Самошин. Путешествие в старую Коломну. Коломна, 2007)

С годами возрастала потребность в кондитерских изделиях — конфетах, сахарных яствах, лакомствах. Отметим, что кондитеры были только в крупных уездных городах — Серпухове и Коломне (здесь в начале XX века действовало 5 кондитерских). Излюбленным стало заведение «кондитера-кухмейстера» П. П. Шведова на Пятницкой улице, где можно было приобрести различные сласти. Рекламируя своё заведение в одном из номеров «Коломенского листка объявлений», кухмейстер указывал, что он «принимает заказы на балльные и поминальные обеды по умеренным ценам».

Рост потребления готовой мясной продукции способствовал пятикратному увеличению числа колбасников: с одного до пяти мастеров за 1877–1909 годы. Как следствие, это привело к повышению спроса на исходное сырьё и расширению мясного производства. Примечательно, что колбасные заведения во второй половине XIX века были лишь в крупных промышленных центрах губернии — Коломне и Серпухове, в остальных городах представители этой профессии появились только в начале XX века. Владелец самого известного в Коломне колбасного заведения мещанин Н. В. Равинский активно рекламировал свою продукцию, предлагая в собственном магазине приобрести «ветчину копчёную и варёную, фаршированные колбасы и сыры разных сортов, русское и парижское масло». В торговой точке имелось отделение гастрономических, колониальных, фруктовых и кондитерских товаров.

Быстрый рост населения Коломны во второй половине XIX — начале XX веков повлёк за собой увеличение (в 2,7 раза) числа мастеров, занятых изготовлением предметов одежды — портных, модисток (мастериц



Счет торгового заведения (ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 21. Д. 450. Л. 165)



Счет торгового заведения (ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 21. Д. 450. Л. 40)

женских головных уборов, белья и платья), сапожников, башмачников, шляпников и картузников. По мнению историка П. Г. Рындзюнского, «этот род деятельности дольше оставался на стадии ремесла, так как здесь могла широко применяться надомная работа, и хотя «зависимость от крупных торговых фирм в больших городах распространялась на периферии, всё же шитьё одежды не испытывало такого давления капиталистического производства».

На 80-е годы XIX века пришёлся своеобразный пик числа портных, когда при 47 мастерах числилось 158 рабочих и 83 ученика. Однако в конце XIX века в магазинах Коломны развернулась продажа готовой одежды, изготовленной на московских фабриках. В такой торговле ведущим был магазин (мастерская) мужской и женской одежды Д. Хаушпигель с годовым оборотом до 20 тысяч рублей, осуществлявший продажу сезонной одежды, а также предлагавший для приёма заказов «большой выбор материалов». Развитие магазинной торговли готовым платьем привело к падению спроса на аналогичные изделия местных кустарей и, как следствие, к значительному (в 1,6 раза) сокращению количества портных. Тем не менее, население по-прежнему пользовалось продукцией самых известных в Коломне портновских мастерских: Н. Ф. Абрамовско-го, С. Ф. Кирсанова, Я. Д. Галызина, М. Н. Буянова и других. Владелец одной из них, крестьянин Зарайского уезда Н. Ф. Абрамовский, имел на Алексеевской улице магазин, где принимал заказы на верхнее дамское, мужское и форменное платье.

Очевидно, что любая одежда, особенно из дорогих тканей, требовала ухода, что обусловило появление химической чистки одежды и ремеслен-



«Модистки», Эдгар Дега, 1882 г.

312 ников-«пятновыводчиков». В начале XX века в Коломне в этом ремесле было занято четыре мастера. Наибольшей популярностью пользовалась красильня Н. С. Филимонова на Владимирской улице, предлагавшая «специально-химическую чистку платья по усовершенствованному способу, отпарку плюшевых и бархатных вещей в распоротом и целом виде».

Традиционно потребности горожан в обуви удовлетворяла продукция ремесленников — башмачников и сапожников. Во второй половине XIX века мелких производств по пошиву обуви увеличилось в 2,5 раза и в начале XX века составило около 50 заведений. Крупные сапожные мастерские принадлежали П. П. Перову на Пятницкой улице, А. П. Перову на Семёновской улице, И. М. Чикулаеву на Москворецкой улице, А. Ф. Игнатову на Репинском овраге. Большинство сапожников-ремесленников трудилось самостоятельно, редко прибегая к помощи работников, что свидетельствовало о сохранении мелкотоварной основы изготовления обуви.

На некоторые виды ремесленного производства серьёзное влияние оказывали веяния моды. Речь идёт в первую очередь о модистках, которые изготавливали женские головные уборы, женское бельё и платья простых фасонов, передники, чепцы. Большинство из них выполняли работу самостоятельно, а у некоторых мастериц со временем появлялись работницы и ученицы — обычно 1–4 человека. Горожанки зачастую обращались в заведения модисток М. М. Черниковой и А. Ф. Волковой на Семёновской улице, Л. И. Бабаевой на Вознесенской улице, А. С. Фоминой на Алексеевской улице и других.

Новые веяния моды сказались на судьбе ремесленников, изготавливавших мужские головные уборы — картузы. В моду в начале XX века уверенно входили мягкие фетровые шляпы, канотье, котелки, кепи и фуражки,

производившиеся фабричным способом. Поэтому неудивительно, что продукция картузников в полной мере не была востребована, и со временем это привело к разорению части мастеров в 2,5 раза: с двадцати пяти в 1882 году до десяти человек в 1909 году.

Коломна как крупнейший город Московской губернии с постоянно растущим числом населения не могла обойтись без ремесленников, которые оказывали услуги по строительству и ремонту зданий (жилых, производственных, общественных) и поддержанию в рабочем состоянии их отопительных систем, изготовлению мебели и других предметов быта. К мастерам, занимавшимся изготовлением предметов домашнего хозяйства, относили специалистов 28 профессий. Среди них в разные годы значились печники, трубочисты, слесари, столяры, плотники, мебельщики, маляры, стекольщики, конопатчики, красильщики, штукатуры, обручники, мыловары, каретники, бондари, лудильщики и другие.

Размах строительных работ в 1870–1880-х годах определялся, главным образом, интенсивностью сооружения фабричных помещений и жилья для приглашённых специалистов и рабочих. Частные дома продолжали строить и городские обыватели, и «новые горожане» (крестьяне). В итоге возрастала потребность в строителях-кровельщиках, кузнецах, плотниках, столярах, штукатурах, малярах, стекольщиках, печниках, обойщиках, конопатчиках, красильщиках. Так, кровельное дело находилось в руках трёх мастеров с 35 рабочими и 8 учениками; устройством печей занимались восемь мастеров с 24 рабочими и 7 учениками; плотницкие работы выполняли семь специалистов с 238 рабочими и 40 учениками. В дальнейшем с расширением строительных работ к исходу первого десятилетия XX века востребованность в квалифицированных мастерах ещё больше увеличивалась. Из 28 подрядчиков плотницких работ с наибольшим числом рабочих (20–35 человек) выделялись А. Г. Адамов, Е. А. Перетокин, М. П. Чугунов, Ф. К. Гусев.

Говоря о печниках, следует упомянуть, что ранее они не только выкладывали печи, но и следили за их состоянием, выполняя функции трубочистов. Кладку печей производили И. М. Шаров, Г. Д. Мешков, М. К. Бирюков и В. С. Ананьев. Со временем эксплуатация наряду с одноэтажными значительного числа двух- и трёхэтажных домов обусловила появление в Коломне мастеров-трубочистов.

Обустройство внутренних помещений домов не могло обойтись и без столярных работ (по определению В. И. Даля, столяр — ремесленник, занимающийся обработкой дерева, более тонкой и тщательной, чем плотник; белодеревщик, краснодеревец). В начале XX века в городе насчитывалось 15 столярных мастерских с 22 рабочими и 7 учениками. В знаменитой повести А. П. Чехова «Каштанка» автор как типичную описал мастерскую столяра Луки Александровича: «У столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками». Сам герой очень гордился своим занятием и считал, что столяр — это более важная профессия, чем плотник.

Стремление состоятельных горожан сделать комфортным интерьер своих домов объясняет стабильную потребность в мебельщиках (на рубеже XIX–XX веков постоянно учитывались 3–4 мастера) и полотёрах.



«Кузница»,
Л. Плеханов, 1845 г.

Примечательно, что в небольших уездных городах губернии — Рузе, Волоколамске, Верее, Звенигороде, Можайске — мебельщиков не было.

Развитие промышленности и торговли, рост населения способствовали переходу к общедоступному внутригородскому транспорту на конной тяге. В распоряжении владельцев транспорта общего пользования имелись следующие виды экипажей: кареты, ландо на резиновом ходу, шарабаны на резиновом и железном ходу, пролётки и экипажи на железном ходу, линейки, тарантасы,

тележки, дрожки. Поэтому в Коломне широко распространилось каретное дело (изготовление и ремонт экипажей), увеличилось количество обрубников, колесников, рессорщиков, тележников. Тележные мастерские принадлежали на Астраханской улице И. И. Кулагину, на Кузнецкой улице — В. П. Каштанову и И. Н. Куликову, и другим. Среди колёсных мастерских значимым было заведение А. И. Гусева на Астраханской улице, где, кроме владельца, трудилось семь работников.

Традиционным для Коломны оставался кузнечный промысел. Несмотря на его сокращение в начале XX века, продукция кузнецов была всегда востребованной. Большинство мастерских находилось на Кузнецкой и Каширской улицах и принадлежали И. И., А. И. и И. Г. Кулагиным, Н. И. Грязнову и другим. Однако кузнечные заведения доставляли большие неудобства горожанам. Так, жители Каширской и Поповской улиц жаловались в Городскую управу на две кузницы, от которых «кроме порчи воздуха, приносился и материальный убыток окружающим домам, так как смрад от кузниц проникал через окна и портил внутреннюю окраску, мебель, садился на крыши, от чего они быстро ржавели». В связи с этим управа воспретила устройство новых кузниц в центральных частях города; мастерские же «давних времён» получили право остаться на прежнем месте, но с условием возведения при них дымовых труб высотой 3 аршина над кузницей. Одновременно была запрещена ковка лошадей на тротуарах и улицах Коломны.

Отвечая веяниям времени, важную роль в городе приобрела сфера бытовых услуг, что повлекло за собой расширение «старых» и появление новых технически сложных ремёсел, рассчитанных на обеспеченных людей и индивидуальные заказы. Приведём ряд примеров. В начале XX века на центральной Астраханской улице появились велосипедные мастерские-магазины И. Н. Бугарева (ремонт занимался владелец с сыновьями)

«Столярная мастерская»,
Л. Плеханов, 1845 г.

и С. В. Поллера. Н. И. Бугарев в «Коломенском листке объявлений» за 1915 год широко рекламировал свой товар, зазывая покупателей следующим образом: «Не забудьте зайти в мой магазин, личное посещение наглядно ознакомит Вас с большим запасом и выбором моих велосипедов “Люкс”, за которые мною получены высшие награды в России, Франции и Италии». Предлагал велосипеды и магазин С. В. Поллера, где, согласно рекламе, продавались «лучшие велосипеды в мире по изяществу и лёгкости “Энфильд”, “Гумбер” и “Дукс”»; здесь же размещалась и велосипедная мастерская.



Рост доходов горожан, стремление их к демонстрации своего достатка и статуса способствовали увеличению спроса на часы как зримый признак благополучия. Это способствовало появлению в 1880-х годах мастерских, занимавшихся ремонтом часовых механизмов. В начале XX века насчитывалось уже шесть квалифицированных специалистов в этой сфере. Ремонт часов производили мастерские Н. М. Кормера, С. В. Поллера, Н. Ф. Ремпе и других, располагавшиеся на Астраханской улице. Самый востребованным в городе было часовое заведение Н. М. Кормера. В донесении пристава города Коломны уездному исправнику о евреях, проживающих в городе в 1891 году, указывалось, что часовщик Н. М. Кормер «работает сам лично, имеет двоих рабочих; имеет свидетельство и действительно занимается своим ремеслом». Хотя в городе, говорилось в документе, «имелись русские часовщики Зуборев и Иванов, но к коим имелось мало доверия», большинство жителей обращалось к Кормеру как «имеющему порядочный магазин и добросовестно выполняющему работы».

Коломна входила в число четырёх городов губернии, где трудились золотых и серебряных дел мастера — ювелиры — элита ремесленной корпорации. В Коломне они появляются в начале 80-х годов XIX века (три мастера), и в дальнейшем спрос на их услуги не уменьшался. К сожалению, архивы донесли до нас фамилию лишь одного из них — мастера Б. Я. Вакса.

Постоянно возрастала потребность в изготовлении фотографий, переплётных и литографических работах (литография — печатание с плоской поверхности камня, на которой сделан рисунок; предприятие, где печатают таким способом). С конца XIX века количество мастерских и мастеров, занятых в этих промыслах, постоянно возрастало. В первом десятилетии XX века фотографией занималось шесть, переплётным делом — пять, ли-



*Бланк фотозаведения
А.Б. Тембурского*



*Бланк фотозаведения
М.П. Бортняевой*

тографией — пять мастеров. Популярностью пользовались типолитографии купца А. Б. Тембурского, мещанина Л. Н. Кулагина, почтового чиновника Л. М. Белоусова. Занимались они изготовлением конторских книг для различных предприятий, печатанием реклам и объявлений.

316

Примечательно, что фотографические мастерские (в отличие от переплётных и литографических, встречавшихся в конце XIX века во многих уездных городах) имелись только в Коломне и Серпухове. В Коломне этим видом деятельности занимались А. Б. Тембурский, М. П. Бортняева (затем владельцем был её сын — И. И. Бортняев), Е. М. Мартьянов, И. Епифанов и другие. В «Коломенском листке объявлений» в марте 1915 года Е. М. Мартьянов извещал своих клиентов о том, что состав его служащих был увеличен, «а потому и работа будет выполнена без задержек с прежним изяществом».

Повышенное внимание к своему внешнему виду у состоятельной части населения, деловых людей, служащих предприятий, чиновников, молодёжи, местной интеллигенции привело в конце XIX века к увеличению спроса на парикмахерские услуги и появлению узких специалистов по женским и мужским стрижкам и причёскам — парикмахеров. До этого указанные услуги предоставляли исключительно цирюльники, которые, помимо выполнения стрижек и бритья бород, занимались кровопусканием и удалением зубов. В начале XX века парикмахерские располагались на Астраханской (владельцы Н. С., А. С. и Н. Н. Соколовы), Полянской (владелец Е. А. Воынская) и Владимирской улицах (владелец Ф. Н. Соколов). Примечательно, что в конце XIX века парикмахеров не было в Звенигороде, Волоколамске, Верее, Можайске, Клину.

На рубеже XIX и XX веков в Коломне как крупном православном городе Московской губернии имелись иконописные мастерские, которыми владели И. Г. Щербаков, А. Т. Быков, В. А. Битков, Р. М. и Н. Р. Михайловы. Они располагались, соответственно, на Борисоглебской, Никольской, Москворецкой и Троицкой улицах.



Таким образом, во второй половине XIX — начале XX века в Коломне в условиях интенсивно развивающейся крупной промышленности ремесленным производством занималась значительная часть горожан, в первую очередь мещане и пришлые крестьяне. Для них оно служило источником устойчивого заработка, продолжением семейных традиций, а для крестьян — способом вхождения в число горожан. Несомненно, ремесло приспособлялось к меняющимся потребностям жителей, что способствовало появлению новых видов профессий и, как следствие, расширению ассортимента услуг.

И сегодня, спустя столетие, Коломна сохранила всю палитру уважаемых и столь необходимых горожанам ремесленных специальностей — пекарей, кондитеров, парикмахеров, слесарей, плотников, кузнецов, печников, столяров, сапожников, портных, скорняков, часовщиков, фотографов, ювелиров, специалистов по ремонту автомашин и бытовой техники и т.д.

УХОД ПАТРИАРХА



Сергей Тимофеевич Циркин оставил нас маститым старцем, совсем недавно встретив своё 85-летие. После Сорогина и Абакумова он был «третьим столпом» коломенской живописной школы. Его манера, открывающая красоту нашего края через таинственное жемчужное мерцание красок — узнаваема и неповторима.

Общественное признание отметило его труды многими званиями: заслуженный художник России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, Почётный гражданин Коломенского района...

«Коломенский альманах» не раз украшался его произведениями. И вот сегодня приходится говорить слова прощания... Отзвучала панихида под высокими сводами Коломенского Елеона — Вознесенской церкви на Посаде, и земная оболочка художника ушла «в путь всея земли».

Но остались его холсты и память о нём — такая же бессмертная, как и его душа!

Коллектив редакции

ПАМЯТИ ЦИРКИНА

*Сиротствует пейзаж, почувствовав утрату,
Сиротствуют поля, притихшие теперь...
Художник не дождался поздней жатвы,
И вот — ушёл от нас, закрыв тихонько дверь...*

*Струится свет картин таинственным разливом,
Задумчивы снега на скошенном лугу,
И вьюгою поёт заснеженная жнива,
И летний вечер свеж на тёмном берегу.*

*Осенние крыла наш край укроют отчий,
И свет осеребрит поникшую траву,
И звёздный небосвод в ночи раскроет очи,
И некий скрытый Смысл забрезжит наяву.*

*Пройдёт за годом год, пути людей итожа...
Они теперь вдвоём: бессмертье и художник.*

Евгений Захарченко



Сергей Сергеевич Михайлов родился в Москве в 1970 году. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, где учился на кафедре этнологии исторического факультета. Автор книг по истории и культуре старообрядчества восточной части Московской области. С 1992 года изучает историю ассирийцев, проживающих в Москве и других городах России. В 2015 году в соавторстве с В. Фарисом выпустил книгу «Ассирийцы на новой родине».

Автор 240 научных и научно-популярных публикаций. Член Союза писателей России с 2014 года.

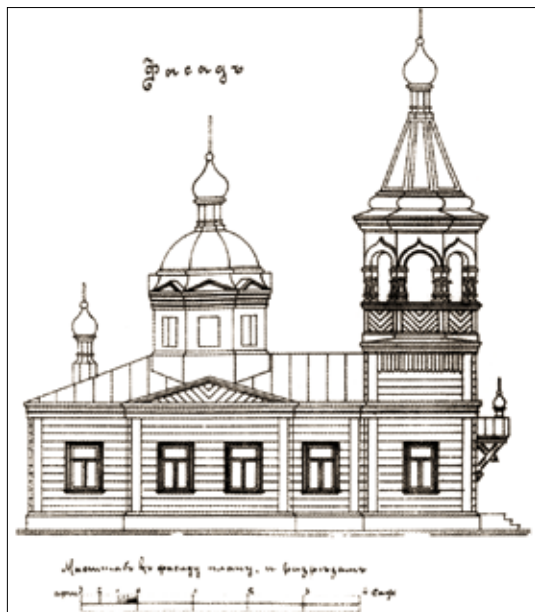
КОЛОМНА СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ

Раскол русского Православия оставил глубочайший след в истории Отечества. В Коломне, древнем духовным центре Московии, он отозвался не менее болезненно и значимо. Какие тайны скрывает летопись коломенских староверов? До сих пор эти загадки, к сожалению, не привлекали пристального внимания историков.

Старообрядчество сразу же после церковного раскола, возникшего по причине реформы Патриарха Никона, с 1654 года разделено на два основных течения: приемлющих и не приемлющих священство (поповцы и беспоповцы).

У каждого из этих направлений свои истоки. У поповцев — в виде кружка «ревнителей благочестия», у беспоповцев — духовного движения так называемых «лесных старцев», наследников более раннего нестяжательства. Эти направления, особенно беспоповское, разделились на относительно большое число толков (по-старообрядчески — согласий).

В Коломне, по крайней мере в XIX столетии, по источникам, известны два согласия: беспоповское федосеевское (по имени основателя — Феодосия Васильева) и поповское рогожское, или белокриницкое. Оба указанных течения утвердились в Коломне после 1771 года, когда на окраинах Москвы появились Преображенское (беспоповское, прежде всего федосеевское) и Рогожское (поповское) кладбища, на которых сразу же возникли духовные центры всероссийского масштаба.



Северный фасад нового деревянного старообрядческого храма во имя Рождества Богородицы. Архитектор Н. Г. Мартьянов. Из архивного дела об утверждении чертежей московским губернским правлением. (ЦГА Москва)

Их руководство стало вести весьма активную работу по окрестным регионам, создавая подведомственные общины.

Мы догадываемся, опираясь на немалое число изученных исторических свидетельств, что до этого периода коломенское старообрядчество было несколько иным, нежели

тем, которое существовало здесь позже. Здесь присутствовали совсем иные согласия.

Рогожане поначалу принимали беглое духовенство, которое распределяли по подопечным общинам, а в 1840-х годах посланным на христианский Восток агентам удалось заполучить заштатного митрополита Амвросия, который был перевезён на территорию тогдашней Австрии, в Буковину, где в старообрядческом местечке Белая Криница и переведён в старую веру. Отсюда и название, которое с тех пор укрепилось за рогожским согласием — белокриницкое. Оппоненты рогожан часто называют его «австрийским». От Амвросия пошла новая старообрядческая иерархия, священство которой и ставилось на подведомственным Рогожскому кладбищу приходам, в том числе и находившемуся в Коломне.

Коломну XIX — начала XX веков ни в коем случае нельзя называть «старообрядческим городом». Здесь существовали общины старообрядцев разных течений. Однако, если судить по официальным данным, когда в Коломне проживало не менее двадцати тысяч жителей (1897 год), число всех ревнителей Древлего Благочестия было лишь несколько сотен человек. Даже если в реальности властями цифра жителей-старообрядцев была занижена (скорее всего, по опыту изучения данного вопроса, максимум раза в два–два с половиной), они составляли не более четырёх-пяти процентов от общего числа живущих в городе. Тем не менее, старообрядцы — часть городской истории, городской культуры Коломны, без которой невозможно полноценно рассматривать общую картину.

На деле, мест, связанных с историей старообрядчества в Коломне, достаточно много, однако немалая часть из них уже ничем ныне неприемчательна. В городе есть некоторое число уголков, с которыми связана тема истории староверия. Где-то мы можем увидеть здания, которые так или иначе связаны со старообрядческими обществами, где-то они не

сохранились, а где-то вообще неизвестно, к примеру, в каком здании находилась старообрядческая богадельня. Старообрядцы также обитали и в селениях, которые вошли в состав Коломны в XX веке. Тема эта весьма обширна и на данный момент пока ещё толком не копана.

Если вы захотели совершить небольшой экскурс, посвящённый истории старообрядчества Коломны, то начать стоит с территории кремля. Прежде всего, учитывая важный исторический момент ухода в оппозицию реформатору Никону Коломенского епископа Павла, единственного из всех русских архиереев того времени, кто решился на соборе в 1654 году открыто заявить о своём несогласии, надо обратить внимание на прежний Архиерейский двор. Он с 1799 года стал Ново-Голутвиным монастырём. Пусть даже пребывание епископа Павла на этом месте — лишь маленький эпизод многовековой истории, здесь уместно упомянуть и об этом церковном деятеле.

Вблизи Архиерейского двора находится замечательный храм Воскресения, существующий ныне в редакции XVIII столетия, но история святыни восходит к XIV веку: когда-то храм был домовою церковью при коломенском дворе московских великих князей.

Так вот, до 1713 года здесь служил фигурант одного из следственных дел — священник Яков Семёнов. Он имел в городе репутацию сторонника старого обряда. Благодаря этому бывшим коломенским посадским человеком Михайлом Губиным, сделавшим, как бы мы сейчас сказали, неплохую карьеру в Москве, отец Яков был вывезен в первопрестольную для окормления богатых старообрядцев. Мы не знаем, был ли указанный пастырь на тот момент единственным священником Коломны, кто тайком окормлял городских сторонников старого обряда. Но, по крайней мере, часть таких горожан держалась Воскресенского храма и служащего в нём указанного пастыря. Вообще-то, в тот период истории, всего несколько десятилетий спустя после церковного раскола, во многих уголках Центральной и Северной России «крип্তостарообрядчество» было распространено весьма широко, и деятельность коломенского священника Якова Семёнова не была чем-то уникальным.

Из кремля мы перенесёмся через реку Коломенку, в часть Старого города, известную под именем «Запруды», т.е. бывшую Запрудную слободу. В 1770-х годах в Запрудной слободе дед писателя Лажечникова, Илья Акимович Ложечников «со товарищи», построили новую деревянную церковь. Они безуспешно пытались, говоря современным языком, легализовать новый деревянный храм, сделав его именно старообрядческим. При храме планировалось устроить и отдельное кладбище для погребения старообрядцев, исключительно жителей Запрудной слободы. В этой слободе, в приходе церкви Бориса и Глеба, в то время проживало достаточно большое число старообрядцев, среди которых числилось немало богатых купцов. Одним из последних был и Илья Ложечников, потомки которого уже писались с другой буквой в фамилии и, как мы видим по знаменитому внуку-писателю, старообрядцами не были.

Попытка запруденских староверов устроить официальный старообрядческий приход не увенчалась успехом. Местное общество, как мы видим по сохранившимся описаниям несостоявшегося храма, относилось к приемлющим священство. Но в публикациях, основанных на материалах дела, посвящённого Ложечникову и другим участникам описанной попытки, вовсе не упоминается существовавшее к тому времени уже несколько лет (с 1771 года) московское Рогожское кладбище, претендовавшее в то время

на лидерство во всём поповском старообрядческом мире. Да и никакой связи между запруденскими поповцами и известными по более позднему периоду в других частях города с Рогожским центром мы не видим. Следовательно, речь здесь шла о каком-то другом течении поповщины, которое, по крайней мере в городе Коломне, вскоре после 1770-х годов быстро растворилось в среде адептов обычного Православия.

Впоследствии Запрудная слобода уже не фигурировала как район города, связанный со староверами. Коломенские духовные центры последних, известные нам по XIX столетию и позже, располагались уже на другом берегу Коломенки, в приходе церкви Троицы на Репне, в прежней Ямской слободе. Известно, что в начале 1770-х годов здесь, недалеко от впадения речки Репенки в Коломенку (ориентировочно в районе современной улицы Толстикова), появилась первая известная нам в этом городе богадельня старообрядцев-беспоповцев федосеевского согласия. Что она из себя представляла, т.е. какой по размерам занимала участок, какие строения на нём находились и сколько здесь проживало обитателей, мы не знаем. Помимо этой богадельни, в Коломне ещё были моленные при домах зажиточных адептов федосеевского толка. Из них известны купчихи Ульяна Андреева и Агафья Васильева. В архивном деле, посвящённом более поздней богадельне, находившейся уже не в Репенской слободе, а на Посаде, местоположение этих домов не указано. Возможно, они располагались также в приходе храма Троицы, вблизи упомянутой богадельни.

Здесь нам хотелось бы пояснить, почему в Коломне и в случае с федосеевским центром в устье Репенки, и позже, когда мы ниже расскажем о федосеевцах на коломенском Посаде последователями этого беспоповского течения устраивались именно богадельни.

Федосеевцы относились к согласиям беспоповского мира, которые считались «небрачными», считавшими, что после исчезновения древнего благочестивого священства некому венчать христианские браки. Это течение также отличалось значительной строгостью в бытовой и обрядовой сфере, со строгим соблюдением всех моментов, связанных с «христианским» и «мирским» — относительно посуды, пищи и др. Те, кто не соблюдал все строгие обряды, попадали в категорию «замирщённых» и не могли участвовать в соборных молитвах, пользоваться посудой и прочими предметами, считавшимися «чистыми», т.е. которыми пользовались полностью исполнявшие все традиции. В число «замирщённых» попадали весьма многие последователи этого учения.

Поскольку, как мы уже сказали, согласие было безбрачным, а род надо было как-то продолжать, всё происходило таким образом. Молодой человек и девушка из федосеевских семей (своей общины или кого родители нашли в других обществах), достигнув брачного возраста, с разрешения старшего поколения начинали жить, как бы мы сейчас сказали, гражданским браком. В общине они автоматически попадали в разряд «замирщённых», пользовались отдельной посудой и т.п. В моленной во время службы они и такие как они (иногда весьма значительная часть городской или сельской общины федосеевцев) стояли в западной части помещения, не имея права показывать внешне какие-либо проявления молитвы (крестное знамение, земные поклоны и др.). Время шло, у пары рождались и подрастали дети. Уже, как правило, в пожилом возрасте, когда



Первый в истории старообрядческий Белокриницкий крестный ход по улицам Коломны с Чудотворной иконой. Фото из старообрядческого журнала «Церковь», 1911 год.

дети поставлены на ноги и обзавелись своими, так сказать, «семьями», супруги расходились жить по разным помещениям, клали в моленной перед обществом покаянный «начал» и снова допускались к общей молитве и т.п.

С их детьми и внуками схема повторялась. Очень часто в это согласие крестились люди уже в пожилом возрасте, дабы «принять смерть в правильной вере». Как правило, в федосеевских обществах, по данным властей, число женщин было в разы выше числа мужчин. В богадельнях, в том числе и в Коломне, проживало немало «девиц» и вдов, причём происходивших не из числа горожан, а перебравшихся в эти заведения из разных мест, чаще всего из различных селений Коломенского уезда.

Позже, когда федосеевскую богадельню мы видим уже в другой части Коломны, в приходе Троицкой церкви известен главный центр коломенских старообрядцев-поповцев, подчинявшихся московскому центру на Рогожском кладбище. Вполне возможно, у этого городского старообрядческого общества и у упомянутой выше богадельни другого согласия существовала какая-то общая ранняя история, шедшая ещё от неких неизвестных нам ямщиков-старообрядцев Репенской (Ямской) слободы.

Географическая привязка к месту здесь отнюдь не случайна. Старообрядцы, особенно на раннем этапе, устраивали свои моленные, богадельни там, где проживали сами и их братья по вере. Скорее всего, прежде в среде местных ямщиков жили старообрядцы из числа не приемлющих священство, какого-то ранее существовавшего в городе согласия. Часть их к началу 1770-х приняла федосеевское учение, а другая, уже позже, попала под влияние рогожских поповцев.

Моленная старообрядцев-поповцев располагалась в другой части Троице-Репенского прихода, нежели упомянутая беспоповская богадельня. На Ко-



Чертёж дома с моленной, принадлежавшей купцу Григорию Титову на Коломенской улице

ломенской улице, там, где сейчас расположено крыло строений пожарной части, вплоть до конца 1930-х годов находились владения Григория Титова, который и был содержателем моленной. Она долгое время оставалась главным городским храмом старообрядцев, приемлющих священство. До начала 1860-х годов на это место были ориентированы все старообрядцы Коломны и её окрестностей, которые признавали духовную власть московского Рогожского кладбища. Но в 1862 году на последнем появилось так называемое «Окружное послание», появление которого вызвало негативную реакцию со стороны значительной части белокрыницких старообрядцев.

Коломенский приход оказался в стане «неокружников», т.е. порвал с Рогожским кладбищем. Моленная ещё долго принадлежала потомкам Г. Титова, у которых в 1890-х годах надзором за молитвенным зданием ведали представители мещанского семейства Марковкиных. К ним-то оно потом перешло официально, и в начале XX века стало именоваться в городской среде «Марковкинской моленной».

В 1907 году община моленной Марковкиных зарегистрировала «Коломенско-Покровскую старообрядческую общину», чем полностью легализовала положение прихода. Последний функционировал до конца 1930-х годов, когда моленную закрыли, а чуть позже, к началу 1940-х, снесли при расширении построек соседней пожарной части.

Сам древний Посад Коломны тоже связан с историей городского староверия. Жители Посада прямо или косвенно фигурировали во многих следственных делах о «раскольниках», в которых упоминалась Коломна. У своего родного дяди, «коломятина посадского человека» Ивана Сугоняя, останавливался проходивший по делу Астраханского бунта 1705–1706 годов московский стрелец Стенка. Находясь у родственника, он говорил немало крамольных речей, в том числе и посвящённых реформаторам веры. В повествовании про попа Якова Семёнова, вывезенного в Москву благодаря репутации сторонника старого обряда, упоминается, что в своё время рукополагали его в сан

диакона по «заручению» посадских людей. Выше мы видели упоминания в связи со старообрядцами раннего периода о посадских людях Коломны.

Городской Посад с его консервативными устоями не мог не стать местом, где появился один из центров коломенского староверия. Его предыстория, за исключением всё тех же косвенных упоминаний о посадских старообрядцах, нам пока неизвестна.

Но та община с богадельней беспоповцев, о которой мы расскажем ниже, явно была перенесена из Троице-Репенского прихода сюда не на пустое место. В документах XIX столетия, иногда упоминаемая на Москворецкой улице как «Банная», с начала 1810-х годов располагалась богадельня с общественной моленной беспоповцев федосеевского согласия, устроенная изначально в 1813 году купцом Машонкиным. Последний вскоре разорился, и это владение приобрёл его брат по вере московский мещанин Иван Федотов, перенёсший богадельню немного на другое место поблизости в 1816 году.

Эта богадельня была своеобразным отделением Преображенского богаделенного дома, находящегося в Москве и бывшего главным духовным центром федосеевского согласия в российском масштабе. Когда Федотов в 1831 году умер, его коломенское владение сразу же перешло к трём его единоверцам. В архивных делах мы нашли описание этого места, но, к сожалению, без указания какого-то точного адреса, за исключением упоминания прихода православной церкви Покрова.

Власти ликвидировали богадельню в 1851 году, после чего федосеевская община дважды поменяла два места дислокации: сначала при доме мещанки Щукиной, а потом при доме купца Мякина. Однако всё это располагалось в одном районе и даже всё по той же Банной. По более позднему упоминанию мы знаем, что фактически моленной стало одно из владений по той же улице, уже ближе к приходу храма Николы на Посаде, куда более скромное. Если судить по описаниям до 1851 года, у федосеевцев было каменное двухэтажное здание, а после — только скромное строение в один этаж. В 1880–1890-х годах власти ещё как-то фиксировали факт существования в городе общества беспоповцев-федосеевцев, у которых был молитвенный дом (без указания адреса) и служил наставник Иван Яковлев.

В начале XX века коломенские беспоповцы даже не пытались зарегистрировать свою общину, и она ни разу не попала на страницы архивных документов. По отрывочным воспоминаниям некоторых старожилов известно только, что на Москворецкой улице была какая-то Георгиевская старообрядческая моленная. К сожалению, мы не знаем, сохранились ли какие-то здания по этой улице, которые имеют отношение к федосеевской истории Коломны, — как мы уже сказали, в документах видим только Банную улицу и соседний храм Покрова, в приходе которого богадельня и моленная располагались в церковно-административном плане.

В 1992 году старообрядцам, только не беспоповцам, а белокриницким, был передан храм Николы на Посаде, поскольку ни одно из прежних их молитвенных зданий не сохранилось. На наш взгляд, в его открытии именно в этом районе старого города есть некая преемственность и от упомянутого выше старообрядческого центра другого согласия, и от более ранних обществ посадских старообрядцев, существовавших ещё со времён епископа Павла Коломенского, священника Якова Семёнова, т.е. ещё со второй половины XVII — начала XVIII века.

Хотя эта Воскресенская церковь с приделом святителя Николая в архитектурном смысле может быть названа жемчужиной «никонианской» архитектуры. Пышный «барочный» храм, связанный с упоминанием о Пильняке, Соколове-Микитове, Ахматовой,— и старообрядцы! Удивительный стилистический парадокс...

Из Посада перемещаемся в район древней коломенской Гончарной слободы. Здесь на относительно позднем этапе городской старообрядческой истории возник центр так называемых «окружников», т.е. приемлющих «Окружное послание», связанный поначалу с домашней моленной купцов Рыбаковых, а с 1909 года — с новым деревянным храмом во имя Рождества Богородицы «Коломенской Старообрядческой Общины». Рыбаковы были выходцами из соседнего Бобренева, откуда в начале 1850-х годов они перенесли свою фабрику.

Дом и предприятие располагались на углу нынешних улиц Льва Толстого и Полянской. Вместе с фабрикой и семейством владельцев в город, в район «Гончары», была перенесена и домашняя моленная, занимавшая помещение в доме владельцев. Какое-то время это было просто молитвенное помещение, где в узком кругу молились только сами Рыбаковы и их ближайшее окружение. Но после появления «Окружного послания» и уход в оппозицию ему старинной коломенской моленной, находившейся во владении Титовых, моленная Рыбаковых стала духовным центром немногочисленных городских адептов рогожской веры: в ней был устроен алтарь, и сюда с Рогожского кладбища назначили старообрядческого священника. Рыбаковский приход просуществовал до 1907 года, когда, видимо, оставшись без поддержки, прекратил своё существование. Но после того как неокружники зарегистрировали в том же году при Марковкинской моленной официальной общину, куда стали переходить бывшие рыбаковские прихожане, на Рогожском кладбище спохватились. И в 1909 году приход был возрождён. При нём была зарегистрирована своя «Коломенская старообрядческая община», и вскоре вблизи владения Рыбаковых по проекту известного старообрядческого архитектора Н. Г. Мартыанова был построен новый деревянный храм во имя Рождества Богородицы. Храм был закрыт в 1930-х годах, лишился главы и колокольни, превращен в жилой дом, где обитало четыре семьи. В 1975 году бывшую старообрядческую церковь и несколько соседних домов снесли, и сейчас на её месте находится часть пятиэтажного дома № 2 по Ветеринарной улице... Храм стоял на месте его крыла, которое расположено ближе к железной дороге.

Наконец, важный вопрос: где хоронили своих усопших коломенские старообрядцы? Сейчас об этом вам не смогут ничего сказать даже потомки коренных городских старообрядческих семей. По информации, которую удалось собрать по косвенным архивным упоминаниям и некоторым иным сведениям, оно находилось примерно там же, где и обычное городское кладбище, при Петропавловской церкви (там сейчас Мемориальный парк). Но остаётся загадка: было ли место упокоения старообрядцев всего лишь участком на городском кладбище и располагалось где-то внутри ограды, часть которой мы можем видеть доныне, или же находилось вне её?

К примеру, католиков и протестантов хоронили к западу от Петропавловской церкви, в общей ограде. А иудейское кладбище находилось в южной части кладбища, отделяясь от православных погребений особой стеной.



Хор при коломенской старообрядческой общине

В архиве, в документах говорится о «церемониях» при погребении коломенских старообрядцев, на которые жаловались священники городских православных церквей. Упоминается, что «раскольники», имея отдельный вход на своё кладбище, всё равно стараются носить покойников через кладбище православное. Вот нам и непонятно: несли ли старoverы усопших на свой участок, куда можно было зайти через особый вход, или же из города торжественнее и удобнее было идти на отдельно расположенное место захоронения старообрядцев именно через главный вход, по аллеям обычного городского погоста?

327

Помимо этого, участки для погребения усопших старoverов были и при прежних сёлах Сандыри и Городищи, входящих ныне в черту города. Они упоминаются в документах канцелярии московского губернатора, датированных 1890-ми годами. Скорее всего, там погребались в основном старообрядцы, которые проживали в указанных сёлах.

Несколько старообрядческих кладбищ находилось в нынешнем огромном жилом районе Кольчëво, на территории древнего Девичьего поля. Ещё в середине 1970-х на берегу кольчëвского оврага, где теперь расположен Бульвар 800-летия Коломны, можно было видеть белокаменные надгробия старoverов. Сегодня эти свидетельства прошлого стёрты с лица земли.

То, о чём мы рассказали, можно назвать лишь «надводной частью» большого айсберга, каковым было старообрядчество Коломны. В силу неблагоприятных исторических обстоятельств старообрядцы не широко афишировали свою жизнь, старались не пускать в неё посторонних. Историю православных приходов, особенно за последние сотни лет, можно проследить достаточно легко. Сохранилась масса документов о назначениях членов причта, награждениях священников, клировых ведомостей и т.д., и т.п. Но какая-то информация об истории старообрядческих общин всплывает в документах фондов различных ведомств только от случая к случаю. И не всегда составлявшие их лица могли узнать обо



Вид на бывшее владение купцов Рыбаковых, в том числе и дом, в котором до 1907 года помещалась старообрядческая моленная. Современный мир

всех подробностях, касающихся молитвенного здания, служащих в нём людям и других моментах.

328 К тому же в Коломне однозначно жили не только старообрядцы белокриницкого согласия (окружники и неокружники) и федосеевцы. Судя по истории соседних с городом местностей, здесь могли быть небольшие сообщества представителей лужжанского (ветвь беглопоповцев, т.е. принимающих беглое духовенство из официальной Православной Церкви), а также беспоповских: филипповского, Спасова, поморского, страннического согласий. Но эти общины явно были немногочисленны по своему составу, совершали моления на дому у своих собратьев по вере, практически не интересовали полицию и другие ведомства, а посему и не попадали на страницы всевозможных отчетов и тому подобных документов.

Хотелось бы напоследок рассказать о ещё одном эпизоде, связанном со старообрядцами в истории Коломны. В 1822 году часть старообрядцев, включая и представителей видных семей, таких как Шапошниковы, решила присоединиться к Православию на «правилах единоверия», т.е. при сохранении старого обряда. Единоверие учредили в 1800 году император Павел I и Московский митрополит Платон (Левшин) для более удобного присоединения к Церкви старообрядцев.

Для устройства нового единоверческого прихода просили бывший собор древнего Спасского монастыря, стоявший на месте нынешнего строения № 10 по ул. Яна Грунта. В приходе Спасо-Преображенского храма на тот момент было всего 13 дворов. Понятно, что незначительное число прихожан можно было без труда распределить по соседним приходам. Однако епархиальная власть не посчитала нужным что-то менять, приход остался в обычном православном обряде, а единоверческая община в Коломне так и не появилась. О замысле её учреждения ныне напоминает только один архивный документ, затерявшийся в деле о также неудачной попытке перевести на единоверческий чин другой православный приход, в нынешнем Павловском Посаде...

Издание выходит при поддержке
администрации Коломенского городского округа
и коломенских меценатов

БЛАГОДАРИМ

Дениса Юрьевича ЛЕБЕДЕВА —

главу Коломенского городского округа;

Николая Тимофеевича ВОРОНИНА —

генерального директора ООО ПКФ «ДОММ»;

Сергея Семёновича ТУБОЛЕВА —

генерального директора ООО «Колнаг»;

Валерия Семёновича Коссова —

генерального директора ОАО «ВНИКТИ»

Любовь Афанасьевну ЧЕРНОВУ —

доктора филологических наук, профессора
кафедры русского языка ГСГУ;

Игоря Викторовича ЧИРКОВА —

индивидуального предпринимателя;

Сергея Сергеевича СЕРГЕЕВА —

председателя Правления
группы компаний «ТЕХНО-АС»;

Юрия Михайловича УГОЛЕВА —

генерального директора ООО «Экологическая
научно-производственная фирма «Новатор»;

Наталью Николаевну ДРАНЕЕВУ —

директора НОУ ДПО «Научно-учебный центр
“Знание-Коломна”»;

Галину Николаевну ЛЕВИЦКУЮ —

доцента, кандидата педагогических наук,
Заслуженного работника Высшей школы РСФСР

Евгения Владимировича ЗАХАРЧЕНКО —

генерального директора ООО «Прогресс»;

Татьяну Сергеевну ЛАПТЕВУ —

директора негосударственного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Коломенский компьютерный центр»;

Галину Евгеньевну ШАРОНОВУ —

жительницу города Коломны



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р. В. СЛАВАЦКИЙ
А. А. САХАРОВ
В. В. УШАКОВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Т. Ф. Башкирова (редактор отдела поэзии), **Н. В. Бредихин**, **Е. С. Гринин** (главный художник), **Т. И. Кондратова** (шеф-редактор гуманитарных проектов), **О. В. Кочетков** (референт главного редактора), **В. В. Королёва** (художник), **А. И. Кузовкин**, **Т. С. Лаптева**, **Н. К. Лисогорская**, **С. И. Патрикеев**, **И. Е. Ракша** (шеф-редактор аналитических проектов), **М. М. Сигал**, **М. А. Сериков**

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

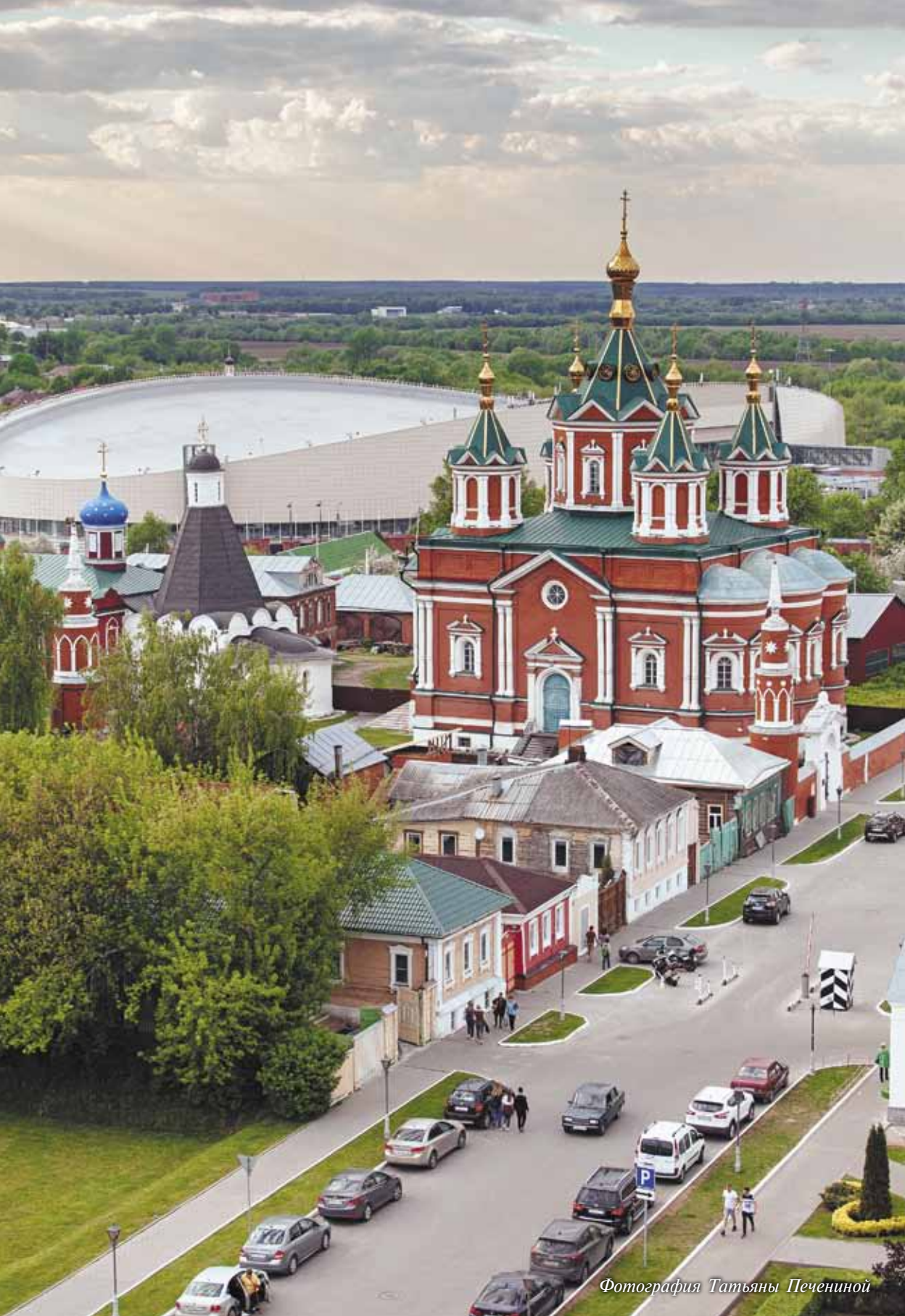
В. В. Артёмов — главный редактор журнала «Москва»
Н. Ф. Иванов — председатель правления Союза писателей России
Ю. В. Козлов — главный редактор журнала «Роман-газета»
В. Н. Крупин — писатель
С. Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В. В. Личутин — писатель
А. Б. Мазуров — ректор Государственного социально-гуманитарного университета
Е. Ю. Юшин — секретарь Союза писателей России

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова.
На стр. 2 помещены награды альманаха — медаль имени И. А. Ильина,
медаль И. И. Лажечникова и медаль И. А. Бунина

Художники: **Е. С. Гринин**, **В. В. Королёва**.
Компьютерная вёрстка **Т. А. Титова**.
Корректоры: **А. Г. Васильева**, **В. В. Ушакова**, **Н. А. Гераскина**.

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Кирова, д. 163. Тел. (8-496) 618-70-71;
e-mail: melnikov-vs@yandex.ru
Электронная версия альманаха: www.kolomna-biblio.narod.ru

Подписано в печать Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 30,0. Тираж 750 экз. Заказ 664.
Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»
140400, Московская обл., г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а



Фотография Татьяны Печениной